



Нина Берберова Повелительница

Нина Берберова Повелительница



АСТ

Проза: женский род

Нина
Берберова

Нина
Берберова
Повелительница

Роман, рассказы, пьеса

АСТ
АСТРЕЛЬ
МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Б48

Художник *Андрей Рыбаков*

Берберова, Н.Н.

Б48 Повелительница : роман, рассказы, пьеса / Нина Берберова. – М. : АСТ : Астрель, 2010. – 315, [5] с.

ISBN 978-5-17-069109-8 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-29618-5 (ООО «Издательство Астрель»)

Нина Берберова (1901–1993) – поэт, прозаик, критик. В начале 20-х годов XX века уехала из России в эмиграцию.

В книгу «Повелительница» вошел одноименный роман, цикл «Рассказы не о любви» и пьеса «Маленькая девочка». Автор рассказывает о судьбах людей, вынужденно вырванных из своего круга, из своей страны, и существующих *отдельно*. Они не дома, хотя читают русские газеты, ходят в русский синематограф, и должны обустроить жизнь здесь... В том числе и личную жизнь.

Это мир чувственной любви, зашкаливающих эмоций и томительного, непреодолимого одиночества. У этих отношений нет будущего, важно только настоящее.

Предвоенная Европа, Россия далеко, впереди снова серьезные испытания...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Подписано в печать 30.09.10. Формат 84x108/32.

Усл. печ. л. 40,32. Тираж 5 000 экз. Заказ № 8226.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.

ISBN 978-5-17-069109-8 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-29618-5 (ООО «Издательство Астрель»)

© ООО «Издательство Астрель», 2009

La Souverain, Nina Berberova © Actes Sud, 1994

Où il n'est pas question d'amour, Nina Berberova © Actes Sud, 1993

Petite fille, Nina Berberova © Actes Sud, 2003

Повелительница

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Саша оттолкнулся от темного берега, почувствовал счастливую свободу гладкой реки, мгновенный, широкий свет над водой – и проснулся. Он открыл глаза, но не шевелился и некоторое время видел лишь кусок обоев в пыльных пупырышках и морщинах да раму низко повешенного семейного портрета. В комнате было темно и тихо, но Саше было беспокойно, ему начало казаться, будто проснулся он от стука в дверь. Но за дверью тоже все было тихо, где-то далеко внизу звонил телефон. В мозгу вдруг открылся какой-то клапан, и побежали мысли, припомнился вчерашний вечер: Катя зашла за ним, невеста брата Ивана, и они пошли в кинематограф. Шел дождь, и они раскрыли маленький дырявый Катин зонтик, говорили о чистой человеческой совести, и Саша сказал, что, вероятно, это очень хорошая вещь, но оценишь ее только потеряв, а потому – подождем судить. Они взяли дешевые места на балконе, с краю, и сидели прижавшись друг к другу, не двигаясь, так что когда встали, чтобы идти домой, все болело, и шатало их из стороны в сторону. Опять шел дождь, но не крупный, и Саша отказался идти под зонтиком, он не любил ходить с Катей под руку: она была на голову меньше его и висла на руке, сама того не замечая; вероятно, она привыкла повисать так на руке Ивана, который должен был любить эту тяжесть; Сашу она скорее утомляла. Они шли вдоль сада, где была чернота и сырость, и Катя проводила Сашу до дому, а потом пошла к себе. Он так привык к этому, что никогда не предлагал ей обратного, и сколько раз ни выходили они вдвоем,

Нина Берберова

столько раз провожала она его, а потом шла к себе, делая мелкие, неровные шаги, загребая носками, по-женски отстукивая каблуками.

Раздался стук в дверь, Саша вздрогнул. Ему уже снился вчерашний вечер и Катя, уходящая по мокрой улице, под зонтиком, не оглядываясь, и он не мог решить, в первый раз слышит он этот стук или во второй, и если во второй, то сколько с тех пор прошло времени?

Он вскочил, босыми ногами подошел к двери, отпер ее. Там стоял почтальон, красноносый, лоснящийся, сильно пахло от него спиртом и улицей. Почтальон принес заказное письмо, не Саше – Ивану, но Саша расписался в книге, дал почтальону монетку на чай и опять улегся.

Итак, вчера Катя ушла, а он поднялся к себе. Он лег и смотрел на семейный портрет, который сейчас был виден уже весь; он улегся в широкую, покойную кровать и раскрыл клеенчатую тетрадку. Эту тетрадь дала ему Катя несколько дней тому назад; туда, когда была еще гимназисткой, переписывала она любимые стихи – и чего тут только не было!

Почерк у Кати был тогда прямой, круглый, правильный, заглавные буквы выводила она особенно тщательно и писала без помарок. Саше часть стихов была знакома по школе, другие он читал впервые. Он не думал о том, что именно могло когда-то нравиться пятнадцатилетней Кате, он читал тетрадь, как книгу.

Он читал одну страницу за другой, медленно, шевеля губами, испытывая удовольствие от какой-то осязаемой красоты; в начале второго часа он отложил тетрадь, поднял руку, потушил свет, и голова его вдруг загудела стихами, шли рифмы, запела музыка; он думал, что будет совсем просто припомнить что-нибудь, но вспоминались только отдельные строчки, мешались с другими, звучали долгой, упоительной струной и пропадали.

Письмо. Ах да, письмо! Почтальон принес письмо Ивану. Оно лежало на столике, Саша даже не взглянул, откуда оно, от кого. Он присел на постели и взял конверт

в руки: письмо было из Питтсбурга, от миссис Торн, от матери. Саша взглянул на часы: было восемь часов, Иван должен был сейчас вернуться.

Он опять опрокинулся на подушки. Он заснул вчера, измученный стихами, и ему долго ничего не снилось, он буйно и жарко ворочался. Один раз он проснулся: он лежал поперек кровати, голову свесив к коврику, и бормотал:

Неостывшая от зноя,
Ночь июльская блистала.

Он взобрался на кровать, запеленал себя в одеяло и опять провалился в сон.

Теперь он лежал и думал, что сегодня вечером непременно снова возьмет Катину тетрадь и будет перечитывать, как знакомое, но еще не до конца. Он увидел перед собой долгий и очень важный день и обрадовался, что вот он живет на свете, что он здоров, что он свободен, не очень беден и почти честен и увидит Андрея.

И пока он радовался, что у него нет прошлого и настоящего, а есть одно только будущее (выдуманное ему Иваном и Катей, но уже окончательно им усвоенное), он услышал шаги Ивана на лестнице. Шаги были изо дня в день одни и те же, и Саша знал их, ждал и невольно слушал их, пока они не прекращались у двери.

Теперь было поздно вставать, теперь надо было ждать, пока Иван разденется, – иначе в комнате было тесно. «Комната эта для нас с тобой нарочно выдумана, – сказал когда-то Иван. – Один спит – другой сидит, один встал – другого нет, и так далее». Он вошел, снял и повесил на гвоздь все, что только на нем было, и остался в одних носках и кальсонах. Он мылся долго, тер себя щеткой, мочил волосы, густые, черные; лопатки ходили у него под смуглой кожей, из-под мышек вперед и назад торчали пучки жестких волос, и на груди был правильный, курчавый, черный треугольничек, на плотной и тоже смуглой груди с темно-коричневыми, маленькими, плоскими сосками.

Он вытирался долго, тряс себя за уши, гладил по голове, делал по лицу «вселенскую смазь», не жалея себя, до бурой красноты, тер руки у плеч, бугрившиеся длинными, как кегли, мускулами. Потом он надел полосатую с белыми пуговицами куртку и, крикнув, перелез из кальсон в пижамные штаны. Саша выскочил из постели, потянувшись так, что она закричала, а Иван тяжело бросился в нее, теплую, примятую, раскинул ноги и руки и глубоко, вкусно вздохнул.

Он взял письмо, посмотрел сквозь него на свет – ничего не было видно. Конверт был плотный, толстой бумаги; Иван вынул все сразу: тут было материнское письмо, вещь редкая, но Ивана ничуть не обрадовавшая; тут была любительская, но превосходная фотография женщины с собакой, женщины в белом платье, коротконогой, светлоглазой, с презрительными губами и толстой шеей; тут был чек, выписанный на имя Ивана, на американский, нью-йоркский банк, чек на тысячу франков по случаю осени, по случаю Сашиного университета, по случаю женитьбы Ивана, по случаю того, что больше года не было никаких чеков.

Саша одевался, Иван читал. Он читал письмо про себя, быстро бегая глазами по строчкам, вода блестящей фотографией по носу и вдыхая ее кислородный запах. Дочитав до конца, он начал сызнава, но уже вслух, а Саша, повязав мятый темно-синий галстук, сел на стул, в бугрящейся синей рубашке, прищемленной подтяжками вдоль хребта.

«Дорогой мой Ваня!

Бог не простит тебе пятимесячное молчание и то, что ты, как будто я совсем не твоя родная мама, и не люблю тебя горячо, и не молюсь каждый вечер за тебя, запретил Сашуре моему маленькому писать мне. Ведь это бесчеловечно заставлять меня, как будто я какая-то чужая, писать посторонним и от них узнавать о Сашуре моем, что он сдал экзамены, например. Неужели я такая преступница, что со мной и переписываться нельзя? Что я сделала тако-

го страшного? Ведь в жизни живем мы только раз, и если бы я осталась с вами и не уехала с Гарри, я не имела бы возможности посылать вам иногда эти деньги, которые с трудом у него выпрашиваю, конечно, не говоря, что для вас. А если ты думаешь, дорогой мой Ваня, что я продалась, то ты совершенно неправ, потому что это была любовь. Захватила она меня всю до последнего вздоха, и я не могла ей противиться, тем более что человек он был благородный из прекрасной семьи. Клянусь тебе, что он несколько не моложе меня, а одних лет со мною, это только так говорят у вас, чтобы тебя восстановить против меня. А если у него каприз по отношению к тебе и Сашуре, то это надо простить! Ведь у каждого своя жизнь, и Гарри не захотел ее менять ради взрослых сыновей своей маленькой жены. Может быть, это и была слабость с моей стороны, но что я могла сделать? Если бы вы были маленькими моими детками, я бы умерла скорее, чем бросить вас, но ведь ты и без того работал и содержал Сашу, да и ласки у вас ко мне не было никогда. Царство небесное, покойный Александр Петрович, твой папа, тоже не дал мне той любви, какой женщина бывает достойна. И вдруг на жизненной дороге встречается мне человек, который понимает мою душу, как никто. Он любит все красивое, он любит прогулки к морю, концерты, театры, он не только крупный деловой ум, но читает книги и журналы. А ты восстановил против меня Сашуру, сам не пишешь, измучил меня молчанием и заставляешь каждую ночь не спать и волноваться. Узнала, что у тебя невеста, что ты собираешься жениться... Кто такая? Хорошенькая ли? Со средствами ли? Помни, родной мой Ваня, что нет хуже, как навязать себе обузу в жизни, а там пойдут дети, и бедность заест самого прекрасного человека.

О Сашуре знаю очень мало, только то, что экзамены прошли у него отлично. Посылаю ему на костюмчик. Одежда значит много в жизни, внешний вид мужчины сразу определяет его положение в обществе, и женщины смотрят на него иначе. Фотографию посылаю снятую на

Нина Берберова

берегу океана, где мы с Гарри проводили лето. Собаку зовут Доллинька.

Дорогой Сашура! Помнишь ли ты свою маму? Будь здоров, мой маленький, и люби свою маму. Она тебя любит и плачет по тебе ежечасно, особенно вечером, когда вся природа затихает и на душе делается вдруг грустно, грустно от воспоминаний жизни».

Иван прочел письмо вслух целиком, стыдясь иных выражений и как-то скользя по ним, словно мысленно убеждая Сашу скользить с ним вместе, не останавливаясь на них. Однако они-то именно и задерживали Сашино внимание, в них он явственнее всего слышал голос матери, они пилой ходили ему по сердцу, мучили его пошлостью, обжигали жалостью и опять будили давнее враждебное недоумение, порою сменявшееся на долгие месяцы безразличием, почти забвением.

Иван рассмотрел чек и положил его в вытертый бумажник, потом поднял с одеяла фотографию, долго смотрел и сказал:

– Еще следы былой красоты целы. Впрочем, теперь все равно, раз они это дело узаконили, он ее не прогонит, и она по гроб жизни обеспечена. Следы могут и пропасть – она миссис Торн во веки веков.

Он отложил в сторону карточку и улегся, приготовившись спать, однако сказал:

– А что же будет с деньгами?

Саша поулыбался безмолвно, подумал. Деньги казались ему очень большими. Иван вдруг твердо и сухо сказал:

– Тебе костюм и башмаки, Кате – часы-браслет.

– Чудно! Великолепно! – отозвался Саша.

Иван улегся, наконец, окончательно. Саша встал, надел серое в полоску пальто и вышел. Он спустился на улицу, все думая об Андрее. Андрей был его долгожданной сегодняшней радостью.

От веселящих сердце предчувствий в мыслях Саши было беспокойно. Улицы были людны, сновал молодой народ, в порталах старого театра торговали книгами; запах

крепко сваренного шоколада плыл из открытой двери булочной, от вчерашнего дождя не было следа, только из сада мгновениями несло влажной, крепкой осенней зеленью неиспорченных городом кустов и деревьев. В облачном, но ярком небе где-то невидимо стояло солнце, и больно было смотреть вверх. Саша зашел в кафе, выпил за столиком кофе с молоком из большой белой с золотом чашки, съел высокую с острой головкой сдобную булку и опять пошел по сухому, промытому дождем и просушенному ветром тротуару, плечом к плечу с девушками, с иностранцами, с господами с портфелями, спешившими к своим кафедрам. Шумно было сегодня, и рельсы трамвая вдоль бульвара блестели от рассеянного солнечного света.

Он вошел во двор, где по плоским камням иначе звучали шаги. Двое обогнали его, крикнув ему что-то, на что он кивнул и улыбнулся. Он налег на дверь; на лестнице и в нижнем коридоре ходили, стояли, сдержанно разговаривали очкастые, приглаженные, смуглые, светлые, чужие и знакомые студенты; три девушки загораживали дорогу, раскрыв в воздухе книги, из которых вылетали исписанные листы; стоял ровный гул.

Андрей сходил вниз, когда Саша его увидел: «Не тот, совсем не тот, – подумал он. – Совсем новый». Он сжал ему руку; они были почти одного роста, но Андрей казался выше от привычки закидывать голову; и густые волосы его, стоящие над правильным лбом, и взгляд куда-то вниз из-под ресниц и век придавали ему странную недосыгаемость.

– Ты только вчера вернулся, – сказал Саша с веселым беспокойством. – Ты загорел.

– Я только вчера вернулся, – повторил Андрей. – Подожди меня минуту, мы выйдем вместе.

– Как же ты? Постой – как же ты жил?

– По шести часов в день работал. А ты?

Саша заторопился ответить и не нашелся. Андрей отеснился в сторону. «Я подожду тебя на улице», – крикнул Саша, и кое-кто удивленно оглянулся на него. «Его никогда не догнать, – сказал себе Саша, выходя воротами

Нина Берберова

на улицу. – Он всегда впереди, а я сзади. И это все знают, и Жамье это знает». Он постоял у ворот, потом сделал десять шагов вдоль хмурой, темной стены и перешел на другую сторону.

Тут в окне географического магазина были разложены коричнево-голубые, просторные немые карты, и другие, с границами сиреневыми и розовыми, с точками и названиями городов; стоял на низкой толстой ножке бокастый глобус.

Саша стоял и смотрел, рассуждая про себя от нечего делать, что география тоже, вероятно, превосходная наука, за которую можно отдать годы молодости, что есть в ней что-то особенное, что уже, собственно говоря, не она, а ее запредельная мечта – удовлетворение человеческой жажды путешествий и перемены мест, жажды забвения себя, материального, своего внешнего в мире состояния, заставляющей человека искать иную для себя оболочку, ломать вокруг себя созданную людьми и обстоятельствами раму, разрушать окостенелые ассоциации, которые вызывает его имя, его лицо. И в то время, как Саша думал так, блуждая глазами по коричневой Северной Америке, в горах, долинах и топях разыскивая Питтсбург, он услышал, как за его спиной остановился автомобиль, скрыв от него ворота университета. Он оглянулся.

Это была синяя четырехместная закрытая машина, у руля сидела девушка, рядом с ней – другая; на ту, вторую, Саша не посмотрел, ему внезапно понравилась первая, ее спокойные маленькие руки, положенные на решетку руля и словно там забытые, ее лицо, очень молодое, возбужденное, с лукавыми блестящими глазами.

– Смотри туда, он непременно сейчас выйдет, – сказала она и, отвернув обшлаг, взглянула на часы. – Он сегодня выйдет в это время. Уж я знаю.

Мотор затих. Саша стоял неподвижно.

– Да ведь он только вчера приехал, – сказала вторая, – он сегодня дома сидит. Я боюсь, мы слишком близко подъехали, он тебя узнает.

Первая помотала головой. Стекло было спущено, Саша разглядел ее: на ней был синий костюм, на шее – черная лиса. Из ворот внезапно вышло человек пять.

– Это не он? – спросила вторая.

– Нет, нет. Он гораздо выше.

Она то высовывалась, то пряталась и двигалась при этом довольно резко. Саша слышал, как ходили под ней пружины, скрипела кожа сиденья. Ей не терпелось; она вынула платок и несколько раз приложила его к губам. На улице запахло духами.

– Вот он! – и она завозилась с рулем. – Смотри, вон тот, видишь? – Она нажала педаль, автомобиль двинулся. – Смотри, смотри, – все повторяла она. Они отъезжали.

В поплывших сквозных окнах автомобиля Саша увидел вышедшего из-под ворот Андрея. Он стоял и искал глазами Сашу. Но Саша, прежде чем перейти к нему, взглянул вослед автомобилю: он заворачивал за угол, и из открытого окошка с самоуверенной небрежностью высунулась рука в толстой перчатке той, другой, лица которой Саша в тот день не увидел.

Оба пошли рядом, и Саша все не отрывался от лица Андрея. Они вышли на бульвар. «Шесть часов в день занимался, а как загорел!» – думал Саша. Они говорили: Саша – вопросами, Андрей – ответами, уличный шум заглушал их, иногда они не слышали друг друга; прохожие разъединяли их, они опять соединялись, часть слов пропадала в ветреном воздухе.

– Сейчас не хочется говорить, – доносилось до Саши, – ужасная лень подробно рассказывать. Надо знать, как мы жили, иначе ты не поймешь...

Саша чувствовал, что сейчас начнется что-то важное, он лепился к плечу Андрея.

– Ей девятнадцать лет. Тебе трудно объяснить – это особенное.

– Да я понимаю, понимаю. Не надо.

– Важны подробности, – уносился Андрей в противоположный конец тротуара, но Саша настигал его, и они

несколько мгновений топтались на месте, – на эту зиму у меня всякие планы. Сразу все не выложишь.

Они расстались на углу, против булочной, и Андрей сказал, что после завтрака он будет дома и хорошо было бы Саше прийти к нему, поговорить еще, и кстати – за книгами. И Саша с радостью согласился.

– А ты-то как сам? – спросил вдруг Андрей, остановив глаза на Сашином лице. – Ты что-то рассказывать начал, я тебя перебил.

Саша выпустил руку Андрея.

– Я приду сегодня, – сказал он, – я непременно приду.

Он подождал, пока Андрей отойдет, и вместо того чтобы идти домой, вошел в широкие, прозрачные ворота сада и сел на каменную скамейку под совсем еще свежим, густым кленом. «На чем он перебил меня? Нет у меня ничего. Сам я, один я, и больше ничего во всей жизни. На чем он перебил меня? Ах да, Жанна! Но ведь это – тень, и все, что было, – тень. Это все пропало, истаяло. И пусто сегодня, как завтра».

Он поехал, посмотрел в тусклую, тихую даль сада. Его Андрей был влюблен, Андрей был любим. Эта девушка сидела в автомобиле и бледнела, ожидая его; она усадила рядом с собой сестру или подругу, чтобы показать ей Андрея. Она уже была вовлечена в его жизнь, в его настоящее, она сама была его настоящим. Его мысли были пропитаны ею, тяжелой, неподвижной влагой, и она, быть может, уже рассказывает кому-нибудь про его милые, мягкие и сильные руки с незаметными, но правильными ногтями, о том, как он любил ее на берегу моря, где, вероятно, оба жили летом. Она привезла подругу, она не делала из этого тайны – значит, это что-то не случайное. И если бы это не было прочно и сильно, Андрей сказал бы об этом, как говорили они друг другу всегда, с обезоруживающей поспешностью: *было*; красивая была; муж ходил в смешных трусиках; или – мужа не было; трое детей; звала в Лозанну. Но он говорил по-другому, по-новому. Ей девятнадцать лет, у нее черная лиса и белый

платочек в боковом кармане жакета. Она – барышня, она может стать невестой.

И внезапно он почувствовал, что одинок, и это открытие смутило его. Это не было «гордое одиночество», о котором порой, книжно и бескровно, приходилось ему мечтать. Без гордости, без высоты – он был один. Правда, рядом с ним были Иван и Катя, без которых его жизнь была бы невозможна, был Андрей, через которого отчасти виделся ему мир. Но он чувствовал свою душу как ни с чем не соединенную, жалкую, тоскливую тень. Припомнив стихи об одиночестве из Катиной тетради, он подумал: «Если бы я был поэтом, я извлек бы разумную, корыстную пользу из моего теперешнего состояния, а так как я не поэт, то оно просто бессмысленно и бесцельно томит меня». Но ни горечи, ни смирения не было в этой мысли. За ней шел обычный холодок: то, что он стоял в самом начале обдуманной, предрешенной жизни (так ему говорили), сопровождало его размышления уверенностью в том, что всякое настроение – проходит и чаще всего не оставляет следа, в то время как действительность, подготовляемая для него другими людьми, есть нечто незблемое, раз навсегда положенное к его ногам, и ему остается только вступить в нее.

Это продолжалось уже четыре года. Мать ушла от них четыре года тому назад. Иван тогда работал днем, а мать служила продавщицей в большом шляпном заведении – английский язык был всегдашней ее гордостью. И вот, после долгих странствий и убогой, беспорядочной жизни, когда лицей был окончен, решено было Саше учиться дальше. Но осенью мать ушла, ушла в чем была, в легкой кружевной сорочке, чулках искусственного шелка, лаковых туфлях и единственном приличном красном платье. Она ушла с криком, со слезами. Саша зажимал уши, ему было стыдно за мать. Иван молча ждал, когда все это кончится. Она кидалась на обоих с мокрыми поцелуями, призывала Бога, рыдала, падала в конвульсиях (не отличить было истинных от притворных) и кричала, что Гарри

Торн ее единственное спасение, что до сих пор никто, никто не мог ее понять, что от Александра Петровича, от мужа, терпела она всю свою незадачливую молодость, потому что он был груб и страшен. Она изливалась сыновьям, она рассказала им свою брачную ночь (двадцатипятилетней давности), когда она, шестнадцатилетняя девочка, была раздавлена грузным Александром Петровичем, и утром у нее болела поясница, так что она не могла даже встать, и грудь была в синяках от его пальцев и поцелуев. И вот теперь появился Торн. У него было каучуковое лицо с каучуковыми губами, он молчал, он все понимал, он был щедр и хотел жениться на русской, потому что любил современность, а русская женщина – современна. Но он не хотел, чтобы у этой женщины были дети, взрослые сыновья от русского грубияна, хоть и генеральские, а все-таки совершенно не нужные ему дети. Он однажды видел Ивана, видел его черные руки – крепкий ноготь большого пальца стал ему как-то особенно противен. О Саше он знал, что тот просто студент – вероятно, пьяница и бабник. Торн в Бога не верил, он знал, что басня про верблюда и игольное ушко только басня, и хватка была у него мертвая. И за эту хватку полюбила его рабски эта русская, которую он молча угощал в ресторанах омарами и рябчиками, пока оркестр играл славянские мелодии.

Сашу не смущала мысль, что он кому-то будет обязан каждой минутой своего счастья, каждым часом успеха и уверенности в себе. Для него все было решено раз и навсегда: он не отделял себя от Ивана и Кати, знал, что работать будет на них, как на себя, и мысль о связанности с ними навеки была ему легка. Он догадывался, как пустынно бывает без обязанностей, и он даже радовался, что вот есть у него долг в жизни, который он вечно будет выплачивать, что он связан с двумя людьми крепкими материальными узами, что несмотря на то, что внутренней близости он не чувствует ни к Ивану, ни к Кате, они не бросят его, и он не бросит их, и есть в этом соединении, пусть только внешнем, что-то доброе и нерушимое.

Это навечное соединение, впрочем, отнюдь не связывало его и оставляло нужную для его жизни свободу. И так как ему еще и очень хотелось чувствовать себя свободным, то даже выбор карьеры, сделанный за него Иваном и в котором так помог ему Андрей, даже самый этот выбор начинал ему с некоторых пор казаться самостоятельным. Он был доволен и им, и своей мнимой независимостью. Иногда смутно и беспокояно предчувствовал он, что человеческая свобода больше того, что он знает, что есть какая-то действенная свобода, с ответственностью за нее перед одним собой, – но этого он еще не испытывал. Он предчувствовал, что рано или поздно (и, вероятно, поздно) трудный путь откроется перед ним, встанет тайна, потребует борьба, – это всегда связывалось у него с мыслью о любви и женщине. Женщина и любовь должны будут дополнить и украсить его жизнь. Он уже стал понимать, чего именно не хватает ему: не Кати! Катя обыденна, у нее свое маленькое упрямство в пустяках. Ему недостает очень особенной, тихой и послушной. У него было в жизни две связи – верности он не видел, женщины первые уходили от него. В этом он никогда никому не признавался, даже Андрею.

Женщины оставляли его и не возвращались больше. Оба раза он чувствовал, когда именно это случится, но бороться не умел и не смел. Глаза, в которые он до того смотрел, вдруг наполнялись скукой. Он застывал, глядя в эти тусклые зрачки, тоска обдавала ему сердце. В эти минуты он чувствовал всю свою тяжесть, косность и неподвижность и понимал, что – все кончено, бесповоротно, непоправимо. И почти не жалел.

Той любви, которая когда-нибудь должна же будет прийти, не было. И он не знал, как сделать так, чтобы подготовить и облегчить ее приход. Когда уходило то, что называлось любовью, оставалось недоумение, легкий укол самолюбия, но бережное отношение к самому себе приказывало ему освободиться от этого бесполезно веющего песка. Это не был разврат, это не была влюблен-

ность, это был суррогат любви. В суррогате этом было все, что бывает и в любви, но в таком жалком, униженном виде, что минутами становилось стыдно себя самого. Уж лучше бы это была только влюбленность, с потением рук и дрожью голоса, с умышленно нечаянными прикосновениями, длительная, изнуряющая, на грани душевного обморока, но зато чем-то по-своему полная. Лучше бы это был прямой разврат – жаркий и короткий, но уже одной подлинностью своей имеющий право на существование. По крайней мере не надо было бы краснеть от воспоминаний, единственной остротой которых была ложь. Но тут всего бывало понемногу: и разврата ровно настолько, чтобы разжечь себя и потушить, и влюбленности ровно настолько, чтобы выпить ночью вино из одного стакана; и в любую минуту присутствовала возможность все оборвать, бросить, уйти, и ни разу не приходило страстное желание предать весь мир ради одной, потерять себя, умереть.

Он завтракал один и после завтрака, не заходя домой, отправился к Андрею.

Он шел по бульвару, где в этот час бывает тише, чем утром; большие, сверху донизу застекленные магазины сверкали обилием выставленных товаров: то это были мужские шляпы, сбегавшие гуськом по стенам витрин, чтобы внизу закружиться тесной спиралью, то это были башмаки, всходившие по стеклянным ступеням под самый потолок, где неподвижно стояли рядами другие, более низкого качества. Гирляндами свисали колбасы, и покойниками покоились книги, и весело было смотреть на огромные ножи для разрезания пулярд и индеек.

У доктора прием уже начался, и в приемной сидели женщины, медленно и с преувеличенным вниманием листая журналы, исподлобья оглядывая друг друга. Паркет сухо блестел, в комнате было прохладно от тишины и ничем не украшенного окна. В то время как Саша вешал пальто на высокую, кудрявую вешалку, он увидел в полоткрытую дверь приемной, как растворилась другая

дверь, как показался в ней доктор, в белом халате, с седым ежиком, и равнодушно провозгласил: «Кто следующая?»

Саша прошел по коридору, где, как в давно обжитой квартире, стояли шкафы и сундуки, где было темновато и по-уютному, по-мещанскому пахло старым платьем и кухней. Он постучал к Андрею. Здесь начинался третий пояс квартиры: первым были приемная и кабинет Михаила Сергеевича, вторым – кухня, столовая и спальня Татьяны Васильевны, третьим – комната Андрея, где стояли полки с книгами, где лежала рукопись – подготовка к защищаемой весной диссертации, где был он сам, медлительный и красивый, с как бы не совсем плотскими руками, с неуловимым взглядом, со своей тайной, новой любовной тайной.

Они стали рыться в книгах, ища и отбирая, вполне, видимо, наслаждаясь своим делом, читать друг другу названия, будившие в каждом целый ряд продуманных когда-то мыслей. Все это были книги юридические, французские и немецкие, которые они, словно охорашивая, оглаживали пальцами по корешкам и обрезакам. Потом Саша сел в кресло, а Андрей на низкую узкую кровать, и они опять говорили на своем очень кратком языке, сперва о зиме и работе, которой у каждого было по горло, потом вдруг незаметно в их разговоре появилась та, которой всего девятнадцать лет, но которая такой молодец, такой хороший товарищ. И, может быть, можно будет пойти к ней когда-нибудь вдвоем.

И Саша, не успев решить, что лучше: молчать или сказать – что лучше для себя, для Андрея и для нее, – вдруг рассказал про синий автомобиль, про возгласы и волнение.

– Да, я говорил, что в одиннадцать выхожу, да, это верно. Андрей сиял глазами.

– А вторая – это сестра, я ее не знаю. Она летом была в горах.

Они помолчали.

– А автомобиль это отцовский, но отца в Париже нет, он за границей.

И потом, после раздумья:

– Они люди богатые. Могут не отдать.

– Не отдать ее за тебя?

– Да. Но она сама пойдет.

– Так это верно?

– Да, это так.

Полки и кресла были все те же, что и прежде, и там, в приемной, по-прежнему сидели барышни и дамы, пришедшие к Михаилу Сергеевичу мучительно краснеть и разговаривать срывающимся голосом, и была где-то за стеной Татьяна Васильевна, такая старообразная, потерявшая на войне двух сыновей и сберегшая одного младшего. Все было по-прежнему; Саша сидел в кресле, где так часто случалось ему сидеть и раньше, в том кресле, которое он когда-то мечтал перенести с собою и Андреем в рай, вместе с юридическими книгами.

Было пять часов, когда Саша вышел, чтобы идти домой. День казался ему бесконечным и пестрым, и было странно думать, что одному из этих однообразных будничных дней выпало вдруг на долю стать таким решительным и чудным. Андрей жил у самой Обсерватории; можно было опять пересечь сад, пройти по сырым хрустящим дорожкам. Становилось холодно, небо меркло, поднимался слабый сырой ветер и ронял в воздух с широких листьев душистые капли уцелевшего дождя. Мальчики еще играли в футбол на пустынной лужайке, и молодые фармацевты ходили гурьбой, с упоением разглагольствуя о женских грудях. Саша прошел весь сад, вышел через задние ворота, встретил знакомую барышню, библиотекарку, поклонился ей. Пошел дождь, люди заспешили, женщины раскрыли зонтики, город стал грустен и нежен, словно лицо в слезах. Но когда дождь пошел сильно, шумно, безобразно, Саша был уже дома. В комнате было прибрано, по окну струились полосы дождя, и пришлось зажечь свет в наступившей внезапно серой мгле.

Комната теперь принадлежала Ивану; он встал совсем недавно, однако успел побриться, одеться и прочесть га-

зету и даже согреть себе на спиртовке чай. Это было его утро, и он любил его: весной – за солнечный свет, зимой – за бледные сумерки, тишину и отдых. Он приходил в себя от работы и спячки перед каждодневной большой радостью, на которой, как на оси, вертелась его жизнь, – перед встречей и обедом с Катей.

Она пришла, как обычно, в семь часов с небольшим, вошла, не постучавшись, поцеловала Ивана в губы, а Сашу в щеку, вымыла руки, попудрила лицо и почистила ногти какой-то щепочкой. Иван сказал: «Нынче я буду есть штуфат. Кто еще из публики будет есть штуфат?» Она ответила: «Дай отдышаться». Потом ей показали пришедшее из Америки письмо, она обрадовалась деньгам и ни за что не хотела согласиться на то, что ей купят часы-браслет. «Лучше бы зонтик», – сказала она. Тогда Саша вмешался и сказал, что можно и то, и другое. Это было ей очень приятно, и она раскраснелась и помолодела от этого. Фотография заставила ее помолчать и призадуматься, а читая письмо, она заплакала: до самого сердца дошли ей слова миссис Торн о пришедшей поздно любви и о воспоминаниях грустной жизни. Она достала платок из сумки и долго терла глаза и сморкалась, а когда кончила, то видно было, что ей совестно. Иван сказал: «Ты по ней плачешь, а она тебя никогда не признает, оттого что поденно шьешь и никогда ни у кого не была на содержании». Но она была не из таких, которые не знают, что ответить, – она сказала: «А все-таки тяжело ей там одной, среди чужих людей; и с Гарри этим всегда по-английски, и с собакой по-английски тоже. Она дурная мать, жалко ее. Жизнь-то ведь одна дается, и отвечать за нее непременно надо будет».

Саша слушал молча, и ему нравилось то, что говорила Катя. «Если бы она была красивее, моложе, богаче, умнее, изящнее, тише – я бы взял ее от Ивана», – подумал он и сейчас же раскаялся в этой мысли. Ему вспомнилась девушка за рулем автомобиля, когда он оторвался от глобусов и карт и увидел ее профиль и руки. Она была красивее, богаче, моложе Кати. Андрей всегда стоял впереди

него, Саша никогда не пытался с ним бороться. Как хочется движения, как хочется разбега воли – злой или доброй, все равно!

Катя встала, опять попудрилась, обмахнула пуховкой покрасневшие глаза с запыленными ресницами, приготовилась идти. Все трое спустились. Идти было недалеко, на улицах зажглись вечерние, осенние огни. Магазины были уже закрыты, но светились рестораны и кафе, и в домах зажигались лампы и люстры высокою вертикальной чертой – во всех столовых, во всех кухнях. И то тут, то там можно было видеть салфетку, заложенную за воротник, низко висящую над столом, когда-то керосиновую лампу, картину на стене, миску, две-три детские головы.

Катя и Иван шли под руку, голова Кати приходилась Ивану у плеча. Она до сих пор не могла научиться ходить с ним в ногу, она делала мелкие шаги не совсем прямыми короткими ногами. У нее были прозрачная шляпа с бархатной лентой и довольно короткое лиловато-красное пальто с черным меховым воротником. Пальто было уже старое, но без него невозможно было представить себе Катю; летом, каких-нибудь два-три месяца, она не носила его и ходила в платье; остальное время года, и в праздники, она не снимала его и часто под ним носила черный сатиновый передник с рукавами.

В ней не было наивности и простодушия; наивность, если и была в детстве и юности, в провинциальном российском городе, где росла она и училась, исчезла, когда вдруг за границей, куда попала она со своим обольстителем, ротмистром Смирновым, в темное время эвакуации, пришлось ей биться за жизнь свою, маленькую, незаметную, но причинявшую большую и слишком заметную боль. Простодушие пропало, когда полюбила она Ивана и сошлась с ним, узнала его иронию и бесстыдство, которые научили ее трезвости и самостоятельности, оттого что Иван был к ней требователен и хотел, чтобы она походила на него.

В ее больших серых глазах навывкате и свежей коже было много нежного здоровья; в ее речи был небольшой недостаток – она слегка шепелявила, а потому при посторонних больше молчала или старалась говорить теми словами, в которых не было буквы «с», неясно и с пузырьком пены выходявшей у нее с губ. Вдвоем же с Иваном или втроем с Сашей на нее иногда находила сильнейшая болтливость, так что приходилось просить ее помолчать «в пользу собеседника», как говорил Иван, который никогда не старался острить, а говорил так, просто, что приходило в голову – а в голову ему приходили все какие-то *простые выкрутасы*, которые главным образом и составляли его речь. Эти простые выкрутасы давали ему возможность весьма часто и без особой необходимости сквернословить. Иногда Саше казалось, что Катя находит прелесть в сквернословии Ивана, он даже как-то сказал им об этом, но они не поняли его или притворились, что не понимают. Саше в ту минуту, как уже не раз, хотелось спросить: почему им не поселиться втроем? Ведь все равно ничего не изменится, будет только удобнее. Но он смутно предчувствовал ответ, которого ему не хотелось выслушивать. Он знал, что Иван ждет весны, когда Саша защитит диссертацию и сможет устроиться самостоятельно. Тогда Иван повенчается, и будут они жить с Катей, а Саша отдельно, потому что нельзя ему быть вместе с братом – ночным шофером, и невесткой – поденной портнихой, ему, молодому адвокату, перед которым такое блестящее будущее, у которого уже и сейчас такие связи... Так, по крайней мере, говорит Жамье и называет Сашу «мой маленький, дорогой Саша».

Сейчас жизнь кажется вполне налаженной. Изю дня в день – все то же, и лишь по понедельникам, когда Иван свободен, он встает немного раньше и идет в баню. Обедают в этот день Иван и Катя отдельно – как это началось, никто не помнит; после обеда Иван ведет Катю куда-нибудь, где играет русская музыка, или в кинематограф с русским хором, или к балалаечникам. Домой к Кате приходят

они не позже полуночи. Они ложатся в Катину постель и не дают друг другу покоя до утра. Уже мусорщики гремят внизу, когда они засыпают, видят безобразные сны, мешая друг другу на узкой постели, на одной единственной примятой и жаркой подушке. Они слипаются, у них отмирают то руки, то ноги, и утром Катя уходит на работу недовольная, сонная, едва приведя в порядок опухшее, потемневшее лицо.

Из недели в неделю повторяют они свой первый вечер, свою первую ночь, когда Иван, вымытый, выбритый, с пахнущими одеколоном шеей и руками, зашел за Катей и повел ее обедать на террасу маленького русского ресторана. Катя долго и много рассказывала о своей жизни – вот уже два года, как была она совсем одна. Она рассказывала Ивану, что она любит, – он любил то же, что и она: вид из Купеческого сада в Киеве, музыку Чайковского, внутренность Казанского собора в Петербурге, раковый суп с расстегаями и лежать в траве носом вверх, так чтобы стрекозы летали. При выходе из ресторана он взял ее под руку и сразу почувствовал ее мягкую, немного низкую грудь. Катя от смущения не знала, куда деваться, ей показалось, что рука Ивана легла так случайно, не нарочно. До сих пор она имела дело с мужчинами, которые про себя говорили, что без водки не годятся никуда, а когда выпивали, то норовили дрожащей рукой дотронуться до ее платья и все просили, чтоб их жалели. Рука Ивана мешала ей думать и говорить, но когда они пришли в кинематограф и засверкали на экране режущие надписи, зубы и белки героев, она почувствовала его ногу, внезапно придвинувшуюся к ней; она почувствовала ее всю, от колена до носка, икра была тверда, как дерево. Катя вмиг покрылась холодным потом. «Сейчас он извинится», – пронеслось в ней, но он молчал. Но было поздно: отодвигаться и извиняться было уже смешно. «Так это он с умыслом! – с ужасом подумала она, – он принимает меня за черт знает что!» И она вдруг вся придвинулась к нему. «Как скучно, – сказал он, – пусть-ка этот сон досмотрят другие,

а мы пойдем». Они вышли на улицу и, целуясь и обнимаясь, пошли к ней...

Иван сел рядом с Катей, а Саша напротив них. Катя движением, повторявшимся изо дня в день, стянула матерчатые перчатки, и Саша вспомнил толстую коричневую перчатку на женской руке, высунутой в окошко автомобиля. Он налил себе белого вина из пузатого графина и, зажмурившись, выпил за что-то, что внезапно показалось ему возможным. Катя смотрела в карточку, а Иван зевал, и впервые Саша почувствовал, что у него может быть ото всех, и от них, какая-то тайна.

Но в чем же, собственно, заключалась возможность этой тайны? Ведь жизнь его оставалась пустой и прозрачной, а мутнело одно только воображение. Бывало, при знакомстве с женщиной он не мог не намекнуть об этом Кате. Ивану тоже, конечно: все, что говорилось Кате, говорилось и Ивану. Она засыпала его вопросами, Иван сейчас же переводил разговор на венерические болезни. Саша ругался, клялся себе и им, что никогда ни о чем больше не заговорит. Один раз они его встретили под руку с Жанной и торжественно поклонились ему. Эта любовь длилась довольно долго, Жанна была машинисткой в банке, они познакомились в книжном магазине. У нее дядя был нотариус, и они сперва поговорили так, будто сидели в гостях у старой тетушки и ели сухари. Потом отправились в Люксембургский сад, оттуда – пить кофе. В воскресенье поехали они в Сюренн, там опоздали на последний трамвай и заночевали. На них нашел бес ребячества: они пили, пели, обнимались и прижимались друг к другу, пока им не пришлось в голову улечься в постель.

Это было последнее и наиболее длительное; уже Андрей был знаком с Жанной, уже Саша подарил ей граненый пульверизатор для духов с резиновой грушей в сетчатом чепчике, уже не проходило дня, чтобы они не виделись. И вдруг Саша почувствовал в ней легкое раздражение, холод, идущий от ее глаз и улыбок. Он почувствовал мертвенную податливость объятия и вялость губ, и Жанна,

ничего не объяснив, больше не вернулась; она не ответила на письмо, и Андрей, от которого разрыв этот нельзя было скрыть, ни о чем не расспрашивал.

Прошлого не было. И любовь к Жанне, и то, что было до нее, забылись так, словно было это что-то нестойко-трогательное, почти отроческое. Саша все чаще начинал подозревать, что жизнь, в сущности, началась, что у многих в его возрасте бывает не только будущее и настоящее, но уже и прошлое. И все-таки не мог победить в себе сочувственную и снисходительную улыбку ко всему, что происходило с ним до сих пор. Он и забывал, и не забывал, то есть делал то именно, что делают люди очень молодые со своим детством. В его памяти безмятежно соседствовали первое отличие, первый разговор с Жамье, поцелуи Жанны, ее наивные, но откровенные уроки страсти и то, как в Петербурге когда-то в большой комнате зажигали елку и дарили ему куклы, которые он очень любил; как отец, в эполетах, раздушенный, жирный и ласковый, подводил его, девятилетнего, к гостям, приговаривая: «А это мой младшенький!» – и хохотал при этом; как низкорослый, татарского типа человек, блистая аксельбантами, брал его на руки. Он видел близко от себя черные дуги густейших бровей, седую щетину на голове и все старался не испугаться. Его спускали на пол, лицом он задевал пуговицы на широкой груди министра. Затем его уводили спать, и он шаркал ножкой, а дамы, среди которых были и те, что геройски умерли потом, расстрелянные вместе и порознь с мужьями, смотрели ему вслед, делали ручкой, восторгались его локонами. Пятнадцатилетний Иван был тут же, в кадетском мундире, коренастый, черный, с усиками, приводившими в ужас маму. Она говорила певучим, слишком певучим, казавшимся не принадлежащим ей голосом – особенно он казался искусственным после того, как Саша услышал этот голос, лишенный вдруг всякой певучести, однажды ночью в спальне родителей. «Ты не посмеешь, – говорила мать отцу, – ты оскорбляешь меня... Всякие хамы...» Но отец всегда делал по-своему, не стои-

ло ей так волноваться! У нее порой бывал обиженный рот, такой незащитный, будто слегка размазанный по лицу, и жесткие, во что бы то ни стало желающие сохранить человеческое достоинство глаза. Она ходила по огромной, с несметным количеством комнат квартире, непосредственно переходившей во вторую такую же, где помещалось военное издательство отца, ходила и *старалась не плакать*, то есть плакала молча всюю, и ломала руки, и садилась вдруг на какой-нибудь совершенно неподходящий стул, поставленный на дороге, чтобы заполнить пространство по никому не понятному, но раз навсегда установленному закону симметрии и красоты.

В военное издательство был ход с той же площадки, что и в квартиру, но Саша так никогда и не был в этом помещении. Часто выносили оттуда связки одинаковых книжек в голубых и желтых обложках, тонких и уже слегка обтрепанных, со скучной, очень черной печатью. Иван в корпусе учился по ним. В издательстве сидели в пыли и скуке тощие канцеляристы, как их называли дома. Отец уходил туда, прямо из своего домашнего кабинета попадая в рабочий. Выходил он оттуда, расстегнув крючок ворота, с легкой чернотой под ногтями и тяжелой усталостью в лице. Он ел много, крестился до и после еды и мясистой рукой крестил детей, когда они подходили к нему, – другой ласки они не знали. В последний раз подошли они к нему в день отречения Николая II – отец лежал в постели хрипящей тушей. Он положил руки на головы сыновей и долго бормотал молитву – у него начиналась агония. Воспаление легких было схвачено в ту холодную, льдистую весну, в отчаянный день 27 февраля, когда он пешком возвращался с Петербургской стороны к себе на Стремянную – не было извозчиков и часть мостов была разведена. Он играл в винт (он всю жизнь играл в винт по понедельникам), шинель не защитила его – генеральская голубая шинель подвела.

Гробов было два: цинковый снаружи и дубовый внутри. Играли марш Шопена на помятых трубах того самого полка, с которым когда-то покойным была проделана японская

Нина Берберова

кампания. Священники с крестами, в облачениях шли далеко впереди. Вдова переступала на высоких каблучках, вся обвешанная крепом, и два сына шли рядом, с опухшими глазами, и приятно щекотало сознание, что на них смотрят, что в окна домов появляются любопытные лица, и лабазники выходят глазеть, и в газетах про них пропечатано.

Весенний воздух звенит от переливов медных труб, заливается буйным томлением валторна, в скрипучих калошах шагают старые друзья – министр уже в тюрьме, но остались другие, почти такие же важные, почти такие же бровастые, некоторые волочат ногу, другие не разгибают руку, третьи похотливо смотрят на едва приоткрытые тонкие щиколотки вдовы.

Лакей подошел со счетом. Ивану пора было идти. Покуда Катя собирала высыпавшиеся из сумки медяки, он надел кепку и, попрощавшись, вышел; гараж его был недалеко. Саша и Катя пошли рядом; шли они медленно и молча, у Кати опять было легко на душе: в конце концов, этой миссис Торн, которую она никогда не видела, жилось в Америке неплохо. Хорошо было бы иметь собаку или в крайнем случае – птицу в клетке! Надоело видеть вокруг себя неживые предметы, сделанные людьми. Птица – она была бы от Бога. Саша вспомнил про вчерашний разговор с Катей о чистой совести. Быть может, сегодня совесть его уже не была так чиста. Ему самому неясно было: чего же он все-таки хочет? Если бы он вдруг решил искренно ответить на этот вопрос, он, быть может, сказал бы, что, неизвестно зачем и для чего, ему хочется просто быстрой езды на автомобиле в темных, сырых полях. Загородный дом, камин, незнание времени, забвение пространства, теплые руки в его руке... А совесть – Бог с ней!

Они, как каждый вечер, дошли до дома, где жил Саша. В переулке было темно. Катя подала ему свою крепкую короткую руку и потянулась к его лицу. И он дал поцеловать себя в щеку.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Раздался выстрел. Пробка стрельнула в потолок, отбила кусок штукатурки, мячом подпрыгнула на толстом ковре; пена хлестнула по обоям, по золотому рисунку разошлось темное пятно; с тяжелым шипением ползла она из горлышка по бутылке, хлопьями падая на пол и хлопьями оставаясь на скатерти. Горничная только бровями повела, проходя мимо с подносом, на котором стояли четыре широких, на тонких ножках бокала и ваза с бисквитами.

Пена холодом обдала пальцы Саши, он постарался не дать ей упасть и поймал часть ее в ладонь; он не знал, что ему делать: вынул платок, смутился, помчался за горничной, к бокалам, чтобы вылить в них поскорее то, что еще оставалось в бутылке. Он знал, что наливать надо очень мало, рука у него дрожала. Потолок и обои были испорчены.

Вчера еще он не знал, что будет сегодня присутствовать на помолвке Андрея. Но рано утром (только что пришел Иван), когда Саша еще был не одет, его позвали к телефону. Андрей предлагал нынче, часов в пять, отправиться к Шиловским. «Кто это такие?» – спросил Саша. На это Андрей несколько секунд молчал в телефон, так что Саша едва было не решил, что их разъединили, и только потом сказал:

– Это ее фамилия.

Саша сразу понял, его кольнула радость. «Ты уже был у них?» – спросил он. «Да, я был у них третьего дня и вчера». – «Нас ждут?» – «Да». – «Она ведь не одна живет?» – «О, нет!» Оба помолчали опять. «Видишь ли, – сказал

тогда Андрей, – дело это решенное, но я пока молчу, и ты молчи. Ее отца нет в Париже, его почти никогда нет. Матери нет вовсе. Там две сестры ее, челяди полна квартира – вот и все. Я найду за тобой».

Саша в тот день работал у окна (под мерный храп Ивана). Он всегда ставил стол к окну, чтобы сидя можно было видеть трубы соседних крыш, чердачное окно, где жил старый фотограф, вязавший галстук, как истый художник, синее небо и даже верхушку каштана у входа в Люксембургский сад. Он садился спиной к кровати, лицом к каштану и, держа карандаш в руке, сперва долго рассматривал голубые ветвистые жилы на руках, бледные крепкие ногти, потом глядел вверх, в окно, и только затем уже брался за книгу, сутулился и начинал читать. В тот день он все поднимал голову, все смотрел в небо, все смотрел на часы под обшлагом: стрелки шли, тикали колесики. Он старался сосредоточиться на раскрытой странице. Теперь он не сомневался, что та, которая сидела тогда рядом, была ее старшая сестра; Андрей выбрал младшую, но ведь они с ним всегда выбирали одно и то же, всю жизнь. Значит – хочешь не хочешь, придется ему выбрать ту же самую.

Они пошли с Андреем пешком и шли минут десять; улица была нарядная, совсем еще новая, прорубленная на месте кучи старых, косых домов, и дом был нарядный, с широким входом, с лаврами у зеркала, с лифтом, пахнущим свежим деревом. Андрей был бледен, глаза его косили и прятались. «Вот видишь, как это бывает, – сказал он, выходя из лифта и рассчитав, что Саша не успеет ему ответить. – Один приводит другого, и со стороны смотреть и трогательно, и смешно. – Тут он нажал кнопку звонка. – Но в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь, это запомнится на всю жизнь: вот так ты стоял, вот так – я».

Горничная открыла дверь.

В передней было светло; большие, настезь распахнутые стеклянные двери вели одна в столовую, другая – в гостиную, слева был широкий, с янтарным полом коридор.

Андрей и Саша разделись; в то время как горничная проводила их в гостиную, из коридора выбежала девочка лет девяти, остановилась с запывавшим лицом и бросилась обратно.

– Это Миля, младшая Женина сестра, – сказал Андрей.

Слева и справа опять были широко раскрытые двери в столовую и кабинет, уже по-вечернему темные комнаты, казавшиеся громадными; там кралась какие-то светлы, за-ползавшие с улицы, – шторы еще не были спущены. Эти широко раскрытые высокие двери придавали квартире какую-то прозрачность, словно до самых ее недр можно было пройти беспрепятственно, увидеть просторные спальни, детскую, озоном пахнущую ванную, сверкающую кухню. Громадной показалась Саше и ярко освещенная гостиная, двумя большими прямоугольными окнами выходящая на улицу. Желтый цвет, с золотом в обоях, занавесях и обивке мебели, придавал ей холодноватый, банальный вид; угол комнаты занимал рояль, покрытый желтым бархатом, низкие кресла желтого атласа были расставлены в кружок подле двух-трех низких столиков с принадлежностями для курения. На одном из кресел лежала в раме забытая здесь новая теннисная ракетка.

В ту минуту, когда из полутемного кабинета вошли в гостиную две девушки, Саше жадно, животной захотелось, чтобы ничего этого не было, чтобы он не входил в этот дом, не звонил у двери, чтобы он сидел у себя в темной комнате с закрытым окном и ничего, никого не было вокруг него. Но навстречу ему шли две девушки, и он принужден был вслед за Андреем дотронуться до их прохладных рук.

Женя не была хороша собой, как показалось Саше на улице: быть может, будь она бедна, слыла бы она и вовсе за дурнушку. Холеность придавала ей видимость красоты, свежесть и юность давали ей взаймы на краткое время живую прелесть лица с большим, даже слишком большим ртом, узкими глазами под длинными ресницами, детским, словно еще не оформившимся носом. Она была довольно

высока, тонка, однако полногруда, и в движениях ее, в ее походке было что-то от светской барышни, воспитанной и аккуратной; в ней было приятно то, что с первого взгляда не оставляла она в этом сомнений; платье носила она дорогое, прекрасно сшитое платье – с правдивостью и цельностью, и голос ее, невысокий, но очень чистый, подтверждал всю ее *хорошесть*. Саше она понравилась сразу, и ему стало от ее присутствия ловко и легко.

Она решила устроить сегодня в этой желтой гостиной, в этой просторной квартире, свою помолвку, решила заставить выпить двух людей, которые сейчас, а может быть, и всегда будут ей и Андрею ближе и дороже всех, за ее и Андрея счастье. Она придумала маленький, вольный праздник; няне приказала не выходить и не выпускать Милю, отца не было, он был в Гамбурге по своим делам, прямым образом касавшимся новых паровых турбин, устанавливаемых на океанских пароходах. Горничной было приказано подать бокалы и две бутылки «Редерера». Все это казалось Жене сказочным: так не делал никто, она сама это выдумала, а отец даже не подозревал, что дочка решила выйти замуж.

Она решила это еще на море, где жили они – няня, Миля и она – и где долгими солнечными утрами лежала она у воды с Андреем, купалась с ним, после завтрака уходила с ним в лес, под вечер играла с ним в теннис, а после ужина, когда высыпали над черным морем умытые высокие звезды, они уходили по берегу, где в этот час уже не было никого, где легкий ветер песком засыпал ножки пустынных скамеек, где шелестело тысячеверстным хвостом море и пенились водоросли; они уходили далеко-далеко, туда, где кончались дома, сады, дачи, где начинался пустынный широкий берег, слегка веяло болотцем, стояли лягушки и был виден точный, как часы, гигантский зелено-красный маяк, от которого гасли звезды и по небу бежал тревожный луч.

Там садились они на плоский камень и говорили друг другу о своей любви, гордо о себе и снисходительно о лю-

дях. Андрей брал ее смуглую руку и ласкал от пальцев к плечу, ласкал губами от ладони до подмышки. Они забывали иерархию ласк, и для них обоих были одинаковым безумием долгий поцелуй в губы, или объятие, или пожатие руки. В полусне, прерываемом тихими словами, от которых порою больше кружилась голова, чем от объятий и движений, они сидели долго; иногда они ложились на песок, во мраке; она долго не двигалась, пока он трогал ее, потом ее рука, словно неопытное, дерзкое и сильное животное, шла ему на грудь, расстегивала ему рубашку у ворота и уходила к плечу.

Она возвращалась в белый пансион, увитый розами и глициниями, где внизу, на широком балконе, старые люди в пиджаках и воротничках еще играли в бридж, и поднималась во второй этаж, где была ее комната. Рядом похрапывала няня. Сладко порозовев, отмыв колени, спала Миля, стоившая жизни ее матери.

Она ложилась в кровать, похолодевшими пальцами сжимала подушку и думала о том, как сложится ее жизнь, будут ли они изменять друг другу, будет ли у нее ребенок. Она верила, что жизнь ее сложится счастливо, что ребенок у нее непременно будет, но только после свадьбы, а не теперь – это невозможно, в этом есть что-то неудобное и неприличное. Ей казалось, что Андрей никогда не сможет любить другую, а она – другого, что никто на целом свете не нужен ей, что ей нравится в нем все – и глаза его, такого редкого цвета, и волосы, и даже золотой зуб, который виден, когда Андрей хохочет; ей нравятся его руки и запах этих рук, этих волос.

Она засыпала поздно и долго перед сном думала о Лене, сестре, которая старше ее на пять лет и вовсе на нее не похожа, о Лене, уехавшей в горы, писавшей оттуда одной Миле, а ей – ничего, у которой была своя жизнь и которой нельзя было признаться, что она, Женя, любовница Андрея, несмотря на давнюю близость к ней, на большую нежность, потому что Лена – особенная: она расхохочется на такое признание и сама о себе не скажет ничего.

Шампанское было разлито, и Саша, все еще не находя себе места, поставил бутылку на стол.

– Что вы наделали! – вскричала Женя. – Вы нас чуть не убили и пробили потолок.

Она схватила со стола салфетку и вытерла лицо, на которое попали брызги вина, Андрей собирал куски упавшей штукатурки.

– Пойдите и посмотрите, что они там делают, – сказала горничная, выходя из гостиной, – они испортят мебель, изгадят стены. Я ни за что не отвечаю.

Няня осторожно вышла из детской и подошла к дверям гостиной.

– Няня, Миля, выходите, так и быть, выпейте. Я замуж выхожу.

Женя налила в свой уже пустой бокал немного вина и понесла его через комнату.

– Господь с тобой, какие ты глупости говоришь.

– Нет, это правда.

– За кого же, Женечка?

– А вот за него.

– А что же скажет папочка?

Женя вернулась, кинулась в кресло и закрыла глаза. В это мгновение Саша почувствовал на своей руке руку Лены.

– Поставьте мой стакан, – сказала она, и вместе с теплотой ее руки он почувствовал в ладони гладкий холод стекла.

В теплоте этой было что-то звериное; и в форме руки было что-то не совсем обычное, какая-то двойственность, заметная сразу. Пальцы были длинны и изящны, ровны, с отточенными, не очень длинными, не острыми ногтями, они были женственны, им шло темное старинное кольцо. Ладонь же была лапой какого-то бархатного, благородного животного, она была плотна, тепла, с ясно ощутимыми нежными буграми, она была мягка и тяжела, как бывает мягка и тяжела не рука, но лапа. Саша поставил пустой стакан на стол и снова вернулся к этой руке, и вдруг самоуверенная небрежность ее поразила его.

– Коричневая толстая перчатка, – сказал он. – У вас есть такая перчатка?

Она вдруг открыла ему свои глаза, синевато-серые, небольшие, как и у Жени, и Саша заметил, что она сидит рядом с ним, очень близко, что, в сущности, они как бы вдвоем в комнате.

– Я узнала вас сразу, когда вошла, – сказала Лена. – Тогда вы стояли у окна магазина. Когда смотришь на карты, хочется уехать куда-то, правда? Еще лучше – витрины проходных компаний с макетами «Мажестиков», с цветными плакатами.

Он сказал быстро:

– Это игрушки для взрослых.

– Да. Однажды папа привез нам в подарок из Гамбурга, в шутку, на меловой бумаге красный остров в зеленой воде с надписью: «Сыграйте в гольф на острове Робинзона».

– Пожалуй, не стоит и ехать?

– Доезжать не стоит, а ехать стоит. Холщовая качалка на палубе, ветер, бросающий в лицо концы шарфа – своего или чужого... А увидев остров Робинзона с бритвами жиллет, с горчицей и подтяжками – сейчас же обратно!

Она ни разу не улыбнулась. Русые волосы ее были коротко острижены, носила она их на косой пробор, закладывая за уши, что придавало ее лицу жесткость и юность. У нее были удивительные тонкие, как шнурочки, брови и густые ресницы, придававшие глазам лиловатый оттенок. Вот все, что заметил Саша. Ему показалось странным, что внешность ее он разглядел после того, как говорил с нею, слышал ее голос, после того, как его рука чувствовала ее руку.

Она отодвинулась и стала чужой, закурила – и вдруг как бы пропала для Саши. Было так, словно она существовала лишь до тех пор, пока сама держала его в своих мыслях. Он опять получил возможность видеть Женю, Андрея, который сейчас особенно ему нравился, у которого от выпитого вина оживилось лицо и сквозь полуоткрытые губы виднелась белая узкая полоска зубов.

Как легко было полюбить и любить эту Женю! Как легко полюбить кого-то, кому девятнадцать лет, кто еще не сделал себя, сам себя не видит, к кому ведет прямая дорога, и нет рогаток, сквозь которые так трудно пробиться к сердцу человека: нет боязни того, что тебя сравнят с кем-то, уже надоевшим и канувшим в небытие, что походя предадут; и слово твое, и жест воспринимаются с простотой впервые слышанного и виденного. Нет ревности, темных, обидных подозрений; на этой дороге, в этом разреженном, прозрачном воздухе как уверенно, как счастливо можно любить... А если ей двадцать четыре?

Саша старался несколько мгновений удержаться в спазматической сосредоточенности. Лене – двадцать четыре. Да ведь до нее никогда, никогда не дотянешься! Бог знает, какая она – самостоятельная, рассеянная, пленительная, далекая; тут измучишься, пока разгадаешь все, пока заставишь слушать себя, смотреть тебе в глаза. Молчит и не двигается, но кажется, будто она чувствует себя хозяйкой и в доме этом, и в городе этом, и в целом мире, хотя гости не у нее, у Жени.

В углу зашелестел граммофон; Лена курила, сидя в кресле. Быть может, от вина, быть может, от смущения Саше вновь почудилось, что она приближается к нему оттого, что думает о нем. Он остро ощутил это приближение – он уже ни о чем не мог думать, как только о ней. Ему казалось, что она словно притягивает его к себе мыслями о нем, не давая ему возможности обороняться, и он весь попадает к ней в плен, где не остается места ни Андрею, ни Жене, ни остальной жизни. В этой безвыходности, в непротивлении ей возникало блаженство.

– Не надо искать новой земли, необитаемых островов, – заговорила она опять, не глядя на него. – Само путешествие лучше всякой цели путешествия, по-моему. Большой океанский пароход – вот новая земля и, если хотите, необитаемый остров. Там, как сон во сне, может начаться и закончиться жизнь в жизни.

– Вы бы уехали сейчас? – спросил Саша, стараясь встретиться с ее глазами, зная наверное, что она скажет «да», и уже мучась этим.

– Сейчас? Нет, ни за что. Для этого надо выбрать время, чтобы ни о чем не жалеть, что оставляешь. Сейчас разве что – на парусной лодке по озеру.

Она улыбнулась в первый раз, оборотив к нему немного бледное нежное лицо, и он увидел ее большой красный рот и ряд зубов, блестящих и крепких в ярко-алых деснах. Один из верхних резцов был чуть короче другого.

Теперь он знал ее улыбку, ее голос, ее руку, ее лицо. Он закрыл глаза и не мог себе представить ее: она опять скрылась куда-то. Она встала и подошла к граммофону, и, став рядом с Женей, заговорила с Андреем.

За окном была ранняя городская ночь, хотя было всего семь часов. В столовой горничная бесшумно накрывала на стол, но было видно сквозь стеклянные двери и тонкие шелковые занавески, как ходит она вокруг стола. Саша поднялся, Андрей прощался. Саше показалось, что не прошло и минуты, как оба были уже на лестнице, – все произошло так стремительно. Он был охвачен одной мыслью: увидеть наконец Лену всю, во весь рост, рядом с собой. Это случилось на одно мгновение, когда он прощался с Женей. Он увидел, что она высока, почти одного с ним роста, широкая в плечах и прямая. «Вероятно, ракета ее, – мелькнула мысль. – Запястье ее могло быть тоньше. Я никогда не смогу ее поднять». И вдруг дверь захлопнулась, и мгновенно отступили безумные мысли, Саша, освобожденный, ринулся вниз, за Андреем, налегая на перила. Но в самом низу он понял, что освобождение было мнимым, что это только передышка. На дворе был мрак.

То, что Андрей шел рядом с ним, усиливало его смущение: Андрей напоминал ему о Жене, которую он едва заметил. Нет, конечно, он в точности рассмотрел ее и мог бы узнать ее на улице, не то что ту, другую; ту он узнал

бы, кажется, только если бы она сама того захотела. И все-таки ему казалось, что он поступил постыдно, выпустил из своего внимания Женю, он должен был сделать попытку приблизиться к ней – и она, и Андрей, вероятно, этого ждали, а он вместо того выпил на пустой желудок три бокала шампанского, и во рту у него теперь приторно-металлический вкус.

Он старался представить себе Женю, ее внешность, ее голос, представить ее рядом с Андреем, в его объятиях. Она нравилась ему, пожалуй, он мог бы полюбить ее, как любил Катю, на долгие годы, на всю жизнь, проводить с ней вечера, видеть ее из месяца в месяц, из года в год, следить, как становятся они одно с Андреем; Катя и Женя, при всей нелепости этого сопоставления, сближались в его воображении через это чувство. Женя, вероятно, была лукавее, Катя – вернее, но ведь и Андрей совсем не походил на Ивана; Андрей иначе любил, и его, конечно, должны были любить иначе, и жизнь перед ним была иная. «Неужели в этом году две свадьбы?» – пронеслось без всякой связи у Саши в голове.

Он обедал, как всегда, на своем обычном месте. Здесь пахло жареной рыбой и чем-то кислым – хотя ресторан был чистый, и подавал человек в белом, до полу фартуке, и бумага на столе лежала безукоризненная. Катя ела рост-биф и делилась картофелем с Иваном, который отдал ей свой салат.

– Где ты был? – спросил Иван.

– У Андрюшиных знакомых.

– Завтра тебе примерять у портного, – сказала Катя, – обрати внимание, чтобы на верху спины не западало.

После обеда они пошли к набережной. Они пошли вдвоем, Саша и Катя, у обоих были свои мысли. Вечер был сух и ветрен.

– Ты опять домой? – заговорила Катя, – что-то ты тихий стал какой-то. Тебе бы огорчение какое-нибудь пережить, ей-Богу! Ты не скучаешь?

– По огорчениям?

– Я все думаю последнее время: хорошо бы тебе попасть в какую-нибудь переделку. Райский ты какой-то... Ты не ври мне, что это только снаружи, а внутри – буря и натиск. Я вижу: и внутри ты райский. А впрочем – учись.

– Педагог. Много вздору говоришь.

– Тебе бы по веревочной лестнице в седьмой этаж полезть, и чтобы тебя оттуда спихнули. Понимаешь?

– Теперь этого не бывает. Не спихивают, да и не лезут. Она сама сходит вниз по парадной лестнице и ведет в ближайšie номера.

– Наглый ты. Разве в этом дело? Ну и пусть ведет – ведь это по-настоящему ничего не облегчает; только видимость одна. По-настоящему если, так это, может быть, еще трудней.

Он усмехнулся рассеянно.

– Ты не думай, жизнь штука непростая. Если так будешь думать, она тебе отомстит – и не очухаешься. Чтобы проучить, поставит тебя в такую позицию, что ты забудешь, как папу-маму звали.. Жизнь штука сложная.

– Хватит, Катя. Лучше помолчи.

– Я-то помолчу. А ты мне верь, верь все-таки.

Они свернули.

«Нет, я никогда не смогу поднять ее, – опять подумал Саша. – Она слишком тяжела, и в бальном, открытом платье она, наверное, кажется дамой, много старше своих лет и, значит, старше меня». Он вернулся домой и сейчас же сел заниматься. Книга Бартэна была раскрыта, он два раза прочел то место, на котором остановился, и жизнь показалась ему отодвинутой на тысячи верст.

Об этой главе, о доводах фон Бара говорил он с Жамье в прошлую пятницу. Каждая пятница давала ему толчок к работе, он возвращался домой от профессора в состоянии равновесия и ясности и обычно до поздней ночи не ложился, занимаясь. Эта глава Бартэна, над которой Саша сейчас работал, имела прямое касательство к диссертации, которую он готовился защитить весной. После того как был сдан докторат и Саша вместе с Анд-

реем (и, конечно, вторым) был особо отмечен Жамье, дальнейшая Сашина судьба определилась окончательно: после защиты диссертации (в том, что она будет защищена безукоризненно, он не сомневался) Саша должен был поступить сотрудником в кабинет крупного международного адвоката.

Это был близкий друг Жамье еще по Лилльскому университету, но когда их видели вместе, трудно было поверить, что громоздкий старик с обвислыми щеками, чернозубый, с зеленой сединой и целой сетью угрей под ухом, был молод тогда же, когда и высокий, перетянутый в талии, прямоносый, с седыми висками и сухими руками адвокат, в рубашке от Шарве, обладатель автомобиля, котки, особняка. Он принял Сашу с литературной любезностью, в течение десяти минут переходил в разговоре с французского языка на английский и с английского на немецкий. И когда Саша вышел от него, ему вспомнились ночные драки Ивана, непочтенная мать, исколотые, почерневшие пальцы Кати.

Стараниями Жамье он попадал на постоянное место с хорошим окладом, с большим будущим, выплывал в деловую европейскую жизнь. Свою специальность – частное международное право – он выбрал сгоряча, пошел без оглядки за Андреем; с тех пор горячность эта превратилась в прочную привязанность, в которой он жил, как в своем особом воздухе, быть может, немного душном для других, но ему необходимом.

Детскость окончательно стала исчезать из Сашиного лица в прошлом году, когда он готовился к докторату. Это было время большого возбуждения, влюбленности в Жамье, в собственное будущее. Детскость исчезла, но заменилась новой мягкостью, уже более зрелой. Он был некрасив, и однако лицо его было из тех, которые запоминаются: у него были широко расставленные зоркие глаза, смугловатое худощавое лицо, высокий лоб, темные, тщательно зачесанные волосы на правильной крупной голове. Нос его был несколько велик, с неординарово вы-

резанными ноздрями и хрящеват, губы толстоваты и подвижны. Он был высок, но небрежно сложен. От роста он слегка сутулился, хотя умел, особенно когда это было нужно, держаться хорошо, сдержанно и смиренно, в движениях произвольно копируя Жамье – его походку, его смех, его манеру класть левую руку на правое колено, оставляя далеко указательный и большой пальцы, и, странно сказать, эти старческие жесты шли ему.

Несколько минут сидел он, размышляя над книгой, потом достал записки в темно-зеленой папке и стал писать; мысли его были ясны, в доме было тихо, за стеной у соседа кто-то звенел ложкой в стакане; он работал довольно долго, под конец устал и захотел спать так стремительно, что заторопился лечь. На столике он увидел Катину кленчатую тетрадь, она напомнила ему ту ночь, когда он, просыпаясь, с пересохшим горлом, летая и падая, бормотал стихи. Эта ночь показалась ему счастливой и мысль о стихах – безгрешной. От этого воспоминания сон на некоторое время пропал. Саша потушил свет и подумал, что в жизни его сегодня днем что-то произошло, чего лучше бы не было. Лучше бы вернулась к нему Жанна с ее порочной добродетелью, чем было ему встречать своевольную, самоуверенную барышню, прижавшую к его руке свою руку.

Он стал думать о Лене и увидел, что слишком еще мало испытал, чтобы принимать какие-нибудь решения на ее счет. Она была у него в мыслях, вернее – не она: он почти не мог себе ее представить, так мало он ее видел, в мыслях был он сам со своею новой тревогой. На мгновение он вдруг забыл ее имя... Он перебирал начальные впечатления: некоторые из них обладали странной, безвольной расплывчатостью, это он заметил еще там, у Шилловских; некоторые, наоборот, были так остры, так жгучи. Он заснул, сам того не заметив и не шевелясь, едва слышно дыша, в крепком сне проспал всю ночь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Иван спал лицом в подушку, штора была задернута так, чтобы белый день, ветреный, яркий, с пестрым быстро меняющимся небом, не мешал ему, чтобы свет падал только на стол, на книги и бумаги. Саша сидел посреди комнаты, все еще не одетый, хотя было двенадцать часов; он сидел неподвижно и смотрел на Ивана, каждое сонное движение, каждый вздох которого наполняли его смешанным чувством жалости и неприязни. Он не мог двинуться, ему начинало казаться, что он болен, что болезнь живет в нем уже несколько дней и теперь объявилась во всей силе; он вспоминал, что еще несколько дней тому назад ему было не по себе вечером, возвращаясь с Катей, а прошлой ночью у него наверное был жар, и, может быть, его продуло в библиотеке – спину ломит и клонит ко сну. Он видел, что жизнь его, не внешняя, та шла своим путем и никто ничего не мог бы заметить, но внутренняя, связанная, однако, очень крепко не только с его душевным состоянием, но и с жизнью его тела, совершенно переменялась: ему уже не хотелось есть в те часы, когда это было нужно, а хотелось есть в иное время, например – по ночам, голова его была тяжела, и ему иногда начинало казаться, будто зрение и слух у него слабеют, будто он живет не совсем, а лишь на одну десятую; он нелегко свыкался с мыслью о том, что все, что он делает, все, что он думает, только ведет к чему-то, не имея самостоятельной цены, будто живет он в нездоровой дреме какого-то ожидания, которая, когда она кончится и наступит настоящая жизнь, не оставит после себя воспоминания,

словно дано ему изжить эти пустые дни и ночи для чего-то, рядом с чем и дни и ночи эти покажутся небывшими.

Но скучная трудность, опустошающее уныние были именно в том, что надо было изживать это время, час за часом, сутки за сутками. Ему было стыдно самого себя, когда он часами сидел на стуле вот так, среди комнаты, или, когда Ивана не было, — на кровати и смотрел в одну точку на обоях, которая в конце концов начинала двоиться и трояться, на свои руки, опротивевшие ему, или в окно, где жил фотограф, которого порой хотелось убить из окна в окно, и чтобы это вовек не раскрылось. Он представлял себе на минуту, забывая всю нелепость такого выстрела, как поутру в комнату фотографа сбегутся люди, как пойдет он сам глазеть на этот труп и его не будут мучить угрызения совести. Он сидел неподвижно и часами воображал лишены всякого последовательного смысла картины, бегущие одна за другой в его мыслях. Вдруг, неизвестно на каком именно месте, они прерывались, несколько мгновений он чувствовал головокружение, потом образовывались в нем и вокруг него пустота и тишина, он зевал, обводил комнату мутными глазами и видел окно фотографа. И нужно было сделать усилие, чтобы опять не дать себя увлечь скользящему в пропасть воображению.

И вдруг среди ночи или днем, в сумеречной тишине одинокой комнаты, сердце начинало стучать молотом, круги шли в глазах: мысль о Лене укалывала его электрической иглой, делалось душно, хотелось упасть ничком, ничего не зная, стиснув зубы, зажмурив глаза, подольше не выпускать ее из своей памяти. Но эта мысль жила лишь одно мгновение, она уходила, как облако, она падала, как звезда, на смену ей шли другие.

Бывали часы, когда он, однако, умел думать и рассуждать по-иному. Это бывало в те дни, когда он случайно высыпался и мог некоторое время работать; тогда вдруг забывались фотограф и цепь длинных, мучащих кошмаров, внезапная прохладная ясность наполняла ум; он ви-

дел себя Сашей, другом Андрея, гостем Шиловских, обыкновенным гостем Жени и Лены; он вспоминал с рассудительным спокойствием, как шел к ним, с каким запретным волнением ожидал встречи с Женей.

С рассудительным спокойствием он мог в эти часы ставить самому себе бесполезные вопросы и отвечать на них: «Возьмем житейский трафарет, – говорил он себе, жадно ища его, цепляясь за него. – Если Лена мне нравится, я должен сделать все, чтобы ее увидеть. – Он с радостью замечал косную обыденность этой фразы и продолжал: – Я могу позвонить ей по телефону и спросить, не хочет ли она пойти в воскресенье на выставку? Или я могу пойти к ней, нет – к ним, сказать: вы меня звали бывать у вас. Вот я».

Тут начиналась в мыслях борьба между житейским трафаретом и тем, что случилось и могло случиться с ним. Это было как в крови борьба микробов с красными шариками, подкидывающая человека, дающая ему бред, неистовство, блаженство жара. В мозгу начиналось то же самое: он понимал, не умея объяснить и видя свою беспомощность, что звонить и приглашать куда бы то ни было можно разве что Женю, но никак не Лену. «На выставку? – скажет она, – да если бы я хотела пойти с вами на выставку, поверьте, я бы сама сейчас же дала бы вам знать об этом».

Но пойти к ней было возможно, пойти к ним даже следовало, только надо было непременно идти с Андреем, не одному, так было бы незаметнее; надо было сговориться с ним – и в том-то и была трудность: за эту неделю Андрей успел познакомиться Женю с отцом и матерью, привести ее к себе и теперь почти не бывал у нее, потому что она приходила к нему. Ей это нравилось, и она приходила почти ежедневно. Сперва она здоровалась с Татьяной Васильевной, и та целовала ее в обе щеки, потом с Михаилом Сергеевичем, тоже требовала, чтобы он ее поцеловал, отчего Михаил Сергеевич смущался и целовал ее быстро и крепко, царапая подстриженными щеками, колкой бородкой. Потом она шла к Андрею в комнату,

ложились в кресло, клала ноги на стул, и они разговаривали и целовались, не стесняясь шагов родителей за стеною. Иногда он снимал ей туфли и брал ее ноги в свои руки. Скрипели чулки, и крепкая Женина нога не сопротивлялась. У Жени им всегда что-нибудь мешало: то приходила подруга, безжалостная и несносная, то Миля отнимала слишком много времени и внимания, то чувствовалось незримое, гнетущее присутствие Лены, которая могла услышать, могла войти – и это Андрея раздражало.

Он почти не ходил больше к Шиловским, и в этом заключалась трудность: уговорить Андрея пойти к ним было невозможно, это значило открыть ему тайну, особенно после того, как Андрей несколько дней тому назад звал Сашу к себе, говоря, что Женя приходит почти ежедневно завтракать и хорошо было бы посидеть как-нибудь втроем.

Саша сидел часами, муча себя наплывавшими мыслями. Он чувствовал, что не способен сделать ни малейшего усилия, чтобы приблизиться к Лене, сидел разбитый, скованный, не зная, сколько еще придется ему ждать. Одна мысль развращала и изнуряла его: мысль о том, что двигаться некуда, что Лена сама хочет, чтобы он достался ей, и это случится без того, чтобы он приложил к этому свои старания.

И чем больше он думал обо всем этом, тем яснее видел свое ничтожество, против которого не столько не мог, сколько уже не считал нужным бороться. Иногда в нем мелькала мечта: подкараулить Лену на улице, увести куда-нибудь на целый вечер, на целый день, уехать за город, не отпускать ее от себя долгими часами. Но в то же мгновение холод расчета заливал всю эту горячность: он видел, что не для чего караулить ее, вести, удерживать, что она сама подкараулит, поведет и удержит его, и слова ее становились в его памяти цепями, которыми она так уверенно связывала и еще крепче свяжет его.

Он вставал, и шел к дверям, и опять возвращался к столу, и ему вспоминались Жанна и другие, с которыми сво-

дила его столичная улица, к которым путь лежал мимо всяких трудностей, мимо всяких мучительных размышлений.

В том, что его поймают, он уже не сомневался. Не было сомнений в том, что Лена не выпустит его из рук, не забудет о нем, а добьется его, и это еще более увеличивало его нетерпение. Становилось все яснее, что с первой минуты знакомства она искала его, и это еще более укрепляло его решение не обороняться, но и не помогать ей – и то, и другое могло оттолкнуть ее; она требовала покорности.

Обороняться не приходило ему в голову; помогать Лене он не хотел: помощь его немедленно привела бы к новому обороту это событие – одним словом, одним движением он бы взвалил на себя всю ответственность и действительность его, он бы не удержал равновесия, и Лена осталась бы ни с чем; отняв у нее почин, он бы не знал, что с ним делать, он оказался бы слишком труден для него, и Лена бы ушла, она бы оставила его, потому что она любила не только его, но и власть над ним.

Но подступали минуты страха, что несмотря на две встречи, на тот блаженный, чудовищный вечер, она забудет его, оставит, что он был только случайностью, что он уже брошен, уже забыт, уже, быть может, предан и осмеян; страх кончался дикой, разрубающей душу пополам ревностью к ее прошлому, которого у него самого никогда не было, к ее настоящему, которое у него было презренно, к ее жизни, которую он не знал, к тем людям, которых она любила, которые любили ее и которые сделали из нее то, чем она стала.

В этой зыби был остров, за который Саша цеплялся, – Жамье. Там, в кабинете, куда ходил он по пятницам, в горьком запахе коричневых окурков, стиснутый полками книг, дверью, которая едва открывалась, шкафом, который мешал, и окном, куда гляделось другое окно, чужое, с фикусом на подоконнике, сидел он и слушал глухой, с басистым скрипом голос, смотрел на седые космы, на быстрые карие глаза в оплывших веках. Он вставал, что-

бы размять ноги, чтобы дойти до постели, занимавшей слишком много места; Жамье поворачивал за ним туловище в складках жилета, толстый живот и красный орден в петличке, и ухо; здесь пропадало все, шли часы, поворачивался в замке ключ, и возвращалась тридцатилетняя барышня, дочка. Она раздевалась бесшумно и сейчас же приходила в кабинет, чтобы поклониться гостю и сказать тихим голосом: «Папа, я вернулась», и опять исчезала в дальнюю тихую комнату, откуда однажды вдруг зазвучали звуки, словно кто-то заиграл на цитре (ей показалось, что Саша ушел). Жамье покраснел, вышел, и звуки замолкли. И опять они сели и продолжали говорить, и так – до одиннадцати. И тогда Саша уходил, подержав в руке желатинную, огромную, с сизыми жилами руку. И Жамье каждый раз говорил: «Осторожно, почему-то на лестнице сегодня темно».

Саша выходил, делал десять шагов до угла, до памятника, и внезапно квартира, и дочка, и цитра, и сам Жамье проваливались куда-то, он опять был один. Он делал крюк, как будто шел из библиотеки, и стоял у киоска, где успели сменить афиши, но где все еще красовалось название недосмотренной пьесы. Он смотрел на решеткой задвинутую дверь театральной конторы, словно сквозь стекло и железо могла вновь выйти к нему Лена в коричневой шубе, как будто уже принадлежащая ему, но неуловимая, словно недоовоплощенная. Он возвращался к себе с тяжелой головой, ни на кого не глядя, приходил, толкал дверь, и поворачивал выключатель, и замечал, что снова прошел день, и опять без нее. Тут в мозгу его пронеслась в спешке вереница милых когда-то людей – Иван, Катя, Андрей и другие, помнящие его и забывшие, канувшие в небытие и живущие где-то рядом. Расслабленный, он поникал на постель, чтобы встать утром для того же безрадостного состояния.

Он сидел на стуле. Иван спал, надоевшие вещи, убогие и привычные, не останавливали внимания, не развлекали, не утешали. Внезапно что-то кольнуло Сашу, он

встал, оделся. Это было похоже на предчувствие, но предчувствий он боялся и не верил им – много уже было в его памяти неоправдавшихся предчувствий.

Он сошел вниз. «Вам письмо», – сказала горничная. Он подошел к ящику и вынул письмо. Буквы двинулись у него в глазах, почерк был незнакомый, неразборчивый; он распечатал конверт.

Он понял не сразу, что письмо было от Лены; она писала, что завтра вечером будет рада его видеть у себя, что все это время со дня на день поджидала отца, но тот не приехал, что она просит его к себе запросто, не будет никого: Женя теперь никогда не бывает дома. И чтобы он приходил непременно, если только может.

Он прочел письмо в одно мгновение и пошел в кафе, на угол, чтобы еще пять раз перечитать его и за каждым словом угадать Лену, ее мысль, приведшую ее именно к этому, а не к другому слову, ее голос, быть может, это слово произнесший вслух. Он увидел ее с пером в руке, положившую пальцы левой руки на бумагу тем театральным движением, с которым иные женщины рождаются. И сейчас же он представил ее себе завтра вечером, выходящую к нему навстречу в домашнем платье, с теплыми ладонями и душистым дыханием, пустынную квартиру, темные комнаты в коврах. Он облокотился обеими руками о стол, спрятав письмо в карман, и увидел себя в зеркале.

Там был тот он, которому писала Лена, кого она любила, быть может, кого она искала. Он ждал и дождался – о, какое это было торжество! Кроме любви, была ведь еще игра: он играл и сыграл правильно; да, она ловила его, ему только оставалось в меру даваться ей в руки; он не ошибся: от него требовалось уметь вовремя сдаться.

Чувства душащей радости, восторга перед собой, уверенности в правильно угаданном ее поведении закружили его, он встал и вышел; день был холодный. Саше захотелось сделать какой-то безобразный, радостный поступок. Он дошел до почты, вошел и спросил телеграфный бланк. Сердце его сильно билось, хотелось смеяться. Он

вынул перо и, облокотившись о конторку, написал: «Спасибо за костюмчик здоров и счастлив Саша» – и два раза подчеркнул слово «Питтсбург».

Неожиданно пришлось заплатить довольно много денег, это его охладило. Он вышел на улицу. «Что я надеялся. Боже мой, какой я дурак!» – подумал он и пошел домой ближайшей дорогой.

Время двинулось, и словно в лад с ним быстрее забило Сашино сердце. Ночь пришла к нему такая, когда совершенно все равно – уснуть или нет, когда знаешь, что сны будут продолжением действительности и то, о чем думаешь, не уйдет, а останется с тобой, и придвинется завтрашний вечер. Саша все мерил время до этого вечера и мерил пространство до того большого белого, какого-то сахарного дома, куда пойдет он после обеда (у Кати была вечерняя работа), куда пойдет, как влюбленный, в неизвестность, в счастье. И когда на следующий день он вышел из ресторана и пошел по темным улицам, ему показалось, что в первый раз в жизни чувствует он себя принадлежащим к одному великому клану любовников, круговой поручкой встающих один за всех и все за одного, что до сих пор был он одинок и заброшен, а сейчас, словно приняли его в могущественное тайное общество, несет он в душе какую-то силу растворимости в таких, как он сам. Он думал о том, что впереди – неизвестность, но и она прекрасна, ни с чем прежним не сравнима. Сама эта неизвестность уже доставляла ему блаженство.

Он поднялся по лестнице и позвонил. Все было тихо за дверью. Потом где-то далеко раздались шаги, их заглушил ковер, щелкнул выключатель, и опять простучали шаги, дверь открылась. Он увидел горничную, которую почему-то немного боялся (с того раза). Кругом были темные, зияющие двери в комнаты, которые он успел забыть, и он напряженно следил, не появится ли из одной из этих дверей Лена, чтобы быть готовым взглянуть на нее. Но горничная сказала: «Пожалуйста. Елена Борисовна у себя», – и повела его по скользкому коридору.

Он услышал звук швейной машинки, и Милину возню, и ее голос, он представил себе многолетний уют этой семейственной жизни. В эти минуты он видел Лену словно освещенной с неожиданной стороны. До сих пор чем была она в его воображении? Она была так странно самостоятельна, она была сама по себе, совершенно отдельно от той обстановки, в которой выросла и жила. И в первый день их знакомства, в тот нелепый день помолвки и разлитого шампанского, она казалась зараз и хозяйкой, и гостьей в этом доме, где росла маленькая сестра ее, где жила курносая чернобровая старая няня, где одна из комнат называлась кабинетом отца, инженера Бориса Игнатьевича Шиловского. В этой вечерней тишине, в этих вечерних звуках Саша представил себе длинный ряд лет, проведенных Леной в этом окружении, они показались ему безмятежными – иначе не была бы она здесь, иначе давно жила бы одна. Но сейчас же он спохватился: если бы эти годы для нее действительно были мирными, она давно была бы замужем, имела бы детей, такую же квартиру и такую же прислугу; что-то, однако, заставило ее до двадцати четырех лет прожить в отцовском доме.

Горничная постучала в третью по счету дверь. Лена встала Саше навстречу; он еще не знал в ней самых простых, самых обыденных движений – сколького еще не знал он в ней! Эта мысль пронзила его. Он сжал ее руку, поблагодарил за приглашение и сказал, вдруг потеряв над собой всякую власть, что и сам бы пришел, не будь письма до пятницы.

– Однако ведь вот не пришли же, – сказала она лукаво. – И наверное бы не пришли. И почему до пятницы?

Он не нашелся. «Так», – сказал он и сел, смутившись.

Комната была частью ее самой, и ему показалось, что узнать, увидеть, как и где она живет, тоже один из многих путей к ней: в углу, на столе и над диваном были зажжены три лампы под острыми колпачками, но света было немного, и комната оставалась в полумраке; он увидел

у ног Лены низкий стол с коробкой дорогих папирос и квадратной пепельницей; он поискал глазами книг: над маленьким столом висела полка, блестели корешки, показавшиеся ему незнакомыми; на камине, под большим букетом белых цветов, стояли фотографии – все было обычно и богато и слегка разочаровывало.

– Может быть, вы хотите пройти в гостиную? – спросила она, но он сказал, что в гостиную идти не хочет, что из гостиной принято скоро уходить – сама комната напоминает, чтобы не засиживаться, а здесь, где она живет, можно сидеть долго.

– А вы намерены сидеть долго? – спросила она.

– Да.

Она сложила руки на коленях, и он заметил, что платье ее застегивается на большие плоские янтарные пуговицы; туманная радость закружила его при мысли, что вот он протянет руку и расстегнет эти пуговицы.

– Вы прочли мои мысли? – спросил он.

– Нет, – ответила она, – если бы я читала ваши мысли, я бы знала, что вы обо мне думаете, а так не знаю.

Он несколько секунд смотрел на нее молча.

– Неужели вам не все равно, что я думаю о вас? Вот мне, например, безразлично, что вы думаете обо мне.

– Потому что вы это знаете.

– Что же я знаю?

Она повела плечами.

– Я вам скажу, но не сейчас.

Она откинулась на диване: он увидел ее ровную крупную ногу в темном чулке и открытой легкой туфле.

– Вам не кажется, – спросила она, – что сегодняшние наши разговоры будут очень бессодержательны: мы очень щедры, мы слишком щедры, мы просто моты, нам бы узнать друг друга побольше, ведь жадность к этому есть? А мы уже готовы волновать друг друга намеками и вопросами, на которые, если ответишь, начнется что-то совершенно другое, новое. Будто ножницами отхватишь таким ответом весь этот кусок, невозвратно расстанешь-

ся с ним, а расставаться жалко! Лучше подальше от решительных слов, правда?

– Да, – сказал он, – вы, вероятно, правы. Но, кажется, уже нет возможности говорить друг с другом сдержанно-дружески, узнавать друг друга в благопристойной беседе. – Он замолчал, усмешка прошла по его лицу. – Я могу вам прочесть вслух сегодняшнюю газету, если вам очень хочется медлить во что бы то ни стало.

Она рассмеялась, и глаза ее блеснули.

– Эти противоестественные меры, – сказала она опять в раздумье, – очень скучны. Но вас не пугает, – приостановилась она, – вас не пугает, что перед нами вовсе нет никаких препятствий?

Сердце его сильно забилося, грудь наполнилась холодом.

– Нет, – сказал он едва внятно, – я не знал, что их нет.

Она вдруг покраснела, и руки ее пришли в беспокойство.

– Вы не поняли меня, – отрывисто сказала она, – я хотела сказать, что нет тех препятствий, какие раньше бывали у влюбленных. Ведь нет?

Он молча смотрел на нее.

– И вы прекрасно знали это. Имейте мужество признать, что если бы вы не были уверены в том, что препятствий не существует, вы бы не пришли ко мне.

Он перевел глаза на ее туфлю.

– Я не хочу быть вашим капризом, – сказал он с усилием.

Сердце его стучало, он чувствовал, что все, что было когда-то в жизни и будет еще, проваливается без остатка. Остается одна эта минута.

– Вы не каприз, – сказала она тихо.

Тишина застучала у Саши в висках, озноб прошел по нем. Молчание тянулось довольно долго; он услышал на мраморной доске камина нежное тиканье часов и далеко, за стеной, тиканье швейной машинки.

– Возлюбленный век упрощения жизни! – заговорил Саша, вставая и складывая на груди руки. – Боже мой, как я счастлив, как счастлив быть с вами, любить вас.

Она внимательно посмотрела на него, закинув голову, и сказала с умышленно легкомысленным смехом:

– Не радуйтесь, потом могут быть трудности, которые с лихвой заменят препятствия прежних влюбленных.

Он пожал плечами.

– Не пугайте, не идет это вам.

– Я не пугаю вас. В душе-то у вас разве уже все так ясно и просто?

Он мысленно перескочил через эти ее слова: она холодила его, это он замечал не впервые.

Она продолжала сидеть неподвижно; лицо ее было бледно, глаза темнели, рот казался больше, чем всегда. Все лицо вдруг приобрело неожиданную скуластость. Саше показалось, что она делается похожей на японку. Но это пропало, только глаза остались подтянутыми к вискам и скулы обрисовались отчетливее; она расцепила руки и положила одну из них ладонью вверх рядом с собой, и он припомнил, глядя на эту плотную, розовую, бугристую ладонь, что были у нее не руки, а лапы.

Он, пошатываясь, подошел к ней, сам не сознавая, что делает, опустился на колени у ее ног и молча прижался к ее коленям. Она тихонько отодвинулась от него, не изменив положения рук. Он поднял глаза. Теперь она была совсем бледная, с кругами вокруг еще более сузившихся и потемневших глаз, но ни волнения, ни возбуждения не мог Саша заметить: она дышала ровно, и сидела в мягкой, спокойной позе, и не собиралась, видимо, двигаться.

– Я хотела бы, – сказала она ласково, – чтобы вам было хорошо со мною. Я уже говорила вам об этом.

Она провела рукой по его волосам и на минуту задержала ее у него на затылке.

– Я хотела бы, чтобы, когда будут трудности (а ведь они будут), вы не испугались и продолжали меня любить.

Он слушал, затаив дыхание.

– Может быть, – продолжала она, глядя перед собой, мимо Сашиного лица, – без них и любви настоящей нет, а так только – один любовный навык.

Нина Берберова

– Вы любили? – прошептал он.

Она дала ему поймать свой взгляд и молча кивнула головой в знак утверждения, с едва заметной полуулыбкой. И опять он почувствовал ревность.

Она наклонилась к нему.

– Вам стало грустно? Вам нехорошо со мной? Скажите, что бы вы сейчас хотели?

Он взял обе ее руки и долго разглядывал их, преодолевая головокружение; ему захотелось вдруг придумать что-то дикое, нелепое, неожиданное, чтобы ее смутить, – неисполнимое желание, невозможное требование. Но с ней все было исполнимо и возможно, и ничто не казалось диким.

– Я хотел бы не быть здесь, но быть с вами.

– У вас?

– Нет, что вы! Вы не знаете, как я живу. Ко мне вам нельзя. Я хотел бы выйти сейчас вместе с вами, ехать куда-то, не очень далеко, но и не очень близко, главное, чтобы никто не знал, что вы со мной, а я с вами. Приехать куда-то, где не было бы никого, кроме вас и меня, где до поздней ночи, или нет, до утра, можно было бы оставаться с вами, быть с вами.

Он почувствовал, что его руки в ее руках совсем влажные; в другое время он не знал бы, как ему это скрыть, – сейчас было все равно. Она наклонилась к нему еще ниже. Он почувствовал запах не то пудры, не то духов, который вместе с ее дыханием шел от нее.

– Вы хотите этого? – спросила она, и глаза ее стали совсем узкими, длинными. – Подождите меня в прихожей, я сейчас оденусь. Поедем.

Он вскочил с колен, она быстро встала. В тумане он прошел к двери, открыл ее и вышел в коридор.

В тумане было все, кроме каждой последней секунды; в каждое последующее мгновение ничего не оставалось от предыдущего, словно что-то горело, сгорало и не оставляло даже пепла. Он чувствовал озноб, у него зуб не попадал на зуб; держась за стену, он прошел

по освещенному коридору в переднюю, нащупал выключатель и зажег свет.

Стены плыли перед ним, плыла высокая вешалка. Он увидел два кожаных пальто, было что-то трогательное в этом висении рядом Жениного и Лениного пальто, тут же висела коротенькая Милина шубка и что-то, чего Саша сперва не разглядел, что-то непохожее на окружающее, что-то знакомое и удивительное именно тем, что такое знакомое: Катино лиловое пальто.

Он сразу пришел в себя, припомнил стук швейной машинки и спешную вечернюю работу, о которой сегодня Катя ему говорила. Она работает у Шиловских! Он увидел на подзеркальнике ее шляпу, прозрачную, с бархатной лентой, – как он мог не заметить ее раньше? Она была тут, за этой дверью, в столовой. Он осторожно подошел и неслышно открыл белую стеклянную дверь.

С обеденного стола была снята скатерть, и машинка стояла у края, на сером сукне. Катя подняла глаза из-за вороха белой и розовой материи. Она остановила глаза, круглые и красные от работы, на Сашином лице, показавшемся в щель двери, и ничего не могла выговорить.

Так они смотрели друг на друга несколько мгновений в тишине чужой квартиры.

– Ты! – сказала Катя тихо. – Зачем ты здесь?

– Я в гостях, – так же тихо отвечал Саша.

– Ты знаком со здешними барышнями?

– Да.

– Ты часто сюда ходишь?

– Нет, я здесь во второй раз.

– Смотри, осторожней: младшая – невеста, – Катя окончательно усвоила бесстыдство Ивана, – а старшая никогда за тебя не пойдет.

– Глупости, глупости в голову тебе приходят. Я не собираюсь жениться, я так хожу.

Катя испуганно прислушалась.

– Уйди, закрой дверь. Все равно не надо, чтобы знали, что я тебе вроде родни прихожусь.

– Почему? Дура ты.

– Нет, не дура. Уж я знаю. Закрой дверь, скорее.

Саша закрыл дверь, отошел. Почему? Да потому, что быть знакомым с Катей неприлично, потому что она бедна и он беден, пусть это будет неизвестно как можно дольше, пусть об этом будут только догадки, не надо доказательств.

Лены вышла, когда он был уже в пальто; она попросила его выйти первым и зажечь на лестнице свет, сама потушила в прихожей, посмотрела, есть ли в сумке ключ.

– А который час? – спросила она.

– Одиннадцатый.

Она захлопнула дверь, и они быстро стали спускаться по ковру лестницы. В аляповатых бессмысленных витражах окон латунию отливало электричество. Она нажала кнопку, и входная дверь открылась. На улице начиналась зима.

Редкие фонари в черноте пустой улицы стыли одинокою цепью, плиты тротуара были сухи, и гулко отдавались по ним торопливые Ленины шаги. Саша шел рядом, держа ее под руку, и опять рука его терялась в ее пушистом обшлагае.

– Вам холодно, – сказала она. – Как переменялась за последние дни погода! Еще неделю тому назад мы с вами не верили, что через два месяца Рождество. А сегодня совсем декабрьская погода.

Он молчал, туман в мыслях делал для него трудным всякий разговор. Он поднял голову. Там, между кручами облаков, мерцали большие плоские звезды – голова кружилась, когда на ходу смотрел он вверх. «Она знает, что делает, – смутно подумал он, – а я не знаю, что делаю».

Лена шла в ногу с ним, и он впервые чувствовал ритм ее походки, словно было это предчувствие биения ее сердца. На углу она знаком подозвала таксомотор. Шофер перегнулся в ее сторону, она выпустила Сашину руку и подошла к машине, так близко, что даже положила руку на ее край. Саша увидел, как шевельнулись ее губы, но не расслышал адреса. «Все равно, – подумал он, – все

равно, куда бы ни ехать». Он открыл дверцу, Лена села, и он сел за ней. Дверца захлопнулась, они понеслись.

– Погода переменялась, – сказала она, и голос ее дрогнул, но она тотчас оправилась, – и многое, многое переменялось. Как сладко иногда говорить банальности, правда?

Она повернулась к нему и взглянула ему в лицо долгим взглядом, словно притягивая его к себе.

– Куда мы едем? – спросил он, не зная, что сказать. У него опять начался озноб, и он боялся, что она заметит, что у него зуб на зуб не попадает.

– Мы поедем туда, куда вы сами захотели, – отвечала она. – Что с вами? Вы простужены? Вас трясет?

Он повернул к ней лицо с блестящими, совершенно большими глазами, она обвила его шею рукой, подняла ему жесткий воротник пальто и запахла на груди шарф.

– Вас лихорадит, – сказала она, приближая его к себе и стараясь соединить у него под подбородком концы непослушного воротника.

– Я здоров, что вы, – отвечал он, щелкая зубами, – оставьте, мне совсем тепло.

Она выпустила его, оставив руку у него на плече.

– Не надо, не надо бояться, – сказала она вдруг, – ничего ведь не случилось, и на земле тысячи таких, как я и как вы.

– Я не боюсь. Почему вы думаете, что я боюсь? Я просто от счастья, оттого, что не знаю, что с собой делать, – зубы его застучали опять, – оттого, что страшно, что все кончится, оттого, что вы такая... Вы... Что вы со мной сделали?

Она провела рукой по щеке его, по шее. Больше всего на свете ему хотелось заплакать, сжать ее в объятии и зарыдать. Он протянул руку и осторожно нашел борт ее шубы, провел рукой по меху, нащупал пояс платья и почувствовал тепло, идущее от нее.

– Не трогайте меня, мы сейчас приедем. – Голос ее доносился откуда-то издали, хотя он почти чувствовал ее губы у своего уха.

В тишине и мраке они остановились. Ничего не было видно кругом. Он вышел первым и подал ей руку; на улице не было никого, ряд одинаковых домов, темно-серых, с решетками балконов, с темными дверями и окнами, был ему совершенно незнаком. Улица, вымощенная торцами, была пустынна и тиха, в конце ее проезда не было: поперек мостовой стояла загородка. Это был тупик, молчаливый, вероятно, фешенебельный и безлюдный. Тротуары были широки и чисты, ветер гулял по ним.

Лена позвонила у двери, она открылась с легким дребезжанием. Они вошли, прошли длинным темным проходом, завернули; зажегся свет. Саша увидел лестницу, клетку лифта. В доме была ночная, глубокая тишина.

Лестница показалась ему широкой, пышной и отлогой, но Лена открыла лифт, и он вошел за ней. Он встал почти вплотную к ней, она подняла глаза к длинному ряду кнопок. «Седьмой», – сказала она и нажала верхнюю. Они стали подниматься с легчайшим шелестом, время от времени на этажах раздавалось тихое щелканье; они возносились куда-то под крышу. Они миновали пятый этаж, когда вдруг потухло электричество. Они продолжали подниматься в полном мраке.

Саше показалось, что электричество потухло не потому, что автоматическое время его иссякло, но что сейчас что-то случится, какая-то катастрофа, они оборвутся в мрак, в бездну. Над кровавой кашей их тел склонятся люди: почему эти двое здесь? ни один из них не живет в этом доме. Но швейцариха скажет: я знаю эту женщину, она иногда приходит сюда...

– У вас есть спички? – спросила Лена из близкой темноты.

Он стал шарить по карманам. «Да, были», – сказал он. Они все продолжали подниматься. Он вынул из жилетного кармана коробок. Лифт щелкнул и остановился.

Саша чиркнул спичкой, вспыхнул огонь, заблестели кнопки. Он потянулся к дверной ручке, но прежде, чем он успел взяться за нее, Лена сделала движение, отчего

ему вдруг показалось, что лифт качнулся: она выпростала руку из-за его спины и у самого его лица быстро нажала нижнюю кнопку. Они стремительно полетели вниз.

– Что вы делаете? – тихо вскрикнул он.

Они летели вниз, и он опять дрожащими руками зажег огонь. Он увидел белое лицо Лены и испуганно сжатый рот. Ни до, ни после он никогда не видел ее в таком страхе.

– Зачем вы спускаете лифт?

– Я не знаю, – пробормотала она, вдруг теряя всю свою крепость, – мы лучше уйдем, лучше не надо... туда.

Он уронил тлеющую спичку на пол в ту секунду, когда они наконец остановились. И странно было думать, что в тихой богатой улице стоит мертвый дом и там, в гробовой темноте, вверх и вниз ходит лифт с двумя людьми.

Но Лена оправилась сейчас же. Она коснулась Саши плечом, улыбнулась ему, хоть он и не мог видеть эту улыбку, и сказала:

– Нет, нет, это глупости. Сейчас же опять наверх. Какое озорство!

И они медленно, во второй раз, начали возноситься, полюбив друг друга и не двигаясь.

– Я выйду первая, – сказала она, отворяя дверь. – Здесь зажигается свет, – она нажала выключатель, и он опять увидел ковер и широкую площадку с двумя темными дверями. На левой была привинчена узкая медная доска. *Decoration d'art Essima*, – прочел он мгновенно; на другой не было ничего. Лена подошла к другой, неслышно сунула плоский ключ в узкое отверстие замка, раздался металлический звук, дверь подалась. «Войдите, – сказала Лена, – как здесь жарко!»

Он вошел; жара действительно была сильная, в радиаторах с легким мышинным шумом кипела вода. Вспыхнул свет, и Саша увидел короткий коридор, устланный ковром, с низким диваном, над которым висел сине-зеленый пейзаж.

– Сюда, – сказала Лена; она одернула драпировку, заменявшую дверь, и они вошли в комнату, показавшуюся Саше очень большой. Опять вспыхнул свет, но уже не над головой, а в дальнем углу, под молочным абажуром. «Снимите пальто, – сказала Лена, – садитесь; я закрою отопление, здесь нечем дышать».

Он поднял глаза и посреди стены, прямо против двери, около которой еще стоял, увидел над невысокой полкой с книгами, над двумя темными креслами ее портрет во весь рост, писанный маслом, и на нем стояла она такая, какую он когда-то, в начале своего с ней знакомства, вообразил ее: в вечернем, очень открытом, бледно-желтом платье, в котором она казалась гораздо старше своих лет, с большим бледно-желтым неестественным цветком у груди, с волосами, чуть-чуть иначе подстриженными, с руками, с бело-розовыми лапами, в которых держала большой кружевной бледно-желтый платок; бахрома падала ей на ноги.

Он стал медленно подходить к картине, не отрываясь от нее, словно хотел выпить из нее все, чем она могла напоить его: этот портрет заключал в одном себе чужую, неизвестно чью квартиру, всю прошлую и, быть может, настоящую жизнь Лены, ее вечерние выезды в бальном платье, когда с ней танцуют, и ее обнимают, и сжимают ей руку, и долгие часы писания портрета наедине с художником, узкий ключ от входной двери, все, все, что понял наконец Саша.

– Кто это писал вас? Чья это квартира? – спросил он, оборачиваясь к двери. Там стояла она с апельсинами в одной руке и с холодным ростбифом, нарезанным тонкими ломтями, в другой.

– Эта квартира теперь моя, – сказала она, опуская глаза. – Возьмите это, мы будем ужинать, – и видя, что он до сих пор в пальто: – Пойдите, снимите пальто и принесите из кухни вино и стаканы.

Он повиновался и вышел; из коридора, кроме входной, вели две двери; он открыл первую – это была ванная.

Над умывальником, на стеклянной полке, стоял пустой стакан и большая круглая коробка пудры. «Она здесь бывает редко, никто не живет здесь, – подумал он, – иначе были бы и другие предметы». Он пригладил волосы и вымыл руки в каком-то оцепенении. Вторая дверь вела в крошечную, очень чистую, почти бутафорскую кухню. Бутылка рейнского вина, откупоренная, холодная и пыльная, стояла на столе. «Почему вино рейнское? – подумал он опять. – И кто это в Париже рейнское вино пьет?»

Он вернулся в комнату, где Лена на круглом столе приготовила ужин. На этот раз он не взглянул на портрет. Он поставил бутылку и отошел к полке с книгами: тут бросились ему в глаза Достоевский в немецком переводе, том Новалиса и старые номера Симплициссимуса. За полкой стояли повернутые к стене холсты, холсты были нагромождены и на высоком темном шкафу с узкой полированной дверцей.

– Я скажу вам, чья это квартира, – сказал вдруг Саша, – это квартира вашего возлюбленного, художника, немца. Я не хочу встретиться с ним, я уйду.

Она широко открыла глаза и подняла руку, словно хотела защититься.

– Нет, – сказала она, – он не придет, не бойтесь. Не уходите, неужели вы можете уйти?

Саша сделал несколько шагов к двери, от плеч до колен обожгло его, словно проглотил он ложку уксуса, смертельной тоской обернулась в его душе ревность.

– Он не придет, – повторила Лена, – он умер. Оставайтесь.

Он мгновенно опустился на стул, подле самой двери. Наступило молчание. В молочном свете низкой лампы он медленно и мучительно привыкал к окружающим вещам, креслам, книгам, к низкому широкому дивану, к словам Лены. «Художник, – думал он, – и умер у нее на руках».

– Прошлой весной, – едва слышно сказала она.

Нина Берберова

«И вот она здесь, в этой комнате, где когда-то бывала с ним и, может быть, когда-нибудь приведет сюда другого».

– Когда-то я думала, что никого никогда не смогу привести сюда, – продолжала Лена, – но вы... Вы очень испуганы? Вы боитесь?

– Я ничего не боюсь, – сказал он. – Вы любили его?

Она из угла комнаты смотрела на него; он увидел пару неподвижных, немигающих глаз.

– Лена! – воскликнул он и встал, чтобы подойти к ней.

– Да, любила. Вам тяжело? Да, если бы я не любила никого до вас, вам было бы легче, все было бы проще, как бывало у вас просто до сих пор. Вы этого хотели?

– Нет.

– Вот и трудности. Препятствий нет, какие препятствия, когда я сама привела вас сюда? Но трудности причиняют вам страдания. Простите меня.

Он сел рядом с ней, страх, державший его, как в тисках, начал постепенно отпускать его, Лена увидела, как тускло блеснули его глаза.

– Саша, – сказала она еле слышно, – пусть ничего не случится с нами сегодня, пусть *это* случится «может быть». Не смотрите на меня так.

– Вы очень много рассуждаете, – сказал он, грубовато беря ее за руки. – Вас уже целовали в этой комнате, и не раз.

Она отпрянула в угол кресла, и опять глаза ее подтянуло к вискам. На одно мгновение он ужаснулся своей грубости. «...покорности», – вынырнул откуда-то конец какой-то мысли. Но сразу опять стало лихорадочно страшно, что время уходит, что он упускает его, что все это никогда может не повториться – и Лена не будет с ним наедине, так близко, так тайно, с пахнущими вином губами. «Слова любви, – пронеслось в нем, – слова любви!»

Он не нашел их и молча обнял ее, и сейчас же всем мыслям, всем сомнениям и рассуждениям пришел конец;

Повелительница

как только он коснулся ее губ, пришло забвение, и ему не было дела, что в сознании Лены мысль еще продолжала работать некоторое время, мысль ищущая, судящая, отрицающая. А когда прошла долгая, страстная вечность, он удивился, что по-прежнему горит лампа и недочищенный апельсин лежит на скатерти.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Первое, что увидел Саша, когда открыл глаза, был слабый свет октябрьского утра в окне, неплотно закрытом шторой. Он поднял голову. Исполосованные тенями стены заколебались у него в глазах. Там, далеко, в тумане утреннего света, растекалось желтое платье с желтым цветком, плавало лицо. Саша осторожно приподнялся. Лена спала в вершке от его плеча, волосы ее были спутаны, копной стояли на голове, под глазами лежали темные круги, нос был необыкновенно тонок и прям – теперь она была почти красива. Он долго смотрел на ее рот, где поблескивали зубы, из которых один передний был чуть короче другого, потом увидел ее пальцы, просунутые между щекой и подушкой, они тоже были бледнее, тоньше, духовнее, чем наяву. Она дышала еле слышно, на мгновение приостановила дыхание, узкая легкая морщина легла у нее между бровей; но Лена не проснулась, а наоборот, закрыв рот, заснула еще крепче.

Медленно, неслышно Саша высвободил ноги из-под одеяла, ступил на ковер и подошел к окну. Внизу был колодезь двора, вверху – небо и трубы домов; был ясный, холодный, прозрачный день. Небо было синее, безоблачно, на крышах сверкало солнце. Саша осторожно повернул кран радиатора – потянулась в трубы вода. Мысль о том, который может быть час, пришла ему в голову, и вдруг с тоской вспомнился Иван, наверное уже вернувшийся, быть может, уже храпящий. Саша подошел к ночному столику. Его часы стояли на половине четвертого, он забыл их завести вчера; ее часы на шелковом ремешке

лежали тут же; они шли, он услышал их серебристый ход, но они были так неимоверно малы, что ничего нельзя было рассмотреть на них. Лена все спала, ее светловолосая голова тонула в широких подушках, ее тяжелая, горячая голова с горячими мыслями была полна неизвестных Саше снов. «Моя, моя», – прошептал он в блаженном ужасе.

Он не знал, который мог быть час, и не имел представления, где именно, в каком углу Парижа находится. Он опять подошел к окну. День был, вероятно, ослепительный, сине-золотой, хотя внизу, на асфальте двора, в тени стояла лужа от ночного дождя. Саша припомнил, что вчера, когда он отправился к Шиловским, был вторник. С тех пор прошло много времени. Может быть, он уже неделю живет в этой комнате, смотрит до рези в глазах на желтый портрет и слушает дыхание спящей Лены?

Оттого, что Саша не мог представить себе, где находится, ему начало казаться, будто он далеко, очень далеко не только от дома, от Кати, Ивана, университета, от прошлой жизни, но и от самого Парижа. Он на мгновение усилием воображения представил себе чужой город, куда занесло его, где он никого не знал, где он не понимал даже языка, на котором говорят окружающие. Он стоял у окна воображаемого города. С прошлым все было покончено, оно ушло, не оставив следа, в настоящем была Лена, ее спящая голова в середине огромной кровати.

Внезапно он прислушался. Били часы. Он насчитал девять ударов. Слава Богу, было еще рано – рано для него, но Иван должен был уже начать беспокоиться. Девять часов в огромном городе, шум которого едва доносится в это наглухо закрытое окно.

Он медленно выходит в коридор, открывает дверь в ванную; сюда приходил он вчера, и ничего за ночь не изменилось – тот же стакан, та же ослепительная чистота всех предметов. Саша полощет рот, брызжет в лицо водою и чувствует, как от него безвозвратно исходит особый острый запах Лены и ее духов, которым он весь пропитан;

Нина Берберова

волосы, руки, рубашка пахнут им, и вот от легкого холода, от чистого воздуха ванной, от воды этот запах уходит, Саша чувствует его присутствие в тот миг, когда он готов улетучиться.

Саша смотрит в зеркало, и опять охватывает его, как третьего дня в кафе, после чтения Ленинского письма, щемящая гордость, нежное удивление на самого себя. Он приглаживает волосы, в зеркальном факете двоится радуга. Он выходит бесшумно и слышит на лестнице шаги, кто-то проходит мимо двери.

Да полно! Верно ли, что умер этот художник, живший здесь, спавший на этой кровати, писавший Лену? Быть может, он жив и вернется когда-нибудь к своим холстам; он ворвется с искаженным отчаянием лицом, с криком или просто так, молча: ведь он немец, а немцы умеют вести себя, – и увидит, что выпито его рейнское вино и женщина предала его и насмеялась над ним. Или, может быть, он осторожно подойдет к двери и смиренно постучится, потому что с его согласия получен этот ключ, с его согласия использована эта квартира.

Вот о чем думал Саша, идя из ванной в кухню, где вчерашний ужин стоял на низком буфете, где пахло вином и апельсиновыми корками (апельсиновыми корками долго пахли руки Лены, и во сне Саше снились – он это вспомнил только сейчас – апельсины, которых было так много, что он давил их, ходил по ним и разгребал их руками). Саша внезапно понял, какую трусостью были все его домыслы о возвращении художника; он подошел к буфету, взял двумя пальцами тонкий ломтик ростбифа и отправил в рот – мясо было холодно и нежно. Он посолил второй кусок из граненой хрустальной солонки, стоящей тут же, и съел его. Так он съел кусков пять, закусил черствой сдобной булкой, вытер рот и руки висевшим на веревке, над самой плитой, полотенцем и вышел.

Он бесшумно стал искать свои вещи в хаосе раскиданных по комнате предметов. Несколько раз под руки ему попадалась все та же Ленина зажигалка, которую он те-

перь знал хорошо; на столе, под перчатками, он нашел сумку, из раскрывшегося бока которой торчала пачка сотенных бумажек. Он стал одеваться, Лена все спала. Она шевельнула ногой под одеялом, словно снился ей бег или видела она себя оленем. Он разложил по карманам выпавшие карандаш, карманную книжку, гребешок, он стоял совсем готовый. Солнце все светлее, все ярче прорезало штору. Саша подошел к кровати.

Он обеими руками повернул к себе сонную голову Лены, она открыла глаза. Медленно, словно следя за невидимой радугой, она обвела комнату сонным взглядом и вдруг встрепенулась:

– Вы одеты? Вы уходите? Как же я ничего не слышала?

Он молчал, не сводя с нее глаз.

– Который час? Уходите скорее, что о вас дома подумают!

– А о вас разве нет?

– Обо мне никогда никто не думает.

Он сел к ней на постель.

– Десятый час. А вы останетесь?

– Да, я останусь.

– На весь день?

– Во всяком случае до завтрака.

Он понял, что невозможно заставить ее уйти вместе с ним, что она по-прежнему будет делать все, что захочет.

– Вы меня больше не любите? – спросил он, зная, что это неправда, но его тянуло непременно задать этот вопрос.

– Какие вы глупости спрашиваете! Вам не стыдно?.. А вы? – спросила она внезапно, ища его глаза.

Он трогал ее колкие короткие волосы, все отстраняя их от высокого влажного лба.

– Уходите, право, пора, – сказала она строго, – я напишу вам, когда можно будет опять прийти.

– Сюда?

На этот раз она быстро окинула взглядом комнату.

– Да, сюда.

Нина Берберова

«Надо идти, надо идти, Иван не ложится, Бог знает, что будет», – твердил себе Саша.

– О вас беспокоятся, – сказала она, – уходите, это неразумно.

Но, говоря так, она все держала его за руку, пока внезапно не выпустила и сама не отодвинулась.

– Прощайте, уже, наверное, скоро десять. Пока вы доедете...

Он вскочил, еще раз взглянул на нее, плечо ей перерезала белая атласная лента рубашки. И вдруг он вышел в переднюю и оттуда, схватил пальто, – на лестницу, хлопнул дверью с тугим замком и помчался вниз, вдоль перил, делая все ту же спираль вокруг клетки лифта. Он пробежал мимо двери швейцарской, едва не вбежал в громадное зеркало и выскочил на улицу, всю в солнце, в голубых лужах, в которых лежало и томилось небо, в прозрачный воздух солнечного дня.

Он пошел по белым плитам тротуара, в сторону, как ему показалось, наибольшего движения. Он был в чаду. Что это была за улица? А номер дома? Он бросился назад, чтобы еще раз увидеть и заметить парадную дверь, откуда только что вышел, но он уже отошел от нее и не помнил, сколько приблизительно сделал шагов – сто пятьдесят, сто или только пятьдесят? Двери все были одинаковые, дома стояли одинаковые тоже: в номере семнадцатом он увидел пальму – ему показалось, что пальмы на лестнице не было; в номере девятнадцатом лифт был по левую сторону от входа – но он уже ничего не мог вспомнить; а в двадцать первом на пороге стояла женщина и колотила коврики, и он не останавливаясь повернул назад.

Название улицы он прочел на углу – оно было ему незнакомо, но что было ему до улицы, когда он в своем безумии даже не заметил номера дома? Теперь эта квартира потеряна, он не сможет найти ее, он не знает, на чье она имя, и если Лена не захочет, он никогда уже не вернется туда. «Как странно, – подумал он в раздражении на себя, – словно ее и не было! Словно и не было этой ночи, этого утра!»

Ему пришлось идти пешком довольно долго, пока он, наконец, вышел на довольно просторную, обсаженную деревьями площадь. Он опять почувствовал себя в чужом городе – он никогда не был здесь и не знал этих мест; шел автобус, на котором можно было доехать до Северного вокзала. А солнце все ярче и ярче сверкало на металлических частях автомобилей; попадая в стекло, луч сам вдруг на короткий миг делался солнцем, и освещал все вокруг себя, и слепил. Саша стоял на углу, мимо него сновали люди; яблоки, поздний виноград выбегали из высокооконного гастрономического магазина на тротуар, к его ногам. И вдруг душное воспоминание пронзило его: запах апельсиновой корки, запрокинутое бледное лицо, японское что-то в скулах. Там все еще лежала она, в тихом сумраке седьмого этажа, который, как только она встанет и откроет окна, пропадет навеки. Она лежала там, одна, он оставил ее с горячими плечами, охваченными прохладными лентами, и никто в целом мире не знал, что она любила его, что она была его, что она привела его туда, под желтый портрет, и была с ним счастлива. И ростбиф, и краны в ванной, и пейзаж в коридоре (художник-то, верно, был не из важных!), всё, всё прошло расплавленным оловом в его памяти, и широкая, не очень мягкая низкая кровать, и одеяло, совсем новое, легкое и теплое, и то, как под утро, когда он внезапно проснулся, по потолку прошли какие-то светы – откуда и куда? – или это только так показалось? Все это было, было, пятью чувствами он испытал эту действительность, а сейчас не было ничего, и не осталось даже адреса, даже имени. И любой прохожий может подойти и сказать: «Молодой человек, все это вы выдумали; молодой человек, вы ошибаетесь».

Было десять часов, когда он открыл дверь своей комнаты. Иван сидел на постели и хмуро смотрел на него, было ясно, что он все-таки спал, но спал чутко, проснулся от Сашиных шагов и теперь хотел уверить себя и его, что и не думал спать.

– В другой раз предупреждай о посещении тобой домов терпимости, – сказал Иван сердито, – чтобы пункт первый – мне не беспокоиться и пункт второй – не тратиться на розыски.

Это было обычное Иваново изречение, во многих случаях уже сказанное, Саша слегка улыбнулся, но раздражение вдруг появилось у него к Ивану и к его словам, откуда и почему – он сам не понял.

– Опять же дома терпимости, – продолжал Иван, почесывая спину, – не обязательно заваливаться спать до утра; ну часок, ну два, ну три – что это, в самом деле, за обломовщина, непременно оставаться на ночь!

Он говорил это и сам не верил ни одному своему слову; ему не хватало воображения представить себе Сашину ночь, и в глубине души он представлял ее себе совершенно невинно.

Он тянул одеяло к лицу; и Саша видел плоские черные ногти, которые уже ничем нельзя было отмыть, и ему показалось невероятным, что в эту же постель, на эти же простыни ляжет он сегодня вечером, он, которого обнимала Лена. С чувством внезапной брезгливости смотрел он на сероватую, сальную наволочку, о которую терся щекой Иван и в которую сегодня ночью он сам будет смеяться и плакать. Он стоял с опущенными руками и смотрел на брошенные на стол, на книги и бумаги, подштанники – стул был занят пиджачной парой, газетой и сапожной щеткой, и ему стало тошно, тошно и грустно. Иван уже спал – ни солнце в небе, ни ослепительный день не могли заставить его не спать. И тогда Саша почувствовал, что готов бежать отсюда куда угодно, чтобы только не видеть спящего Ивана.

В этом желании присутствовала причинявшая сладкую муку мысль о Лене. «А она все там», – повторил он в десятый раз. Он не мог больше оставаться в этой полутемной, прокуренной комнате, ему хотелось бежать по улице, сходить с ума на народе. Он вынул бумажник, денег было немного. Тогда, уверившись, что Иван спит, он по-

дошел к его куртке, опустил руку во внутренний карман и вытянул двумя пальцами, бесшумно и осторожно, пятьдесят франков. Это было как облегчение, как глубокий вздох после усилия, как сон после жарких часов бессонницы. Саша вышел.

Он сам не знал, куда и зачем он пойдет. Он чувствовал себя легким, здоровым, уверенным в себе. Какие-то бесы размножились в нем с необъяснимой быстротой. «Надо бы послать цветов моей любовнице», – сказал он себе и удивился весело и нагло звучащему слову. Сперва это желание тщеславием своим было ему неприятно, ему показалось, что он куда-то летит и надо бы сделать усилие – остановиться. Но цветочный магазин попался ему на глаза тотчас же, словно везло ему в это утро особенно. Он зашел и стал выбирать цветы, сам не зная, на чем остановиться, – в первый раз в жизни был он в цветочном магазине. Барышня с дурным цветом лица и широким задом все попадалась ему под ноги, и ее кислые советы раздражали его. Все было дорого, у роз был истасканный, вялый вид, гвоздика выглядела бедно. Саша пожал плечами, смутясь, сделал такое лицо, будто сожалеет о том, что не туда попал, и вышел. В черном стекле двери он увидел, что дурно выглядит и небрит, и решил зайти в парикмахерскую.

Когда он вышел, напудренный, с приставшими к мочкам волосами, было половина двенадцатого, и он вспомнил, что идет к Андрею завтракать, об этом было условлено два дня тому назад. Впервые в жизни ему захотелось, чтобы свидание с Андреем было уже позади: Андрей, столько раз смотревший ему в душу, превратился в Сашином воображении в какого-то соглядатая, будто наперекор его желанию подсматривал Андрей за ним, будто Саша не шел первый к нему с каждым пустяком, с каждой мелочью. Мысль о том, что и сегодня Андрей по-своему, по-особенному взглянет на него и придется отражать эту назойливость, наполнила его неприятным чувством. Но в неожиданно предстоящем поединке было и утешитель-

Нина Берберова

ное: можно будет показать свое искусство притворяться когда надо, уметь быть не таким простым, как это было до сих пор, и самого дорогого человека не пожалеть, обдав его, когда надо, холодом.

Он позвонил. Татьяна Васильевна открыла ему и велела вытереть ноги. «Да сегодня сухо!» – сказал он. «Да, но вчера был дождь, – ответила она, – я ходила на рынок, я знаю, все мостовые в лужах». Она сказала Саше, что сегодня телячьи котлеты и компот, что Женечка Шиловская тоже придет и что Михаил Сергеевич еще не вернулся от больных.

– Что это ты так смотришь на меня? – сказал Андрей. – У тебя какие-нибудь неприятности?

– Наоборот. Никаких неприятностей.

– А вид такой, будто на душе неважно. Может быть, простужен?

– Нисколько не простужен. Лицо как лицо. – Андрей опять взглянул на него, Андрей теперь стал какой-то дошный.

– Женя придет, – сказал он, – она тебя видеть хочет, говорит, что ты нелюдимый, к ним не ходишь.

– Я заходил вчера вечером, – сказал Саша старательно, – ее дома не было.

– А! Что же не сказал? Она вчера у родных была, а я, знаешь, работал. Я бы тебя предупредил.

– Посидел часок с Леной.

– Слушай: говорят, она тебе нравится?

– Кто говорит?

– Не знаю, не помню. Ты смотри, осторожнее.

– Почему осторожнее? Она мне не нравится, Женя твоя лучше.

– Осторожнее оттого, что она женщина, знаешь ли, несколько другая, чем ты. Закрутит так, что покой потеряешь.

– Ну, разве она может?

– Может. Были случаи.

– Что ты говоришь?

– Я говорю, что были такие случаи.

Саша почувствовал, как стынут у него лоб и щеки, мороз дернул его от затылка по хребту. «Ах вот как, уж и репутация известная!» – подумал он злобно. Зуд любопытства чуть было не толкнул его задать Андрею вопросы касательно прошлого Лены. Он прошелся по комнате.

– Посмотри, – сказал Андрей, – вчера на набережной купил потрепанного Брантома, может быть, дифтеритный, гляди, какой драный! Сто франков дал.

Саша провел рукой по старому переплету.

– Жене подарю. Смешно?

Саша криво улыбнулся.

– Отчего же, дари... Она каждый день к тебе приходит?

– Нет, бывает, что и я к ней хожу, только редко. Знаешь, Миля, сестра ее, забавная очень, на зайца похожа.

Андрей встал, ему показалось, что в прихожей позвонили.

– Прости, – сказал он и выбежал. Саша остался один.

Он был подле этих книг, подле всей этой жизни, которую еще недавно делил с Андреем. Случилось что-то, что вдруг вырвало его отсюда, поставило насмешливым, недобрый судьей над нею. В нем произошло что-то, чему он не мог найти объяснения. «А она все там, – опять прошло в его мозгу, – там, там, одна, оделась, тоже будет завтракать. Свет в окне, комната днем, верно, кажется меньше, вода шумит, тепло». Воспоминание это раздражало его – в нем было тоскливое торжество. Он постарался приглушить его, чувствуя, что оно может в любую минуту обратиться в чудовищный, все заслоняющий собой вывод, после которого дальнейшее будет в постоянной от этого вывода зависимости. Он сжал руки, напряг всю волю, чтобы только не докатиться до пугающей, уже нашедшей смутные очертания мысли.

– Здравствуйте, – сказала Женя входя. – Я думала, мы с вами будем чаще встречаться. Почему вы прячетесь от меня?

Он взглянул на нее. Она не была похожа на Лену, у нее было очень живое, почти некрасивое лицо; он заметил еще при первой встрече, что разница лет между ними казалась большей. И все-таки было в ней что-то, что сейчас просквозило Леной, какое-то общее семейное сходство, в цвете кожи, в неуловимом движении губ и глаз, дополняющее и объясняющее Саше внешность самой Лены. От этого пойманного расплывчатого сходства ему стало радостно. «Не похожа, а кровь одна, — мелькнуло в его мыслях. — И у нас с Иваном сходства нет, а для посторонних тоже, может быть, мелькает». И сразу неприятно стало думать, что Иван кому-то может дополнить и объяснить его.

И вдруг вырвалось то, с чем он все это время боролся, то, что он так упорно удерживал, вырвалось, сверкнуло и осветило все: гордая радость, что Лена сама отдала ему себя, сама увезла его, сама выбрала его. Не надо было ни желать, ни бороться — желать и бороться оставалось ей, — на его долю выпадало соглашаться или не соглашаться.

Все упростилось до чрезвычайности, и легкость наступила после того, как он увидел последствия Лениной любви к нему. Он почувствовал такое блаженство утешенного самолюбия, что вся его любовь или то, что называл он любовью, вдруг померкло и осталось одно сладко сверлящее душу упоение собой.

«Что я? Кто я? Нищий, с матерью позорного поведения, с братом, работающим на чайных, с Катериной, глупой и провинциальной, с будущим, навязанным мне; слепо за кем-то куда-то идущий, с ничтожной жизнью и всегдашней завистью в сердце», — крепко в нем, пока он выходил в столовую и усаживался за стол, где над бутылкой кислого вина хлопотал Михаил Сергеевич, красноносый, седой, с сильным запахом травянистого перегара из-под мышек и изо рта. Здесь Саша считался когда-то сыном, в давние времена лица и экзаменов; протертые кресла, кисти портьер, вышитые салфеточки почему-то всегда казались ему немного российскими; Татьяна Васильевна,

сухопарая, желтая от печени, безбровая, сидела напротив него и называла его Сашенькой; и вот среди них, здесь же, за столом, появилась эта Женя, бессмысленно напоминающая ту, другую, второю нитью связывающая его с Леной, нитью безыскусственной, завязанной не по его воле. Здесь была она, которую он видел теперь совсем близко, оттого что никто ее не стеснялся и никто не занимал ее, она была здесь в еще новой, но уже прочной слитности с Андреем. «И когда это успела она приучить к себе и привыкнуть сама?» – подумал Саша. Лицо ее было свежо, воротник и рукавчики платья ослепительны, а под подбородком была заколота брошка, витая старая брошь Татьяны Васильевны.

Разговор шел о кольцах, на которых внутри должны быть выгравированы имена, о том, что за Аустерлицким мостом выловили на рассвете труп молодого мужчины.

– Да, да, – говорил Саша, – конечно, кольца и имена на них, а мне нужно в библиотеку к двум часам, ну хотя бы к половине третьего.

Он все время чувствовал запах, шедший от Михаила Сергеевича, и удивлялся, что Женя его не чувствует – если бы чувствовала, наверное, не сидела бы с ним рядом и, может быть, перестала бы приходить: ведь Михаил Сергеевич тоже по-своему дополняет Андрея. Он скользнул взглядом по лицам, но раздражение не убавилось, раздражение на все, что он видел вокруг себя. «Ну хорошо, а засаленную грудь прислуги не может она не видеть! Не может же не сравнить мысленно ту, в наколке, на каблучках, с этой бабехой». Он изнемогал от мелочей, которые внезапно полезли ему в голову и грозились испакостить и заполнить все, что он думает, что он чувствует.

«Расставили сети, поймали богатую невесту, – думал он, прислушиваясь к голосу Татьяны Васильевны, – а я вот... – ему стало стыдно, но он превозмог это чувство, – никого не ловил, меня ловили. Небось за Андреем так не бегали, писем ему не писали, не отдавались ему в третий вечер знакомства».

Нина Берберова

«Боже мой, о чем, о чем я думаю! Ведь это отвратительно. Хоть бы уйти скорее... А Андрей красавец, не то что я, и дом приличный».

– Так как же, Саша, – говорил Михаил Сергеевич, – нравится вам моя будущая невестка или нет? Между бровями – три сантиметра, от подбородка до углов рта по пяти с половиной. По-моему, хороша.

Женя смеялась.

– Посмотрим, какова будет ваша жена. Уверен, что вы еще лет десять не женитесь, а потом раздобудете себе пятнадцатилетнюю – вы такой, ей-Богу! Сперва побеждать ее года два будете, а потом она вас под башмак возьмет.

– Обидно вас слушать, Михаил Сергеевич.

– А вы не слушайте. Возьмите компот.

– Не хочу вашего компоту. Это раньше такое возможно было.

– Э! Не говорите. Все – по-прежнему. В этой области перемен не бывает.

– Вы просто не следите. Раньше два года – пустяки были, а сейчас от всякой женщины чего угодно в неделю добиться можно.

Михаил Сергеевич взглянул на Татьяну Васильевну и поднял брови.

– Вот так победчик, ай-ай-ай! Можно подумать, что кроме уличных женщин других не видел.

Саша поймал под ноготь холодную крошку, как блоху.

– Это раньше было, – сказал он бесстрастным голосом, – разбирали, кто уличная, а кто не уличная, а сейчас разница почти стерлась.

– Почти? – переспросил Андрей, краснея.

– Оставим это, – сказала Женя. – Он прав, не надо спорить.

Саша сдержался, чтобы не ответить ей.

– Вы все-таки, милый, слишком, – сказал Михаил Сергеевич, – женщины и теперь есть такие, которых уважать приятно. – И он опять выразительно посмотрел на Татьяну Васильевну. Саша спокойно поднял глаза.

– Среди ваших пациенток вы таких видали?

Михаил Сергеевич моргнул ему на Женю, но Саша сейчас же отвел глаза: он не хотел понимать никаких намеков.

После завтрака он решил, что надо посидеть хотя бы полчаса, несмотря на то что ему очень хотелось уйти и было тяжело встречаться глазами с Андреем. В этом доме, где им никогда не соблюдались светские приличия – сначала он был слишком мал для них, а потом ему в голову не приходило, что это кому-нибудь нужно, – он решил, что уйти сегодня сразу после завтрака невозможно. Эта пустая мысль была лишь бессознательным следствием той отчужденности, которую ему здесь сегодня пришлось испытать; ему казалось, что он это делает из-за Жени. Скука была написана на его лице, текла в его молчании; Женя продолжала смотреть на него с любопытством и вполголоса переговаривалась с Андреем, сидя у него на кровати; Андрею было неловко, он старался не обращаться к Саше, но все время чувствовал его стеснительное присутствие. Прощаясь с ним в прихожей, он спросил с укором: «В чем, собственно, дело? Что за перемена?» На что Саша ответил – слова сорвались у него с языка, он не успел поразмыслить над ними, – что перемена не в нем, а в самом Андрее, что это всем давно ясно; и он предательски показал глазами в направлении комнаты, где сидела Женя.

Он вышел на улицу, он чувствовал себя измолотым на части, которые невозможно было собрать. Он остановился на перекрестке; так стоял он сегодня утром на незнакомой площади, и текли автомобили, и он любил, любил Лену и был счастлив, а сейчас... Он по-прежнему желал ее, но язва мертвящей всякую радость гордости открыто сочилась в его сердце. Словно эта гордость выжгла не только Лену из его сердца, но и Андрея, и Катю, и Жамье, который вдруг вспомнился просто старомодным, ожившим и не очень чистоплотным стариком. Словно в душе у Саши не осталось места ни для одного имени, ни для одного лица.

Нет, была тень, было имя, о которых вспомнил он в эти минуты и за которыми мысленно потянулся, ища сочувствия и общности: это была хитрая и ветреная мать его, миссис Торн, которой довелось в жизни устроить свое благополучие, утешить алчное самолюбие и которая, с какими пошлыми слезами, с какими лживыми, сладкими словами, поняла бы его сейчас! Она бы взяла его голову тем движением, которому научилась лет двадцать пять тому назад у Сары Бернар, она бы назвала его «моей маленькой девочкой, моей доченькой», как называла его когда-то, когда его презирали и били мальчишки, когда в детском танцклассе, где-то в Чернышевском переулке, к ужасу отца, танцевал он «за даму» ша-кон и па-де-патинер. Она была бы готова без конца слушать его самолюбивый рассказ о том, как им соблазнилась Лена Шиловская, как полюбила его и, не задумываясь ни над собой, ни над своей судьбой, стала его любовницей.

В библиотеке, под зеленоватым светом, у круглой чернильницы, ждали его заказанные накануне книги.

Опять, как каждый день, профессор уголовного права сидел развалившись напротив Саши и ковырял карандашом в носу; опять сухощавый, рябой аббат поникал геморроидальным лицом над папкой газет одиннадцатого года; вдалеке, подле высокой конторки, где сидел заведующий, где шныряла барышня с негритянским носом, раздавался по временам сиплый, короткий кашель служителя, ходившего от стола к столу, иногда забредавшего в тот угол, где сидел Саша; временами служитель наклонялся к сидящим в креслах за низкими столами и шептал что-то вроде: «сейчас принесут», «ваша взята», «обождите полчасика», и опять шел дальше. По диагонали от Саши сидела высокая костистая женщина лет пятидесяти, иногда ее закрывали спины и головы сидящих между ним и ею людей, но чаще всего он, когда поднимал голову, встречался с нею глазами, несмотря на то что между ними было шагов пятьдесят расстояния. Она думала над раскрытым томом устава уголовного судопроизводства, ее светлые безжиз-

ненные глаза были устремлены в одну точку – в самые глаза Саше. Она носила тюлевую грудку с воротником на косточках и поверх платья – золотые часы на золотой цепочке. Саша то прятался, то опять появлялся, а она не спускала с него глаз, не замечая его.

Он вынул карандаш и записную книжку. Нужно было сделать усилие, переключиться на другой вольтаж, чтобы погрузиться в эту медлительно текущую ему навстречу реку. Он сложил руки и стал смотреть на свои руки, на длинные, узловатые, бледные пальцы, на ногти, довольно крепкие, бесцветные и широкие. Мысли его стремительно неслись мимо, пропадая бесследно, гнетущей силой ничтожных и темных пустыков был он схвачен, как водоворотом. Когда эта праздная и тревожная пустота покинула его, ему показалось, что он спал, – он ничего не мог вспомнить; он вздрогнул всем телом и разнял руки.

Книга была раскрыта. Много лет искал он знания, искал его для себя, для жизни, к которой готовился. Но вкус к этим книгам, над которыми было продумано столько часов, вдруг исчез, в душе оказалась скука. Честолюбивые мысли, кружившие голову при слове «диссертация», наполнявшие душу полнокровной жадностью, потеряли свою силу, свою центростремительность, ощущение поздней пресности наполнило душу, и бессмысленность последних лет, тщета всех стараний ужаснули его. Деньги Ивана, Катина забота, им самим потраченное время, Жамье, докторат, связи – все вдруг показалось напрасным, скучным, смешным. Ничего этого не надо было, все было зря, только одно было нужно, единственное, что заменит теперь все остальное, – любовь Лены, женитьба на ней, – тогда будут и счастье, и деньги, и карьера. Стоит ли делать усилие, читать, писать, выходить и защищать продуманное, когда для него готова великолепная, безответственная жизнь? Стоит ли стараться, напрягать внимание, выслушивать советы Жамье, глядя, как шевелится у него во рту искусственная челюсть, когда и без того все ждет, все готово? Он едва не пробормотал вслух: «Нет,

нет, не стоит!» Но мысль о пятилетней работе, о жаре, какой был у него все эти годы, удержала его.

Как он любил все это: людей, книги, горизонты будущей жизни. Неужели все это им потеряно, оттого что кто-то подманил его к себе и стал хозяином его жизни? Скукой наполненный ядовитый вопрос о необходимости того, что он делал до сих пор, отравил его, он заставил себя опустить глаза в книгу и заметил, что видит не текст, а одни поля, которые растут и ширятся и заполняют собою пространство вокруг него.

От жалости к себе, к растроченному времени и потрепанному душевному равновесию он готов был зарыдать, положив голову на стол, под лампу, а вместо этого он все смотрел в далекие глаза незнакомой женщины, на ее увядшее плоское лицо, которое он видел изо дня в день столько долгих счастливых лет.

На улице все было по-прежнему; было все то, что он давно и верно любил: облетающие деревья, темное небо, свежий, быстрый ход ветра в грудь, люди, автомобили, огни. Лена, вероятно, теперь была уже дома. Зачем не послал он ей цветов? Октябрьские розы, может быть, ужалили бы и развеселили ее. Цветами он заставил бы ее еще сильнее думать о нем.

Сердце его билось при этой мысли, ему не хватало одного: чтобы о том, что Лена любит его, знали кругом все, знал город, знал мир, чтобы ему удивлялись, ему завидовали; мысль о том, что рано или поздно это будет известно всем, кто знает его, бередила его душу и причиняла блаженство больше самой любви.

«Больше любви», – успел он подумать с слабым испугом, входя в комнату, где сидела Катя, высоко задрав ногу, и зашивала чулок под коленом, и были видны ее розовые бумажные панталоны и истертые подвязки. Шляпа ее лежала тут же, и сальные прямые волосы облепили голову и закрывали лоб.

– Вот так Саша, – сказала Катя, нагибаясь к колену и откусывая нитку, – до утра со старшей Шиловской

кутил! Иван, он когда вернулся? В девять? Позже? А ушли они вечером, я видела.

– Ты сегодня была у них? – спросил Саша.

– Была.

– Когда она вернулась?

– Часа в три. Ее почти не слышно было.

Она с восхищением и любопытством смотрела на Сашу.

– Куда это вы ездили? – спросила она наконец.

Он перевел глаза с нее на Ивана, делая вид, что не слышит. Он чувствовал, что они оба знают многое, догадываются о самом главном.

– Это что ж, новенькое? – спросил Иван.

Саше нравилась назойливость вопросов, он летел с горы, он катился по накатанной дороге.

– Что вы пристали! Ничего не было.

– Врешь, врешь!

Пошлость разговора скрылась от Саши отчетливым сознанием, что в чьем-то воображении он уже поставлен рядом с Леной и навсегда. То, что не мог он себе позволить с Андреем, он вдруг с легкостью позволил себе здесь: он двумя-тремя словами дал понять, что в жизни его происходят события чрезвычайные, но не по его вине, и даже не по его желанию – вы поняли, что это значит? Ему хотелось, чтобы эта словесная игра продолжалась долго, чтобы долго кололи его блестящие глаза Ивана и восторженные глаза Кати. Он был им благодарен за возможность, которую они ему доставили, – намекать, выпутываться и скользить.

– Я, знаешь, Иван, ему говорю: закрой дверь, не подавай виду, – захлебывалась Катя, – небось лучше-то пусть не знают, что мы с ним вроде родственников.

– Ну, этого долго не скроешь.

Саша побледнел. Уж не хотел ли Иван этим сказать, что...

– А все-таки не надо этого, не надо, ей-Богу ни к чему!

«Уж не хотел ли Иван сказать, что надо объявить Лене и про него, и про Катю? И про одну постель, и про убо-

Нина Берберова

гую, трудную жизнь?.. А ведь их девать-то куда-нибудь надо будет?» – подумал Саша.

– Пожалуй, Катя права, – сказал он.

– Стыдишься нас?

– Нет, что ты, как ты мог подумать такое? Если бы не ты...

– Молчи уж. Вижу, мы тебе мешаем или, может быть, помешаем когда-нибудь. – Он улыбнулся добродушно и опять не верил тому, что говорил. – Ну, да ты знаешь нас с Катериной, мы тебе помехой не были и не будем. А самое существование наше скрыть нельзя.

– О чем ты говоришь! Дурак ты! – рассердился Саша. – Ты же знаешь, для чего работаешь, для чего меня в люди выводил. Что же изменилось? Я только о том говорю, что Катя права, что лезть со всей нашей жизнью вперед не стоит.

– Конечно, – воскликнула Катя, надевая шляпу, – ты, Иван, грубо смотришь, надо тонко смотреть. Потом пусть выяснится, не может не выясниться, а сейчас чего в самом деле откровенничать? Пока, может быть, у них еще и не прочно.

Саша стоял и внутренне содрогался: да, их не скроешь, сейчас ли, потом ли, и всю эту жизнь, и мать, сбегавшую ради денег, и многое другое. А если бы их не было, как было бы все просто, гладко и красиво! Он сам всего добился, никому ничего не должен. Но ничего этого нет, Андрей выдаст его, если еще не выдал, он во всем зависел от брата, брат положил на него свою молодость.

– Я не пойду обедать, – сказал Саша. – Идите без меня.

Они ушли молча, он следил за их движениями. «Что с ними делать? – спросил он себя. – Бросить их, выплачивать деньги, которые я им должен, только бы не вмешивались в мою жизнь. Но какие деньги? До того пройдет полгода, может быть, больше, а пока они тут, дома, и даже там, всюду. И Андрей выболтает все, а может быть, и нарочно скажет».

Теперь он чувствовал в себе не столько любовь к Лене – Лену он забывал иногда надолго, чтобы вяло вернуться к ней на короткий срок и вздрогнуть от какого-нибудь краткого, жгучего воспоминания, – он чувствовал в себе не любовь, а необъяснимую, первичную ненависть ко всем и ко всему, что была не она. Иногда эта ненависть переходила границы и захлестывала самое ее, без всякой причины, быть может, за то только, что она недостаточно нежно удерживала его утром, когда он уходил, или за то, что до сих пор не пыталась дать ему знать о том, что по-прежнему его любит.

Дверь отворилась. Катя вернулась, принеся с собой ужин: хлеб, колбасу и горячую кислую капусту, – если проголодаешься – съешь, нельзя же не обедать. А еще она хотела спросить, не брал ли он сегодня у Ивана денег. У него в бумажнике не хватает пятидесяти франков.

– Нет, не брал, – сказал Саша твердо, – то есть брал, конечно, что за глупый вопрос! Они у меня целы.

Он даже сделал движение, чтобы их поискать, но она сказала, что не надо, что Иван просто спрашивает, а вовсе не требует их обратно.

Она ушла. Это было облегчением, ему нужно было остаться одному, а главное, не видеть их обоих, не слышать их словечек. Как мог он до сих пор выносить их подле себя? Не только выносить – любить, быть нежным и откровенным, когда он их презирал и ненавидел, когда они были его откровенным и пошлым позором. Он взял в руки просаленный сверток, горячий и влажный, оставил хлеб и колбасу на столе, развернул капусту и вдохнул кислый, жирный дух. В бешенстве он выбежал из комнаты, открыл дверь в уборную и вытряс все, что было в бумаге, в раковину. Два раза дернул он за цепочку; с грохотом пролилась вода; он вернулся к себе, увидел в зеркале, что бледен, что губы в трещинах и под глазами провалы, сел на стул и облокотился о край кровати.

Желтая лампочка горела в потолке. Саша долго сидел не двигаясь, не думая, не чувствуя, в сонной, убийствен-

ной тупости. Прошел час. Он поднял голову, провел рукой по лбу, по густым волосам, и опять зашевелились мысли.

С неприкрытым чванством, как мог он так разговаривать с Иваном о Лене! Чтобы потешить себя, он сладострастно захлебывался в намеках, а ведь это было непростительное свинство, бахвальство и предательство зараз. Он хрустнул пальцами. Если бы он завтра узнал, что она умерла? На первом месте, на мучительном месте, была бы, пожалуй, – ну да, конечно, чего притворяться? – досада, досада, что сорвалось, что все происшедшее останется только в его собственной памяти. Но какие глупости! Она не умрет, она будет жить, она нужна ему.

Что говорила она о трудностях? Она смеялась над ним: какие могут быть трудности, когда она сама дала ему себя? А прошлое ее – что за важность, если тот действительно умер? Он вспомнил портрет, и к удивлению ревность больше не задела его. Поднялась враждебность к художнику и к самой Лене, злоба, что об этой связи догадываются Андрей и, может быть, другие. Если бы ему сказали, что была долгая связь, любовь, трагическое расставание, но что ни одна душа в мире об этом не знает, – он бы почувствовал облегчение. Но мысль, что об этом несложном, коротком, печальном приключении знают все, унижала и терзала его.

И вдруг он вздрогнул. Это было к исходу второго часа, когда он сидел так, со следами парикмахерского искусства на щеках, – он вздрогнул. Какой-то луч пронзил его на мгновение, и он хотел проверить, пересчитать свои сокровища и спросить себя: где же любовь? Все кругом него распалось на какие-то одинокие мысли. Где же любовь? Несколько минут сидел он, опустошенный этим вопросом, и внезапно всплыло в памяти все то же выражение блестящих японских глаз, потемневший, увеличившийся рот... Он схватился за это воспоминание, почувствовал, как кровь хлынула от сердца к коленям, как задрожали руки, как зашумело в ушах. «Вот лю-

бовь! – подумал он с облегчением и тоской, хватаясь за сладострастие, – вот любовь: тайная квартира, объятие, тьма».

Опять прошло довольно много времени, он все сидел. Наконец, ему показалось, что пора лечь, что он хочет спать.

Он стал раздеваться. В безмолвии комнаты, в безмолвии улицы было что-то пугающее, словно вымерли в эту ночь все ночные гуляки, воры, уличные девицы, запоздалые прохожие, ночные автомобили – со своими утешными шумами и голосами. Словно мир отодвинулся куда-то за горизонт, и если человек крикнет – крик его канет, и если он выглянет в окно, то очутится с глазу на глаз со звездами, и больше ни с кем.

Саша лег в постель. «Почему же нет счастья? – спросил он себя и подумал, что озабочен собственным благополучием. – Я должен был быть сегодня веселым, пьяным, глупым и добрым, а вместо этого что же было? Что было со мной у Андрея? Я сейчас повторил бы свое давешнее поведение; а Иван? Я почти вытолкал Катю, когда она вернулась с едой. И сейчас я бы не только вытолкал ее, я бы не впустил ее, я бы убил ее...»

Он задыхался; мысль об огромной, бедственной неудаче, постигающей его в эти самые минуты, когда, казалось, должно было прийти незабываемое счастье, заставляла его метаться по постели. Он слабо боролся за то, что еще считал должным и прекрасным, но борьба была неравная, с внезапной силой находили на него уже привычные ему мысли, научившие не верить в это должное и смеяться над этим прекрасным; он боролся ровно столько, сколько было нужно, чтобы доказать самому себе прежнюю слабость и теперешнюю силу, и упивался несложной победой над прежним собой.

Он долго не мог заснуть. Бессонница была ему незнакома. Он несколько раз зажигал свет, отчего тишина делалась еще глубже и страшнее. «Почему я не сплю?» – спрашивал он себя, брал со столика Катину клеенчатую

Нина Берберова

тетрадь со стихами, которую когда-то, очень давно, раскрывал с благоговением, и скользил глазами по строчкам:

Все, что не ты, так суетно и ложно,

или

...Пепел милый...

Останься век со мной на горестной груди! –

и это больше не останавливало внимания. Сжималось сердце, как только он тушил свет, сжималось горло от короткой удушающей спазмы, и он думал о том, что если бы он действительно был «девочкой, доченькой», как говорила когда-то мама, он бы, вероятно, заплакал и стало бы ему легче. А так не заплачет, оттого что холодно и злобно в омертвелой душе, и скука, бессонная скука в ядоносных мыслях.

Рассказы не о любви

ТЕ ЖЕ, БЕЗ КОНСТАНТИНА ИВАНОВИЧА

Что было бы, – иногда думала Наталья Петровна, – если бы кто-нибудь захотел изобразить в театральной пьесе всю их жизнь? Тема, конечно, не для пьесы, скорее для романа, а все-таки... Пригляделся бы человек к ней и остальным и написал бы комедию в трех действиях. Поставили бы эту комедию, и она вместе со всеми, как всегда вместе, отправилась бы в театр. Пришли. Сели. Программа. Боже мой, сколько действующих лиц! Не стоит читать, все равно не запомнишь.

Прежде всего – она сама, Наталья Петровна, ничем не замечательная женщина; потом мать ее, потом ее дети – Володя и Люба, потом – дядя и тетя мужа ее, Константина Ивановича, он больше за сценой; за ними следует сын Константина Ивановича от первого брака, Мишка. Ему 16 лет. Но довольно, довольно! Вот уже постучали за сценой и поднимается занавес.

– А сам Константин Иванович где же? – шепчет кто-то в темноте, протирая бинокль. – Сам-то? Отчего его нет?

Впрочем, в театральной афише он непременно значился бы, потому что по ходу действия он в конце концов должен будет появиться. Но вот в жизни Натальи Петровны и остальных его не было уже давно. Константин Иванович ушел, громко, не допуская возражений заявив, что жить с семейством для него – удушье.

«И он, конечно, был прав, – рассуждала Наталья Петровна, – есть что-то смешное в том, что мы все всемером ходим в гости, в лавки, в кино. И если заболевает бабуш-

Нина Берберова

ка, никому в голову не придет уйти к себе, почитать или заняться чем-нибудь – все тут и сидят, и всё делают сообща, и так этим счастливы, что другой жизни и не хотят. Летом едут сперва на дачу – для бабушки и дяди, потом в горы, потому что тетя любит смотреть на горы, потом к морю – для детей. И в пансионах они занимают три смежные комнаты, все время ходят друг к другу, совещаются о каждой пуговице, улавливаются о том, кто где кого будет ждать, учиняют во всех углах одинаковый беспорядок, так что прислуга уже на следующий день перестает понимать, кто кому как приходится и кто где спит.

А у Константина Ивановича была духовная жизнь, и все это ему мешало.

Он ушел в плохое время – лет шесть тому назад. В горы тогда не ездили. Любе было всего два года, Володе – пять. Все остальные, конечно, работали. Даже Мишка, едва грамотный, разносил пирожки в бакалейной торговле Козлобабина. Бабушка вязала, тетя клеила, дядя красил... Наталья Петровна сейчас уже не помнит, что именно она делала тогда, слишком много она всего переделала и перепробовала за эти годы. Константин Иванович однажды сказал:

– Удушье. Другому был бы рай, но, Наташа, ты понимаешь меня. Разве я могу так жить? Я – сама мысль. Мысль иногда касается бога. Не церковного Бога, не вашего Бога. Моего собственного бога.

Она посмотрела на него внимательно, с большой любовью.

– Да, – сказала она, – тебе должно быть тяжело все это. Ты человек замечательный, Костя. Денег тоже маловато. Писать свою книгу ты мог бы в столовой, по утрам. Там тихо.

Он горько усмехнулся.

– Ты думаешь: писать – это писать? Нет, это еще и жить, и думать, и говорить.

– Думать ты тоже можешь в столовой, туда никто не будет входить. А говорить.... Разве я что-нибудь имею против твоих знакомых?

«Знакомых» у Константина Ивановича было три особы женского пола: две пожилые и одна молодая. Молодая была дурнушка и сильно припадала на левую ногу. Со всеми тремя Наталье Петровне было скучно, да и не только ей, но и всем остальным.

– Писать? – опять усмехнулся Константин Иванович, – разве я писатель? Разве я только писатель?

Наталья Петровна забеспокоилась: кто же он? Она и не знает! Философ? Проповедник? Но побоялась спросить.

И он уехал, не оставив адреса. «Куда? – кипел дядя. – На детей-то давать будешь? Не оценил Наташу, прохвост! Неужели из-за мирноносицы хромой?»

Бабушка молча смотрела, как он выносил свои книги, тетя тихо плакала. Вечером, в отсутствие Натальи Петровны, всплакнули все трое.

На детей он не давал и по ним не скучал. Следы его вскоре потерялись в Англии. Потом дошли слухи, что он живет в одном маленьком провинциальном городе, где-то в Шотландии, что он получил какую-то субсидию или стипендию и его окружают почитатели.

«Ну вот, значит, он поступил вполне правильно, – рассуждала про себя Наташа. – Если бы он остался, ему, пожалуй, пришлось бы тоже что-нибудь клеить...»

Прошло четыре года, и внезапно упали на них эти деньги. Собственно, упали они на бабушку, бабушка была из Литвы. Таким образом, дяди, тети и Мишки они, например, вовсе не касались. Но как все они зажили, как зажили! Весело, сытно, дружно. Наташа даже написала кому-то в Англию: разыщите Константина Ивановича, хочу послать ему немножко денег. И его нашли, и ему послали.

Он ответил примерно так:

«Денег твоих себе взять не могу. Жертвую их на наше дело. Давно перестал думать о себе, нашел Истину там, где искал».

После этого его выбрали где-то там председателем и повезли в Америку, как если бы он был баритоном.

«Он был прав, он был тысячу раз прав, – повторяла Наташа (а дети учились, бабушка старела, дядя и тетя тоже подались немного за это время). – Во-первых, Константин Иванович не выдержал бы нашей бедной жизни, ведь он – сама мысль, а мысль это нечто вроде бабочки: тронешь грубой рукой, и все испортил. Жизнь четыре года была очень трудная, невероятным кажется сейчас, как это они всемером друг друга из нее вытянули. Во-вторых, если бы даже он выдержал эти испытания, кто бы сейчас его знал, кто бы слушал и приглашал в Америку? И разве мог бы он так проявить себя, водить за собой уже не трех, а сотню или даже две сотни послушных женщин, найти истину, говорить, писать? Разве можно себе представить, чтобы он ходил с ними – с детьми и бабушкой – из года в год к заутрене, стоял бы, как все, смиренно и молча в углу; или на ярмарку толпой, как пошли вчера и Люба, и Володя, и Гришка, и все вообще действующие лица этой пьесы? Нет, у него была своя собственная петлистая дорога славы». Наташа положила руку Мишке на плечо и сказала:

– Ты – старший, и я прошу тебя сидеть смиренно и слушать внимательно. Мы сегодня пойдем слушать папу. Помни, что папа будет говорить не пустяки какие-нибудь, о которых мы с утра до вечера болтаем, а это будет его лекция, его проповедь. Он в первый раз будет говорить в Париже.

– Сегодня – играем, завтра – уезжаем, – отреагировал Мишка, а Люба и Володя прыснули.

– Ну как можно так! Это так про цирк говорят. Ты пойми, он для многих просто почти что пророк, ну, не пророк, конечно... Я не знаю... Ты уважай.

Она говорила – а дети слушали. А вечером отправились смотреть Константина Ивановича всемером, непременно всемером, как ходили всегда. Интересно было узнать, на что Константин Иванович их променял.

«Да, мы его не ценили», – думала Наташа, рассаживая детей, усаживаясь сама в холодном скучном зале, где си-

дели несколько десятков одиноких людей. На крашеном столе, там, впереди, стоял графин. Воды в нем не было. У входа Наташа купила листик, напечатанный по-английски. Это была одна на речей Константина Ивановича, произнесенная недавно в Канаде. Наташа по-английски не знала.

«Да, не ценили. Живем суетно, дурно, ни о чем таком не думаем. А он все оставил, жизнь свою посвятил высокому и прекрасному. Освободился от низменных наших дел».

Из маленькой двери в переднем углу зала вышло существо женского пола, из тех, кого когда-то называли салопницами. Дядя толкнул Наташу локтем и задергал бровями. Женщина, согнувшись в поясице и поджав губы, подошла к столу, положила на него тетрадку и подвинула стул. Дядя сильнее задергал бровями и, наклонившись, зашептал:

– Горбатенькая и то лучше была, и то лучше была!

Наташа покраснела.

Кто-то кашлянул. Опять скрипнула дверь, и в залу вошел Константин Иванович.

Положительно Наташа не думала, что за несколько лет человек может так измениться. Ее поразил цвет его лица: оно было совершенно розовое, круглое, бритое, оно все налилось, стало гладким и как бы всем довольным. Видно было, что человек с таким лицом уже никогда ни в чем не сомневается. Вбегая небольшими шажками, Константин Иванович кланялся направо и налево. Раздались два-три хлопка.

Присев на кончик стула, он ударил толстенькой ладошкой по тетрадке, поморгал светлыми, лишенными какой-либо тени глазами и внимательно посмотрел на графин, в котором не было ничего.

– Милостивые государыни и милостивые государи, – сказал он, с живостью заглянув в тетрадку, – я очень счастлив...

Редкие мужчины, подняв воротники и сунув руки в карманы, слушали, усталые от забот и трудов, женщины,

которых было гораздо больше, смотрели на Константина Ивановича доверчиво и печально. Наташа неподвижно сидела и слушала: «Усики сбрил, волосиков стало меньше, обручального кольца нет, – зорко отмечала она. – Что он говорит? Он сказал: я счастлив. Я так и думала: он счастлив. Ах, боже мой, я совершенно не слежу».

Он говорил, как говорят люди, вовсе не интересующиеся, слушают их или нет, и кто слушает, и сколько перед ними народу. Будто журча вертелось какое-то колесо. Иногда он плавно поднимал левую руку, и потом плавно ее опускал, и не раз пристально взглядывал на графин, конечно, его не видя, но можно было думать, что он оттуда-то и берет самую существенную суть своей речи, самую ее основную правду.

Он говорил ровно час и десять минут. Многие из произнесенных им слов были записаны в тетрадке с большой буквы. Он делал плавные круги, как ястреб, вокруг какого-то священного текста, защищаясь Экклезиастом. Когда он умолк и встал, слушатели заплодировали. Он стал кланяться долго, усердно, кое-кто в зале уже поднялся, уже Люба спросила бабушку, не пойдут ли теперь домой. Он все кланялся. Потом пошел, пятась, к двери. И опять к столику подошла, как тень, согнутая женщина и унесла его тетрадку, прихватив почему-то и графин.

Всемером, теряя и ловя друг друга, они пошли к выходу. Володе и Мишке необходимо было как можно скорее глотнуть чистого воздуха – обоим было почему-то не совсем ловко (с непривычки, что ли?), и они ушли вперед, изредка оборачиваясь на Любу, которая висла на бабушкином рукаве. Ей откровенно хотелось спать, и она не слушала, о чем ведут разговор две старухи поверх ее красного капора.

Наталья Петровна с дядей шли позади всех. Она чувствовала, что дядя сейчас перестанет сдерживаться и начнет судить своим простым человеческим судом Константина Ивановича, будет называть его карикатурой и шарлатаном. Ей очень хотелось избежать этого. На всякий

Те же, без Константина Ивановича

случай она мысленно готовилась к защите: если не будет таких людей, как Костичка, вселенная покроется плесенью, останется одна кастрюля для варки борща да лохань с мыльной пеной.

А разве есть какая-нибудь мысль или красота в борще или мыльной пене? Об этом, дядя, вы же спорить не будете! Ведь вы человек интеллигентный.... Костичка, по моему, даже каким-то светом светиться стал... Ну не буду, не буду...

1931

ПОЭМА В ПРОЗЕ

М. В. Лобужинскому

Под окном работали на ветру.

Смуглый рабочий в пестрой рубашке и вельветовых брюках выносил из придорожной кучи на широкой лопате щебень; жилы на его руках наливались, до черных локтей были подвернуты рваные рукава. Он подходил к неглубокой, неровной выбоине прохудившейся дороги, с бисерным звуком ссыпал в нее щебень, сравнивал, загонял разбежавшиеся голыши с дороги в яму и хлестал из ведра мутной водой на эти сухие хрусткие камешки. Потом он издавал беззаботный крик, и машина начинала работать.

В ней стучал молот, пар выходил из черной, фантастической формы трубы; рабочий постарше, тоже смуглый, но грязнее первого, озабоченно выгибался из переднего окошка, огромное колесо медленно поворачивалось, двигалась передаточная колесная цепь – не то танк, не то трактор сходил с места. Он шел широким своим боком прямо на выбоину, засыпанную щебнем до краев и даже немного выше, шел, твердо скрипя, уплотняя на своем пути все, что попадалось: голыш, ветку, навозного жука, деля из всего сухое темное пятно. С усилием мертвой тяжести, подвинутой на ужасное дело, смердя теплом, машина доходила наконец до указанного места, въезжала на щебень, облитый водой (малый с ведром стоял поодаль), широченным, ржавым, многопудовым колесом раздробляя, давя острые камни. Она проезжала дальше, возвраща-

лась задним ходом, опять скрипела яма, опять глотала она тяжелую струю, пущенную из ведра, и опять колесо покрывало ее, взад и вперед катаясь, убивая дорогу, и все более плоской и плотной становилась поверхность цементирующего самого себя щебня. Потом прекращался стук молота, наступала тишина, летел ветер и бился в деревьях и улицах, и первый рабочий, заломив фуражку, шел с лопатой к следующей выбоине, а второй, с проседью, с отрубленным пальцем, закуривал цыгарку.

Ветер рвался и бился в редких деревьях и сушил соседское розово-голубое белье. Он налетал широкой стеной, срывая сухие, словно перетлевшие на каминных угольках листья; много их было сметено в пышную мертвую кучу у забора, некоторые налипли на белье, другие еще летали по воздуху вместе с пылью. И только на том клене, что стоял у самого нашего дома, один-единственный лист, хитро свернувшись, собирался уцелеть. Источенный дождями, съеденный воздухом, он дрожал и жил, дрожа.

Ветер старался всех замести в кучу, но и в этой куче он не оставлял их в покое, он ворошил их, тасовал их между собой и опять метал, как оголтелый банкомет, метал забору, дому и воротам, словно эти три игрока, смертельно проскучав столько месяцев, наконец нашли себе разлюбленное дело. По широким мелким лужам ветер чертил запись этой игры, мутя воду, но до вечера так ничего путевого и не написал на ней: она вздрагивала, черная, со слюдяным отливом краев, черная под белым небом, ничего не желавшая отражать.

Тот единственный продолжал еще жить и дрожал, трепеща от всего: от моего взгляда и мысли о нем, от криков рабочего на дороге, от скрипа широкого колеса, крошившего камни, превращавшего их в вязкую кашу, застывавшую за ночь в цемент.

— Еще раз, — кричал младший, заметив один какой-нибудь нераздавленный, не слившийся с остальными голыш, еще сохранивший свою острую, сухую форму и торчавший на погибель проезжей автомобильной шине, на

неожиданный подскок таратайки старьевщика. И тогда для него одного устремлялся к выбоине танк-трактор, ради него одного разводила машина пары, стучал молот, наваливалось тяжелое колесо. И вот уже все оказывалось в порядке.

Пропыленный осенней пылью лист все дрожал.

Я заметил его утром, когда встал, вставал же я довольно поздно. Хозяйка приносила мне кофе и две рогульки, испеченные дома, всегда мягкие и чуть сыроватые внутри. Я спускал на ковер одну ногу и задумывался; печка хлопотливо, суматошно вытягивала в щель заслонки холодный комнатный воздух, возвращая вместо него нежную, зыбкую теплоту разомлевшего зеленого кафеля. Со спущенной ногой я оставался лежать, пока мне не приходило на ум подобрать ее обратно под одеяло. А тут являлась какая-нибудь неотложная мысль, в которую я погружался по шею; а тут искрой проплывало в крови какое-то воспоминание, которое заманивало на бесцельное, мутное скольжение по прошедшему. Подо мной раздавались детские голоса, это возвращались из школы хозяйские девочки. Я откидывал одеяло, упирался локтем в подушку и наконец вылезал на свет божий. Огонь трещал и ярился, я приоткрывал печь, и тогда все стихало, разом разливался багровый жар, цепенел густеющий малиновый огонь. Я шел к окну, накинув халат, смотрел на погоду и забывал о ней, на полчаса застыв в неподвижности, пока не ломило ноги от стояния и не начинало подозрительно потрескивать жарко нагретое посреди комнаты кресло. Я отходил от окна, постель оказывалась уже убранной и ветчина с горошком принесенной. Раскрыв газетный лист, я застывал на долгое время. Первая капля сумерек, растворяющаяся в комнате без остатка, напоминала мне о жизни. Вторая капля, оседающая обычно где-то в обоях, заставляла подняться, пойти за ширмы, к умывальнику. И как только я начинал возню с водой, мылом, щетками, пропитываясь запахом мяты и гвоздики, так за моей спиной уже кто-то торопился поворошить дрова, собрать тарелки, вынести

мои окурки. Через час я выходил на прогулку. Если шел дождь – я скучал.

Когда я скучаю, я чувствую, что побежден временем. Секунды на часах шуршат, как большие стрекозы. У них перепончатые крылья, чуть вогнутые и мутные, с толстыми, как на кленовых листьях, жилами, маленькие головы и мохнатые лапки. Они шуршат вокруг меня, и я забываю, что звук исходит из хозяйских часов, стоящих на камине, вделанных в кусок красного гранита. Каждые полчаса часы негромко, болезненно бьют, разгоняя на короткое время немолчное шуршание, а затем оно появляется вновь. И я знаю, что оно не может кончиться, что пока я буду жив, будет и время – стрелка спустится по циферблату, и стрелка поднимется, и повторит этот путь без конца и счета, календарные листы облетят, дни сольются в памяти прочной бесцветной массой, и ни один из них не смогу я выделить, оживить, заставить повториться снова, вынуть из этого цемента прошлого.

Когда я иду гулять в длинном теплом пальто и толстых башмаках, которые так прочны, что вот уже больше десяти лет я никак не могу сносить их (это оттого, что я мало выхожу, а вещи все – дорогие и хорошие), – когда я иду гулять по мертвой улице парижского пригорода, вспоминая Мопассана, писателя, которого я люблю за то, что он мне по зубам, вспоминая прирезанных старух, золотушных чиновников и другие милые его эффекты, у меня одна цель: обозреть окрестность. Не потому, что меня интересует, как истого провинциала, не расцвел ли фикус на окне известного в квартале голубого дома (где живет старая актерка с большим зобом, про которую дочери моей хозяйки говорят, что она в нем носит недоеденную пищу, а ночью потихоньку от всех съедает ее), или мне непременно хочется раскланяться с аптекарем, который косит на прохожих диким, запуганным глазом из-за деревянной перегородки окна, все время делая что-то невидное грязноватыми волосатыми руками. Просто я давно уже придумал себе дело: наблю-

дать за тем, что поставлено, положено или брошено вокруг меня. Это наводит меня на занятные мысли, которые вместе с ленью и составляют мою основную сущность.

Я возвращался домой в густом сине-алом сумраке. Рабочие уже давно не работали у моего дома; танк-трактор стоял холодный и влажный от вечерней осенней росы, а в выбоинах дороги, утолченных за день, происходило томление камней, невидная, неслышная спайка их в один вечный камень. В свете, падавшем из окна хозяйской столовой, я старался разглядеть прижатый к ветке, окончательно выбившийся из сил последний лист. И у меня в комнате все было на месте, и в воздухе, как всегда, шуршало время, и стрелка неизбежно вздымалась, прорастая, и падала, как теперь, возводя звезды на небо, поднимая на орбите своем луну и кружа солнце.

Две девочки, две хозяйские дочки, выходили тогда ко мне и приносили хлеб, соль, перец, целый набор инструментов для поедания обеда, набор склянок с острыми приправами, мое лекарство – словом, все, что было нужно, уставляли стол беспричинно сиявшими предметами. Обе становились напротив меня, клали руки на стол, показывая мне двадцать одинаковых детских пальцев, и тихонько стрекотали мне про погоду, про актерку, про школу, про собаку. Потом появлялась мать и прогоняла их, и я погружался в пары, шедшие из кастрюль и мисок.

Кроун приходил часов в восемь, и иногда мне казалось, что приходит он не ко мне, а к моей печке, которая, впрочем, к этому времени начинала уже сильно остывать. Он едва здоровался со мной, и сейчас же становился к глянцевитому ее боку, заложив руки за спину, и стоял так, пока мы не сядились за ежевечернюю игру.

– Да что, у вас дома разве не топят?

– Кажется, нет, – отвечал он.

А однажды, когда он придвинул к печке стул и уселся, приложив ухо и ладони к кафелю и полузакрыв глаза, я сказал ему:

– Устали? Вы же целый день сидите на службе, вам полезнее было бы постоять, – он повел глазами, поискав ими по комнате, остановил их на моем лекарстве и ответил:

– Полезного у меня вообще маловато. Довольствуюсь вредным.

Я засмеялся и заставил его смеяться вместе со мной.

Часто он являлся, когда кастрюли и миски были еще на столе.

– Что вы сегодня ели? – непременно спрашивал он тогда, наклоняясь над приподнятой крышкой.

– Телятину с грибами. Хотите?

– Нет, я обедал.

– Ну тогда съешьте сладкого. Это можно.

– Спасибо. Не люблю сладкого. – Но он осматривал и сладкое.

Он осматривал хлеб и спрашивал, где именно его покупают, и удивленно рассматривал горчицу, утверждая, что она возбуждает аппетит. Когда при нем убирали со стола, он становился очень внимателен, а потом в рассеянности опять обнимался с печкой.

– Хорошо, что печки женского рода, а то было бы центральное отопление, пришлось бы вам обниматься с радиатором, – говорил я и хохотал, и Кроун, который не сразу понимает мои остроты, в конце концов тоже начинал хохотать. Вызвать его на смех было вообще нелегко, но я уверен, что один из законов гостеприимства – смешить гостей, и я делаю это с удовольствием; Кроун хохотал некрасиво, громко и отрывисто и затихал внезапно, словно ему зажали рот рукой. Он затихал так решительно, что я забывал о нем; папираса гасла у меня в пальцах, снизу слышалась человеческая речь, тишина от этого делалась еще более успокоительной, пока бой часов не разгонял нашего молчания и мы опять не вступали в русло вечера. Я снимал с полки ящик и доску, сделанные кустарно, но прочно, и мы усаживались за стол друг против друга.

Игру эту выдумал Кроун. По сложному чертежу шли фигуры, пять моих, пять его и пять общих. После длительной борьбы, цель которой была сделать все фигуры своими, игра обычно кончалась вничью, все фигуры становились общими. Игра кончалась вничью потому, что я изучил все ее возможности не хуже самого Кроуна, который выдумал ее лет восемь тому назад, взял на нее патент, но до сих пор не сумел извлечь из нее выгоды. Когда-то очень давно две его игры были известны в России, и он получал от фирмы Дойникова нечто вроде небольшой ренты. Но за границей его билет не вытянулся, и ему пришлось поступить на службу обыкновенным служащим в обыкновенную контору.

Он носил рубашку цвета хаки и не по возрасту пестренький, жгутом извернувшийся галстук; когда я указывал ему, что брюки его сзади блестят, словно натертые ваксой, он не жаловался, но с какой-то преувеличенной болью говорил, что на нем все горит.

– А вы покупайте вещи подороже, ей-богу, это выгоднее, чем вечно гоняться за дешевкой, – говорил я.

– Выгоднее, вероятно, потом, – соглашался он, – но сейчас просто никак это невозможно.

– Поднатужьтесь, вы наживете на этом.

– А вдруг вещи окажутся слишком прочны?

– То есть как это слишком?

– Переживут меня. Подумайте, обида какая! Я мучился, тужился, обзаводился первым сортом, а он, подлец, возьми да и окажись прочнее и первосортнее самого меня. Очень будет досадно.

– Я знаю ваш бюджет точно: вы можете жить лучше, чем живете. На что вы деньги тратите? Страстей никаких, одежды плохо. По-моему, вы просто гурман, вы умрете от подагры. Да, да! Не возражайте! Вы любите ананасы какие-нибудь, наверное, и икру. Бывает это у холостяков, я знаю.

– Неправда, я не могу жить лучше, чем живу.

– Сам черт не разберет, что вы такое, вы – богема с мещанством пополам.

– Вероятно, и то, и другое, – в конце концов соглашался он со мной. – Как большинство людей, у которых нет ренты и которые никогда не знают наперное, что их ждет в будущем: какая болезнь, какая старость, какая смерть. Ренту иметь, это все равно что знать: есть царствие Божие! (Я преувеличиваю, конечно, но в этом роде.) Таким людям нечего бояться, все устраивается и без них, им остается одно – не грешить. Или точнее: держать деньги в верном месте.

– Верных мест теперь нет.

– Держите под рубашкой.

– Я не мужик, чтобы хранить деньги дома, да и это место разве верное? Иногда все это так раздражает, что, ей-богу, я вам завидую: по крайней мере нет никаких забот и привычка к работе.

– Не завидуйте. Ведь я из тех, которые ничего не знают. Искрошит нас, нищих, и костей не соберешь.

– А мне всю жизнь...

Я не стал ему объяснять, все равно он твердо уверен, что я счастливее, и, конечно, он отчасти прав.

Кроун продвигает выточенные из дерева фигуры. Я задумываюсь.

– Вы слышите, как идут секунды? – спрашиваю я минут через десять молчания. – Они трепещут, как стрекозы, они шуршат.

– Стрекозы не шуршат, кажется. Это ваша выдумка. У часов скорее звук шелкового женского платья. Раньше были такие материи, помните? Впрочем, каждый слышит, что хочет.

– Девять десятых не слышит ничего, и не видит.

– Каждое движение сопровождалось шелестом, и так бывало упойтельно закрыть глаза и слушать, как скрипит шелк.

– Продолжайте.

Он взглянул на меня, умолк и низко склонился над фигурами, так низко, что мне не видно стало его лица с большим, слегка искривленным носом, с бесцветными умными глазами; я видел лишь голову с густыми, силь-

но седеющими волосами. От них шел слабый запах какого-то цветка.

Этот запах я ощущал не впервые. Он сопутствует Кроуну в те дни, когда он бывает в парикмахерской, в остальное время от него пахнет иногда кухонным чадом – это когда он прямо из своего дешевого ресторана приходит ко мне. В этих ресторанах зимой и летом стоит чад от жареного картофеля. Мне кажется, Кроун очень редко отдает в чистку свои пиджаки и, может быть, редко моется.

– Вы никогда не принимаете ванны? – спрашиваю я.

– Нет, – отвечает он, не поднимая лица.

Я не знаю, как намекнуть ему, что хорошо было бы ему вымыться душистым мылом, и решаю отложить этот разговор до другого раза. Я не хочу, чтобы Кроун опустил: опустившийся человек делается мне противен. Хотя бы для самого себя, для этих моих вечеров мне необходимо сохранить Кроуна.

Мы очень долго молчим. Внизу в доме запирают дверь, это называется: наступила ночь. Накладывается на дверь засов, старинный засов, который успел, как и все, усовершенствоваться, утончиться за эти годы. Я хорошо знаю его: когда я выпускаю Кроуна, он гремит и щемит мне пальцы. Внизу замирают люди, гаснет свет. Через час-другой начнут щелкать в кухне мышеловки, треск слышен на весь дом, от него Кроун морщится и многозначительно смотрит на меня. Но мне безразлично: я мышей не люблю.

Кроун откидывается на стуле и говорит:

– Сегодня днем я проходил мимо вашего дома, листья почти все уже облетели. А в других садах еще держатся. Октябрь.

Мое изумление направляется в неожиданную для нас обоим сторону:

– То есть как это вы проходили днем? Разве вы сегодня не были на службе?

– Нет.

– Почему?

– Потому что с первого числа меня рассчитали.

– Почему же вы молчите?

– Вот я уже не молчу.

– Но почему вы молчали?

– Ах боже мой, так!

– Так? Как вы легкомысленны, Кроун. Вот вы можете играть, острить, а о том, что службу потеряли, – забыли. Надо же что-нибудь делать.

– Я делаю.

– И что же?

– Ничего.

Мы молчим, не глядя друг на друга, фигуры опять пошли в ход на доске, расчерченной Кроуном синими и красными карандашами.

– И вот проходил я мимо вас и увидел: на эдаком ветру на всем вашем великолепном клене один лист остался. Эгоистически уцелел.

– Почему же эгоистически? Может быть, ему просто случайно повезло?

– Эгоистически уцелел. Дрожит, но живет и, поверьте, таким способом до зимы дотянет. Старается изо всех сил.

Я роняю руку со стола и цепенею. Долго идут ко мне тяжелые, неповоротливые, как сны, мысли: от этого листа – к куче тех, что сметены ветренным рукавом и клубятся теперь под забором, к пестрому белью, болтающемуся на юру, дворовому колокольчику, одиноко стонущему ураганными ночами.

– А вы не обратили внимания, – говорю я, – здесь под окном сегодня работали итальянцы, должно быть. Чумазые, но ловкие ребята. И машина до сих пор стоит... Слушайте, Кроун, они цементировали дорогу...

– Они и в прошлом году ее чинили.

– Они трамбовали щебень, превращали его в кашу одним тяжелым широким колесом. Очень интересно. Никогда не думал, что это так просто.

– Зачем вы это мне говорите?

– А кому же и говорить? Я же решительно никого не вижу, кроме вас. Живу один-одинешенек.

– Другие, поди, все облетели!

– Что вы сказали?

Он не повторил, а я расслышал его слова только спустя некоторое время – это значит, что слух мой не сразу передал мне то, что на грани неуловимого он все-таки уловил. Мы сыграли вничью, и так как было уже одиннадцать, то Кроун встал и, прежде чем уйти, опять постоял у печки, холодной и гладкой, которую он, конечно, любил больше меня. Я не сердился.

Я проводил его вниз, запер дверь и вернулся. В комнате было накурено. Пришлось открыть окно, а так как я труслив и не люблю тьмы, то я потушил свет в комнате, чтобы на дворе казалось светлее. Ветра больше не было, недавно прошел дождь, и, казалось, земля готовится к холоду. Небо было облачно, призрачно и мутно, и подомной чисто и пусто белела улица. Я увидел танк-трактор, стоявший черным пугалом у противоположного тротуара. Он казался больше, чем днем. Я увидел человека, безмолвно кружившегося вокруг него, это был Кроун. Видимо, он с любопытством высматривал этот призрак и даже, как мне показалось, несколько раз провел рукой по широкому и, вероятно, холодному ободу колеса, приходившемуся ему у пояса. Потом он пошел, и шаги его стихли.

Я очнулся от голода. Я уснул у окна. Зажигая свет и закрывая окно, я взглянул на часы: они неизбежно продвигались вперед. Если даже я сломаю старое стекло и исковеркаю стрелки, выломаю все скрытые колесики и шестеренки, все равно время будет двигаться: где-то какие-то будут падать капли, носиться тучи, лететь листья; где-то будут ходить вымазанные маслом маленькие с ноготь и огромные, с человека, поршни, будут кружить колеса, дробиться чьи-то крылья, трещать руки и ноги, выстрелами хлопать в хозяйской кухне мышеловки.

Машина пущена. Цепь бежит.

ПЕРЧАТКИ

В этот день Гита решила выехать в город за перчатками. Накануне зашла Мадлен и сказала, что в знаменитом магазине, возле Оперы, их раздают даром: сто франков пара вместо ста пятидесяти. Гита легла, как обычно, часов в десять, но уснуть не могла, в доме было нетоплено, и от холода и вступающей в дом первой осенней сырости ныла нога. Помочь было нечем, Гита это знала, но она разбудила Руффи, спавшего в столовой на диване (он уже два месяца спал отдельно), и велела ему зажечь свечу — электричество дня за три до этого было выключено за неплатеж, — посидеть с ней, растереть ногу. Руффи ругался словами, которых давно не стеснялся, но все исполнял, приоткрывая сонные глаза, подтягивая то одной, то другой рукой падавшие пижамные штаны. Потом он пошел на кухню и там в темноте опрокинул поднос с грязной посудой, раздался невероятно долгий грохот фарфора, бившегося на полу, среди этого грохота ложки и вилки подавали звонкий, звенящий голос, прыгая между осколками чашек и тарелок. Руффи выругался, хватаясь за спички, а слева предусмотрительно постучал в стенку разбуженный сосед.

Гита стиснула зубы и не двинулась. Она постаралась положить ногу так, как всегда складывала, когда нога болела. Впервые она открыла это положение еще в больнице, когда морфий впрыскивали скупно, а он был ей нужен в гораздо больших дозах, к морфию она была приучена прежней жизнью. И вдруг, случайно двинувшись, она выпала из ноющей боли в покой и тишину. «Вам луч-

ше? – спросила сиделка. – Вот видите, вам лучше!» Гита медленно перевела глаза с обоев на сиделку и вдруг попросила дать ей зеркало.

Ей дали его не сразу, сказали, чтобы она не пугалась, что волосы остригли, и забинтована она из-за мелких царапин, это переднее стекло разбилось, и ей срезало шляпу вместе с густыми золотыми волосами и кусками кожи. Она посмотрела на себя: повязка была завязана набекрень и шла над самым глазом по щеке, под подбородком. «Все пройдет, не надо отчаиваться. Могли потерять глаз», – сказала сиделка, и Гита заплакала.

С тех пор она стала много плакать, после слез начиналась головная боль. Гита ложилась и долго лежала. Вот начинало смеркаться, тускнело небо в окне, падала паутина теней на предметы в комнате, звуки в доме становились глуше, и шаги Руффи и поворот его ключа довершали Гитин день.

Она так привыкла скрывать от всех, что между ними происходит, так привыкла к своей жизни, за которую все время было стыдно: его брань, его вихляющая походка, весь он со своими окурками, с начищенными ботинками и рваными носками, с припудренным носом и огромными, воловьими глазами, и его образ жизни – мелкого спекулянта, и сама Гита, ее прошлое, ее красота, которая погибла и которую по утрам тех дней, когда надо было куда-то ехать, приходилось тщательно и долго восстанавливать.

Она просыпалась расслабленная и на обезображенные, в рубцах, ноги натягивала толстые резиновые чулки, на когда-то изумительные, знаменитые ноги, которые лепили, писали, воспевали в инфляционном Берлине. Потом она умывалась, сидя у туалетного стола, наливая из бутылки на вату белую жидкость. Потом она со страхом – к этому нельзя было привыкнуть – смотрела на свои волосы: потеряв былую волнистость, они росли теперь пучками между белых толстых шрамов, и росли так густо и больно, что их то и дело надо было срезать. Гита одевалась часа три. Руффи возвращался из города с холодными

котлетами, хлебом, пивом. Она выходила к завтраку, и что-то сквозило в ней прежнее, когда надевала она единственное, но из лучшего парижского дома платье. Может быть, это была ее редкая улыбка, когда-то сводившая людей с ума, ее синие глаза.

Он нанимал такси, и она старалась не думать о том дне, когда она вот так, после пьяного и сытного завтрака в ресторане, вышла с человеком, другим, не Руффи, – на Руффи она бы тогда не посмотрела, – вышла садиться в огромную синюю машину, которая за три дня до этого стала ее собственностью. «Я – к рулю, – сказала она, – а ты рядом» – и боже мой, как она взглянула на него! «Ты – рядом, а я к рулю», – сказал он и, открыв дверцу, усадил ее, и она спяну не спорила, но даже обрадовалась тому, что рука у него такая сильная и голос уверенный. Это-то она в нем и любила.

Она только успела подумать, что день чудный, что ветер быстр и что теперь, после автомобиля, дело идет к изумрудному кольцу, а может быть, и к загородному дому. Потом она перестала думать и стала смотреть перед собой. Город кончился, потянулись сады, потом сады кончились, начались поля, перелески, дачи. Они мчались с безотчетной скоростью, и дорога просто сыпалась им под колеса. И вдруг – толчок, от которого можно было вылететь из нашей орбиты, толчок, оглушение, звон стекла, автомобиль лежит четырьмя еще спешащими куда-то колесами кверху, дымится пыль, а внутри все тихо: из разбитых черепов бежит кровь.

Когда выбежал первый свидетель, старик, собственник дачи, стоявшей у дороги в цепком окружении отцветающего шиповника, когда он выбежал, там, внутри, придавленный рулем и подушками мужчина был мертв, а женщина с переломанными ногами и сорванными волосами была так окровавлена, что, заглянув в оконную дыру, в выбитое стекло, старик закричал, зовя на помощь. Как долго возились с ними, с автомобилем, с погибшими людьми?..

В такси было холодно, потому что Руффи велел открыть верх. Он сидел развалившись, слегка боком, время от времени сдвигая в сторону стекло, отделявшее седоков от шофера, и делая замечания касательно каких-то петель и крючков, которые тот делал. Когда машина остановилась, Руффи заплатил, отсчитал двадцать сантимов на чай и, выпятив грудь, повел Гиту под руку в магазин, вертясь и приседая, заломив котелок.

Одну пару белых длинных Гите завернули и подали с поклоном, две другие она тихонько заложила между рукой и грудью, под шубкой, и, улыбаясь, порозовевшая и счастливая, вышла. Они решили пройтись пешком до набережной. День темнел. Вот-вот мог пойти дождь. Руффи подводил Гиту то к одной витрине, то к другой, и при виде галстуков и персидских ковров ему делалось грустно. «Есть такие сволочи, которые все купить могут», – говорил он, и лицо его сразу старело. «Я устала, – говорила Гита, – поедем домой».

Короткий ноябрьский день темнел, вспыхивали фонари. На площади доигрывал позабытый фонтан. Они сели за столик в странном месте, где в это время дня не было никого и где, вероятно, вечерами бывало нарядно и шумно. «Это, кажется, вышло из моды? Раньше здесь было очень приятно», – выразался Руффи. И Гите казалось, что их двоих давно все забыли, те люди, что ушли из этого места в неизвестность и с которыми так хотелось побыть вместе хотя бы час.

– Вас тут ждут, – сказала швейцариха, распахнув свою дверь на лестницу, и видно было, как в глубине ее полуподвальной конуры кто-то встал со стула.

– Ты не получила моего письма? – спросил женский голос.

А ведь письмо действительно было получено, только Гита забыла о нем, у нее больше не было памяти, и она знала от чего: это были такие впрыскивания, без которых она когда-то не могла обойтись.

Девушка, вышедшая на лестницу, была плотна и круглолица и все время не переставала улыбаться широкой,

спокойной, уверенной улыбкой. Она переложила чемодан из правой руки в левую и протянула большую, тоже спокойную кисть.

– Здравствуй, Лиза. – Нужно было поцеловаться. Она без смущения нагнулась, увидела близко от себя испуганные, печальные глаза Гиты, ее длинные ресницы и поцеловала воздух.

– Это – мой муж, – сказала Гита, решившись показать сестре Руффи.

Она так хорошо знала все его движения и ужимки, особенно когда он видел кого-нибудь в первый раз: полуприкрытые глаза, раскрытый рот и слегка задержанное рукопожатие. Но она только на мгновение остановилась мыслью на нем и сестре, она заспешила наверх, она едва не упала, просчитавшись на одну ступеньку, надо было успеть что-то сделать в квартире, но что? и с чего начать?

Комнат было две. Электричество включили еще утром. Из столовой Гита унесла остатки завтрака, какой-то журнальчик, и пока Лиза раздевалась в передней в молчании, она успела снять со стены две препоганейшие картинки. Пока Лиза входила в столовую, где в пепельнице лежали вчерашние окурки, Гита прятала в ящик туалетного стола жемчужную нитку (последнюю) и золотую зажигалку – портсигар давно съели.

– Лиза!

Лиза вошла, улыбаясь, в спальню. Ей на вид было лет двадцать, одета она была в черную юбку и белый свитер.

– Как ты выросла! Что бабушка? Жива?

– Бабушка? – Лиза переставила под стулом свои длинные ноги в старых туфлях. – Живей тебя. Я привезла тебе пирог. Почему ты в шляпе? Чем занимается твой муж?

– Он занимается делами. А бабушка, наверное, едва ходит?

– Ходит лучше нас с тобой. Какими делами?.. Ах, какие у тебя тонюсенькие брови!

«Долго ли это будет продолжаться?» – спрашивала себя Гита, укутавшись платком, осторожно снимая шляпу и закуривая. Руффи пел на кухне. Он, вероятно, брился. Руффи, чтобы выглядеть бритым, надо было бриться два раза в день.

– У вас как-то странно, – сказала Лиза, – вы давно тут живете?

– Год.

– А до этого?

В детстве, когда разница в семь лет казалась огромной, приходилось прятать от нее пудру, карточку оперного артиста, модный роман, письмо знакомого мичмана, какой-то захудалый, худосочный дневник, который Гита вела украдкой, и сейчас, лежа на диване и думая об обеде, она понимала, что вся комната полна разоблачающих мелочей: вот Лиза взглянет на что-нибудь и пойдет от догадки к догадке. Вещи выдадут все: распахнется дверь шкапа и что-нибудь уцелевшее из прошлого – бирюзовое расшитое стразами платье – скользнет с хрупких деревянных плеч вешалки; или выдаст ее пыльный заброшенный альбом фотографий – Гита в снегу на лыжах, Гита на берегу моря со спущенным со спины купальным трико. Гита на широком диване с пекинской собачкой, веселый мордастый господин с гольфной палкой на плече.

Или войдет припудренный, в запудренном пиджаке Руффи, и Лиза, опять широко улыбаясь, спросит, когда и где они венчались и кто был на свадьбе. Она ни о чем с ним не сговорила, они будут врать разное.

После обеда выяснилось, что чистых простынь только одна, и кое-как Лизе постелили в столовой на диване. Потом закрыли дверь и остались вдвоем.

– Во-первых, – сказала Гита, лежа на спине, – не смей для нее два раза в день бриться, она вообразит, что ты хочешь ей понравиться. Боже, какой она урод! Прическа как у торговки. Сядь сюда, Руффи, милый. Она, кажется, завтра к вечеру переедет, ей, знаешь, дали стипендию, она будет учиться.

– Она через полгода устроится, если не дура. Ее причесать, одеть или раздеть, сразу похорошеет.

– Тише.

Но Лиза не подслушивала.

Она лежала на диване в этой скучной столовой, спрятав сумку под подушку, в руках у нее была толстая старая книга, вынутая из чемодана, и лист бумаги, она писала карандашом:

«Бабушка! Сегодня утром я уехала, а за день со мной столько произошло, прямо страсти! Я надеюсь, что у тебя все благополучно. На моем месте ты бы прямо не выдержала. Во-первых, в вагоне я познакомилась с одной студенткой, которая второй год в Школе. Она рассказала мне столько любопытного, что и половины тебе не уписать. Мы решили жить вместе, и завтра я перееду к ней. Сейчас я у Гиты, но тут остаться меня не попросили.

С вокзала я поехала к Гите. Ехала без конца и волновалась. Ты бы совсем пропала. Бабушка, Гита живет очень странно: у нее муж *совсем не тот*».

Лиза прислушалась. За стеной все было тихо.

«Он как будто бы итальянец, но говорит по-русски и жил в России, а может быть, он грек? Во всяком случае, тем господином, которого знал Николай Иванович год назад, здесь не пахнет, а пахнет сильно какой-то косметикой, которую господин итальянец целый вечер лил себе на голову. Чем он занимается, я пока не поняла, да и вряд ли пойму, потому что завтра съеду. Завтра же, как ты понимаешь, мне *совершенно необходимо* увидеть могилу Наполеона и хотя бы Лувр, Эйфелеву башню и Булонский лес, потом вернусь за вещами и перееду, и вместе с моей новой знакомой отправлюсь в Школу. Бабушка! Я в Париже! Сердце мое бьется! Подумай, бабушка, кто здесь только не жил! Ах, бабушка!

Теперь я скажу тебе про Гиту. *Она тоже не та*. Она худая, бледная, сильно накрашенная, все время жалуется, что у нее все болит. Ты ведь не выносишь, когда люди жалуются; я молчала и старалась улыбаться приветливо, как ты со-

ветовала. Одета она как кукла, хотя, впрочем, у кукол всегда были коленкоровые панталоны, а у Гиты, наверное, шелковые. Но живут они бедно и грязно, ты бы немедленно, завернув подол, вымыла бы шваброй их квартиру. Гита мне ничуть не обрадовалась, а у меня так стучало в голове от волнения, что я увижу ее, что я тоже не почувствовала большого счастья. Я спросила ее, как и где она жила с тех пор, как она нас бросила, она мне ответила, что все было «ол райт», что она уже была один раз замужем (но это опять *не тот*, это я поняла наверное) и что муж ее умер. Я спросила, нет ли у нее детей, и она так смеялась, что мне показалось, что, может быть, и есть и она только хочет это скрыть. Итальянский господин, между прочим, все время почти был тут же.

Теперь я буду спать. Теперь ты напиши мне обо всем, что с тобой произошло за это время. Вот и адрес...»

Гита несколько раз приподнимала голову с подушки: вот в окне занялся белый, дымный рассвет и вещи в комнате, и лицо Руффи стали сквозить в полусвете, делая усилие, чтобы воплотиться из ночного небытия в полубытие дневное. Вот Руффи ходит по комнате в подтяжках, бледный, почти уже довоплощенный, а окаменевший свет стоит в окне. Вот наконец шаги Руффи в передней, процеженная сквозь зубы старая песенка и удар входной двери... Гита встала, накинула халат. «Лиза, ты спишь?» – спросила она, приоткрыв дверь в столовую.

Но там уже не было никого. На диване лежали сложенные простыня и одеяло, слабо пахло мыло, сохшее на бумажке. Лизы не было, и хорошо, что ее не было, иначе Гита бы наговорила ей лишнего.

Она всегда думала: ни о чем не жалею, ни в чем не раскаиваюсь, и ей казалось, что в этом есть гордый смысл: «что хочу, то делаю» и «я сама себе хозяйка». А сейчас она видела, что никогда ничего не делала из того, что хотела, и что в ее судьбе хозяйничали чужие, грубые люди. И ей захотелось вернуть тот безумный день, тот страшный день, когда она уехала от Лизы и бабушки, из человече-

кой, трудной, но стойкой жизни, в жизнь бесчеловечного и жестокого кинематографа, который тоже назывался жизнью. Поезд несся на юг из навеки брошенного Брюсселя, мужское лицо, к которому она вдруг перестала чувствовать что-либо, кроме страха, приближалось к ее лицу. Соединение в ней старого, почти детского шерстяного платья, детского белья с невыразимой красотой продолговатого лица и синих глаз, как лжи с правдой или тьмы со светом, придавало ей прелесть необъяснимую и единственную. И пока поезд шел и шел, стуча на стрелках, и за окном плоский горизонт постепенно складывался в мягкую холмистую черту, дома читали и перечитывали ее безграмотную и дерзкую записку и вызывали доктора к тучной, всегда веселой старухе, у которой вдруг отнялся язык.

А жизнь ускоряла бег, не считаясь ни с чем, день превращался в ночь, а ночь в день. Ни пространство, ни время не имели значения, не было желаний, потому что все было исполнимо, не было запретов, все было позволено. И теперь воспоминания об этих годах все были связаны с дьявольской быстротой каких-то полетов: в куртке, на лыжах летит Гита со снежной высоты, приподняв слегка лыжные палки, поясницей удерживая чудесное равновесие; парусник несется по озеру, накрываясь, вознеся нос, ветер вздувает белый холст, мачта режет небо; с чувством восторга и ужаса она, оглушенная шумом пропеллера, высовывается из окна аэропланной кабинки одномоторника и видит, как под ногами мчится пар облаков, которому не догнать их. И все решительно тупики ослабевшей памяти приводили Гиту к бегу, к скольжению, к лету, вплоть до самого последнего, разбившего ее навсегда, выбросившего ее из ее летучей, ветреной жизни.

Лиза приехала. Вчера так неловко и неумело Гита прятала от нее и эту, и ту, прежнюю жизнь. Может, рассказать ей что-нибудь, например про то, как Руффи продавал ее кольца, как обманывал ее, как каждый вечер Гиту

укалывает мысль: а вдруг он не вернется, никогда вообще не вернется к ней? Как он однажды ударил ее в грудь за какую-то невинную ложь? Или про вчерашние перчатки, про то, как она зажала их между маленькой грудью и локтем?

Она сидела в столовой на тахте и перебирала Лизины вещи, приоткрыв чемодан: два свитера, юбка, книги, тетради, чертежи. Потом попалась ей фотография отца и матери, она сейчас же поглубже спрятала ее. Она сидела, опустив руки между колен. Она забыла о времени.

Руффи к завтраку не вернулся... Эти ноги, эти волосы... От всего прошлого остались зажигалка и жемчуг. Он, вероятно, придет часов в пять, будет уже смеркаться. Как это случилось, что у меня нет ни одной подруги? У всех есть подруги, а у меня нет. С тех пор как Лия уехала в Америку – никого. Лия играла с Янингсом, с Наварро и в прошлом году покончила с собой. А какая была! Цыганочка!

Около двух в передней вдруг зазвонил звонок.

– Я за чемоданом, – сказала Лиза, входя. – Я поселюсь у подруги, я сказала тебе вчера? У подруги, в поезде познакомилась... Ах, сколько я чудес сегодня видела! Как я устала!

Гита отошла в сторону.

– Заходи к нам, – сказала она сухо, – только сперва предупреди, а то нас дома может не быть.

– Спасибо, зайду непременно, – и по ее лицу было видно: она не зайдет никогда. – Прости, что побеспокоила.

– Какая ты сильная. Сама понесешь?

– Конечно. А кто же? Поклонники вокруг света уехали.

– Мыло не забудь.

– Ах да, мыло. Кланяйся своему мужу.

Она протянула руку. «Неужели она опять поцелует воздух?» – подумала Гита, но Лиза осторожно отшатнулась от нее (не переставая улыбаться), и сейчас же обеим стало ясно, что это их последнее свидание, что ничего никогда не будет сказано и что было когда-то в детстве, то давно забыто.

До пяти осталось еще много часов. Гита ушла в спальню и легла на неубранную постель. Делать было нечего, и думать было не о чем, зеркальный шкаф отражал туалетное зеркало, а туалетное зеркало отражало зеркальный шкаф. А между ними на кресле со вчерашнего дня валялись краденые перчатки.

ТВЕРДЫЙ ЗНАК

Кто-то как будто ходил по квартире, словно нарочно, чтобы напугать Александра Львовича, чтобы он, проснувшись, обмер, чтобы все утро было испорчено этим испугом. Как он ни крепился, сердце захолонуло: шаги раздавались в столовой. Входную дверь он вечером запер, он это помнил, но черный ход? но окно? «Ах нервы, нервы!» Это трубочисты работают в соседней квартире. Как надо быть осторожным, как надо беречься, сколько неожиданных неприятностей подстерегает нас в жизни!

Шлепанцы, халат, взъерошенные полуседые волосы, дыра во рту сбоку – это так, для себя. Если кто-нибудь звонит, сейчас же выкидывается из шкафа малиновая, в ястребах шелковая хламида, сафьяновые туфли, душистой щеткой приглаживаются волосы, вставляется зуб. И Александр Львович идет к дверям со сладчайшей улыбкой, слегка заводя правую ногу, накрутив на палец перстень. Племянница швейцарихи разносит почту, или это прачка, или итальянка пришла убирать квартиру. Один раз явилась пожилая, с умным лицом шестидесятницы горничная дочери с запиской: «Папа, вчера у нас сняли телефон, сегодня запрут электричество. Кроме повара и Берты, отпустили всех. Не прошу у тебя денег, но купи персидский ковер из гостиной. За него было заплачено двенадцать тысяч, для тебя уступим за восемь. Шура».

Надев большие очки, в которых его тоже никто никогда не видел, он сел за стол, под портрет известного деятеля (который бы, вероятно, очень удивился, узнав,

куда его повесили), выпивал стакан горячей воды и читал газеты, чтобы было о чем поговорить, если случится. Деловые письма, письма с просьбами, женские письма он раскладывал по местам. Потом вынималась тетрадь с золотым обрезом: «Мои размышления и звуки». Указательным пальцем левой руки подпирался склеротический висок. В тетрадь записывались вчерашние расходы (завтрак, такси, на чай, цветы, аптека). Здесь же был список (примерный) женщин, которых на всякий случай надо было иметь в виду:

«Соломина. Намекнуть: тысячу сразу или триста помесечно. Во всяком случае не давать ни телефона, ни адреса.

Лиля. Попытаться цветами и театральными билетами.

Клавдия Петровна. Изобретать. Поражать. Взять врасплох».

И так далее. Стакан горячей воды был выпит за полчаса до кофе и сваренного всмятку яичка. В десять без десяти позвонил телефон, и хриплый мужской голос торопливо, запальчиво, не называя себя, начал убеждать Александра Львовича, что кончится «все это» скандалом, что некоего господина Якубовича уже ищет полиция. «Да кто говорит?» – спросил несколько раз Александр Львович. «Благожелатель», – ответил голос и повесил трубку. Александр Львович решил быть с Якубовичем впредь осторожнее.

Он одевался довольно долго; сверкая ногтями, благоухающий и какой-то весь осторожный: не запачкаться бы, не наступить бы куда, не увидеть бы чего некрасивого (да и не рассыпаться бы), вышел на улицу. Брюнеточка сидела у окна. «Она без меня прямо жить не может», – подумал Александр Львович и ослабился. День был самый обыкновенный, жаркий летний день в городе. Рукой в светлой перчатке сжимал Александр Львович трость, монокль придавал его лицу что-то свирепое, борода едва седела, жесткая и острая. Ему казалось, что борода его – это нечто такое, без чего русского парижанина себе

и представить невозможно, как невозможно представить себе без нее довоенного Петербурга. «Мы донесли, – сказал он однажды, и тридцать один человек, затаив дыхание, слушал его, и он протянул руку к окну, где мигала огнями Эйфелева башня, – мы донесли до нее, что у нас было: наш твердый знак!» Но в душе в эту минуту он, конечно, думал про бородку.

В редакции русской газеты, куда он приехал и где надпись «Просят на пол не плевать» относилась и к нему, на что он в душе возмущался, он назвал свою фамилию, и его попросили обождать. Ждал он довольно долго, стараясь не кипеть, сохранить крови ее обычный ход, словом, если не с пользой проводить время, то хоть без вреда. Ждал он довольно долго, потому что, во-первых, было еще рано, а во-вторых, в соседней комнате два человека промеж себя спорили, как с ним быть: один говорил – надо его послать к черту немедленно, а другой – что его надо послать к черту, но не сразу.

Наконец его попросили войти. Он прежде всего осведомился, хорошо ли его приняли и кто он. «Да, да, – ответил ему скучный человек в очках, – что угодно?» Александр Львович сел, утвердив на столе свою шляпу изнанкой вверх, и она вдруг показала миру свою роскошную внутренность: белый атлас, золотой росчерк фирмы, эмалевые инициалы. Он попросил напечатать на видном месте письмо в редакцию о том, что три дня тому назад упомянутый в газете Александр Красноверов (без постоянного местожительства), высылаемый из Франции за разные непотребства, ничего не имеет общего с ним, присяжным поверенным А. Красноперовым.

– Да ведь там вэ-э-э-э, – протянул скучный человек, – а здесь пэ-э-э-э.

– Жизнь состоит из деталей, – и он выплюнул из глаза монокль. Но напечатать письмо ему отказали.

Посмотрев на себя мельком в зеркало над комодом, он вышел. После него в коридоре остался запах персидской сирени, которой он душился вот уже сорок лет.

День был самый обыкновенный, один из 365 дней, может быть, 210-й или какой другой. Дел у Александра Львовича не было никаких – дела за него делали другие: покупали, продавали, попридерживали. Позавтракал он, как всегда, с пользой, встречая кого надо. Лакей его знал, в летнее время с террасы отгонял от него случайных нищих, за что он щедро давал ему на чай. Лакей доставлял ему сведения об обедающих дамах. «Нипочем, – говорил он, – господин Краснопёрое, здесь никакой почвы нет. Не стоит терять сил и здоровья». Или: «Все данные за и против. Предоставьте нам». (Это значило, что может быть удача, и «против» говорилось с разбегу.) И Александр Львович, наставив стеклышко, дерзко и властно смотрел на блондинку, ощипывающую артишок. И такая казалась она особенная, далекая, наверное, привередливая и загадочная... А познакомился – глядишь, все то же: болтовня, скука, деньги. Но отчаиваться не надо: всех перепробуем, всему нарадуемся! Главное, во всем находить удовольствие, как заразы бояться огорчений. Довольно было несчастий: два состояния потерял (в России и в Берлине), жена бросила, дочь ушла, живет «так», сын застрелился после карточного проигрыша. Пора радоваться. Осталось – не так уж и много. Только, пожалуйста, милые европейские правители, не устраивайте новой войнишки, землетрясения, потерпите! Гольф-стрем, прошу продолжать всюю!

– Да сколько ему лет? Ей-богу, он для шестидесяти выглядит молодцом, – сказал ему кто-то вслед, когда он вышел из ресторана. И правда, хоть он и говорил, что ему 54, для шестидесяти одного года он был моложав, прям, старался плечам придавать при походке упругость, вообще крепился всюю, поддерживая, когда случалось, разговоры о плавании, теннисе, о солнце, море, новых, в последнее десятилетие появившихся худошавых стриженных женщинах (на деле предпочитая вялых роскошных особ, никогда не бравших в руки ни весла, ни ракетки), говорил о театре (в мыслях держа «Птичек певчих»

и «Даму от Максима»). О том, что после завтрака он дома спит, а перед тем снимает трубку телефона, долго громко зевает, охает, кряхтя и сморкаясь, никто не догадывался. Засыпал он обычно что-то блаженно высчитывая, и так устраивались его дела в последнее время, что всегда хватало и оставалось, и все были довольны, и еще благодарили его.

Положительно ничего неприятного не должно было существовать на свете. Все неприятности он решил раз навсегда отменить. Если начать вспоминать, может испортиться эта форма, в которую он вдвинул себя. Третьего дня, например, он стоял у одного дома на набережной. У него была полная уверенность в том, что из знакомого окна третьего этажа ему сбросят ключ. Во-первых, как ему казалось, он поймал один взгляд – более удивленный, чем обещающий. Во-вторых, он ловко всунул в шелковую сумочку письмецо. И окно действительно открылось. Он перешел через улицу, и в ту минуту, как он вступал на тротуар, его сверху облили. Это была вода, в этом не могло быть никаких сомнений. И теперь он старался забыть об этом.

Обыкновенный день, 219-й, скажем, старался пробиться, досадить ярким светом сквозь ставни. Александр Львович завел глаза, потянул носом. В одиночестве он разрешал себе храп.

Обыкновенно под вечер он шел пройтись и, гуляя по улицам, очень часто жалел, что неудобно носить с собой «Размышления и звуки», многое встречалось такого, что нужно бы было записать. Для гладкости жизни мешали на закате слишком ярко блиставшие стекла автомобилей. «Вот вы все боретесь с шумами, – писал он на прекраснейшем французском языке в письме, адресованном префекту парижской полиции (и подписанном «Русский гость»), – а не боретесь с резкостью света, весьма часто неприятно действующего на прохожих». Он любил писать письма и обычно суть в них так и не успевал выразить, все прибавляясь каким-то подобием сути. «Дорогая

Вера Михайловна, я пишу вам «дорогая», хотя должен был бы написать «милая», по многим причинам, о которых вы, вероятно, догадываетесь...» «Досточтимый Август Федорович, я вчера лицезрел Якубовича по вашему делу и должен вам спешно сообщить, что ничего еще не могу вам сказать положительного», – и еще, и еще, страницы две, а то и три, и никак нельзя было доискаться: приехало ли «вышеозначенное лицо» или уехало, и кто кого будет ждать, и от него ли были вчера хризантемы, – так он умел наплести.

Гуляя, он доходил до улицы, где высоко, как птица в клетке, непроницаемая в своей веселости, пышности и здоровье жила Жермена. Три раза в неделю он поднимался к ней, в остальные дни посещал то общественно-благотворительное учреждение, в котором был председателем и которое помещалось в двух темноватых комнатах, где от четырех до шести сидел и дымил самокрутками секретарь почтенных лет, с которым Александр Львович не всегда здоровался за руку. Жермена выпроваживала гостей за полчаса до его прихода: то это была подруга, то возлюбленный, то прибывшая из провинции мамаша. Что он делал у нее – сказать трудно. Во всяком случае, он расплачивался деньгами и подарками, ни о чем не спрашивал и целовал ее на прощание в лоб. А она, как только он уходил, заваливалась спать до вечера, когда опять кого-то ждала с коньяком, ликерами – словом, со всем тем, что, несомненно, было для Александра Львовича вредно.

Спадала жара. Садилось солнце. Постукивая тростью, он возвращался домой, провожая глазами женщин, оставившаяся перед витринами магазинов белья и готового платья. «Как изящна жизнь, – думал он, – и как изящно живу я сам, надо только стараться не замечать уродств. Вот идет деревяшка. Пусть идет себе, отвернемся. Какое потное лицо». И он сейчас же переходил через улицу.

Вечером в уютном кабинете начинались телефонные разговоры. Лампа под низким абажуром, шкура под ногами, цветы в вазе. «Ах, дорогая, приезжайте сейчас ко мне,

Нина Берберова

сердце мое бездонно бьется». В телефоне слышался сдавленный смех.

– Муж слушает в другую трубку, предупреждаю вас, – говорил женский голос.

– Ах, дорогая, как вы умеете шалить!

(А муж действительно слушал, и оба кусали губы, чтобы не расхохотаться.)

– Милая, я сейчас еду к вам, – начинал он минут через пять, уже другой, – я бескрайне соскучился.

– Пошли его к чертовой матери, – говорила подруга, лежа на диване, пытаюсь положить ногу на комод.

– Я буду вас ждать на углу, под проливным дождем, – говорил он третьей, – пусть струится стихия, я стоек, когда я влюблен.

– Как? Струится? Что такое? – спрашивал голос. – Подождите, это прямо записать хочется: струится стихия. Ха-ха-ха! Вот вы умрете, и никто уже не скажет такого.

Наконец он услышал из какой-то квартиры, куда долго не мог дозвониться, звуки рояля и детский голос:

– Нет, мама не может подойти, у нас гости. Нет, к нам нельзя, у нас гости.

Сжав челюсти, застегнувшись на все пуговицы, он подходил к окну, кашлял, бодрился. Там, напротив, в окне, он искал брюнеточку. Двор пуст и гулок. Невидимый во мраке человек простучал цинковым ведром, грохнул мусор в мусорный ящик; пахло городом, летом, пыльной ночью. В небе было черно; там где-то крепко и прочно сидели звезды. К звездам у него было всяческое сочувствие. Он думал: не замечать, презирать, выдумать что-нибудь, от чего все ахнут. Скользить. И нечего вспоминать, перетряхивать, пересыпать в памяти какие-то неудачи: возможное мошенничество Якубовича, утренних трубочистов, все вырванные из его ладоней женские руки, удар по зубам в такси однажды, и еще раньше – или нет, совсем недавно – хохочущий голос в фойе театра: он сказал что-то такое политическое и о том, кого пускать и кого не пускать куда-то. Открылся молодой женский малиновый

рот с ослепительным полукругом зубов. Кругом стояли и слушали люди:

– Скорей, торопитесь! Не то вас упразднят! Старайтесь всю, ведь таких, как вы, ни-ког-да больше не будет!.. Вы уже и сейчас не нужны никому, как твердый знак, да, да, напрасно вы так бережно везли его за собой вокруг земного шара! Ах, если бы вас можно было надеть, как бабочку, на булавку!..

ДЛЯ БЕРЕГОВ ОТЧИЗНЫ ДАЛЬНЕЙ

Сегодня наконец наступил долгожданный день: я потерял терпение. Мне захотелось треснуть кулаком по столу, сдернуть со стола скатерть с двумя чашками, блюдечками и печеньем, чтобы загремело, но я так растерялся, что только схватил ее желтого щенка и швырнул его в угол. Она даже не взглянула, куда он шлепнулся, хотя, вероятно, любит его. Когда у него была щенячья чумка, она целыми днями не отходила от него.

Я вышел почти счастливый. Дул ветер, тот самый, западный, о котором она однажды спросила:

- Почему в этом городе почти всегда ветер западный?
- Атлантический океан. Гольфштром, – ответил я.
- И так – до самой России?

Мы тогда шли по набережной. Был предвесенний, какой-то шелковый день. У моста прохожие рвали из рук газетчика газеты; мы шли мимо широкой длинной баржи, привезшей щебень с верховьев Сены. На барже жили люди бедно и весело, сушили белье, качали детей, пили, бранились, брились. Она никогда не взглянула в их сторону, никогда не задумалась над тем, что вообще происходит в мире, как в нем люди живут. Театр, школа, кафе, полицейский участок – возможно, что она даже толком не знает, зачем все это, чем держится, и люди ей кажутся, и я в том числе, вечно взволнованными, сложными и совершенно зряшными существами.

И вот я вышел от нее почти счастливый, послав к черту и самого себя, и два года этой любви, и ее, слабенькую, тихую, равнодушную и милую. Дул ветер. На площади

высокий фонтан брызнул мне в лицо. Было уже поздно. Я старался не вспоминать последние дни, я запретил себе думать о моих с ней ссорах. И на память мне все приходило одно давнее удивительное воспоминание: день нашего с ней знакомства, жаркий летний день, сосновый лес; у чьей-то калитки она пьет ледяную ключевую воду из горячего, нагретого солнцем стакана. Упавшая со лба прядь ее волос плавает в воде. Она ей не мешает.

Мне бы понять тогда, что вот эта сонная лень, с которой она пьет и потом откидывает мокрые волосы, неспроста, что вся она в этом – умеет только слепо смотреть и глухо слушать, и вовсе не умеет размышлять. Но я решил, что это только внешность, что на самом деле ее можно приручить, как всякую другую, заставить смотреть в глаза, заставить слушать.

Разговоров об ее отъезде в последний месяц, впрочем, было довольно мало. «Я уезжаю, – сказала она мне еще в феврале. – Надо же когда-нибудь уехать!»

Зачем? Куда? К кому? Я говорил долгими вечерами, сперва сердился, потом издевался над ней, потом умолял. Она сидела на диване, тербила и целовала щенка. Он лизал ее в нос, тыльной стороной руки она вытирала лицо и потом руку о платье. И нельзя было сказать, о чем ее мысли, есть ли они у нее? На середине моей патетической речи (продолжавшейся четвертый вечер) она вдруг встала и пошла.

– Куда вы? Куда?

– Никуда. Я письма вам показать хочу.

Письма были от сестры, писавшей нечасто, и по ним никак нельзя было понять, ждут ее или не ждут? «Тебе виднее, – писала сестра, – мы не уговариваем. Обдумай все хорошенько, реши...» Муж сестры – известный астроном; недавно звезду открыл, просит привезти ему теплое нижнее белье. Сын сестры хочет быть полярным исследователем. Огорчает родителей тем, что раз в месяц уши моет. Ему бы хорошо привезти новые сапоги. «Все обсуди, все взвесь. Не беру на себя ответственность тебя уго-

Нина Берберова

варивать и тебе советовать. С одной стороны... с другой стороны... И помни, что обратно уехать нельзя будет».

– Сядьте, сядьте, – закричал я тогда, – я вам что-то скажу, что вас убедит, что вас совершенно сразит...

Но она опять отошла в угол, к комоду, мурлыча каким-то необъяснимым образом дошедшую до нее советскую кабацкую песню «Стаканчики граненые», достала два пакета: в одном были детские сапоги, в другом – две пары шерстяных подштанников.

И после того в течение нескольких недель мы почти об этом не говорили.

Но вчера я потерял терпение, потому что, недопив чаю, молча она влезла на стул, сняла со шкапа чемодан и начала вытирать с него пыль, словно меня тут и не было. У нее смешные русские привычки: на шкафу хранятся чемодан и картонки, сумку на ночь она кладет под изголовье, вечером моется холодной водой.

– Сегодня я была в консульстве, – сказала она, – справила все бумаги.

В груди у меня что-то захрипело, когда я сказал:

– Вам там придется с ними тремя в одной комнате жить.

– А? Что?

– Я говорю, – и вдруг я понял, что безнадежно все, что говорить не о чем, что она уедет.

Она молча разложила на столе новенький паспорт, деньги, накопленные на билет.

– Жизнь – зыбучий песок, и всякая прочность противоестественна.

Это, может быть, были ее первые связные слова за всю нашу любовь. А в лице ее была безмятежность, граничившая со счастьем.

Я вдруг онемел. Мое постоянное красноречие меня оставило. Пик обнюхивал чемодан, грыз ремень, прыгал, валялся в пыльной тряпке. А в ней была такая уверенность, что все, что она делает, – хорошо и правильно, что я начал ужасаться, глядя на нее.

– Поеду, посмотрю. Там тоже люди живут. Пика с собой возьму.

– Вам, кажется, писали – поедете, так уж навсегда. – Голос у меня был обыкновенный, но мой вид меня выдал.

– Да что вы волнуетесь, смешной человек? Я, может быть, еще и не уеду, – и она уставилась в сторону своими прозрачными глазами, будто мгновенно забыв обо всем.

Тут я встал, отшвырнул Пика, потянул крепко за скатерть, потом опомнился, пошел.

Сегодня был спокойный, одинокий день.

* * *

Ну вот, я воротил ее с вокзала. Она не уехала. Днем пришло от нее письмо: «Поезд уходит в девять. Приходите проститься». Не помню в точности, как я поехал. Она стояла на перроне со щенком в руках, с чемоданом и каким-то просалившимся пакетиком. Шляпа ей совершенно не шла, но вид у нее был решительный.

Не знаю, что сделалось со мной. Меня охватила такая злость, что я слышал, как скрежещу зубами. Я схватил Пика, чемодан (кажется, пирожки она уронила). Я толкал ее в спину, к выходу. «Дура, – сказал я, кажется, или только подумал, – Боже, какая вы дура!» И толкая ее, и ругая, и ломая ей руки так, что она от боли даже поскрипывала, стал просить ее быть моей женой. «Пустите! Пропадет плацкарта», – сказала она.

Мы поехали с ней. Я сжимал и целовал ее руки и говорил ей что-то; она с удивлением смотрела на меня и видела мои слезы. Потом в ней дрогнуло что-то, она погладила меня по лицу, а когда мы вышли из такси, тихо попросила погулять немножко с Пиком, пока она войдет и все объяснит хозяевам.

Она снимает комнату у людей простых, хоть и не совсем обыкновенных. Сам хозяин квартиры слеп и уже сле-

Нина Берберова

пым женился, еще красивым и не старым человеком, на толстой, страшной на вид, но добрейшей и нежнейшей старухе, которая любит его без памяти и иногда носит его из одной комнаты в другую на руках. Странные люди! Когда я вошел, они поздоровались со мной, будто ничего не случилось, и предложили посидеть у них, потому что «у барышни уж больно неприглядно стало». Я только взглянул туда: белье с постели уже было снято и одеяло сложено, и все, что должно было остаться здесь и ей не принадлежало, – ненужные, отслужившие свой век предметы и полосатый тик подушки, все разом мелькнуло у меня в глазах.

– Как здесь у вас хорошо! Правда, хорошо? – восклицал я, и она отвечала: «Очень хорошо».

– Ну, теперь я научу вас, что делать. Довольно быть легкомысленной.

Она звонко рассмеялась:

– И Пика научите?

– Ему не нужно.

– И Александра Семеныча? – Это слепой.

– Он ошупью живет, ему тоже не надо.

Она утихла. Кажется, неясно взглянула на меня и утихла.

Сейчас час ночи. Я только что вернулся. Она проводила меня до самого дома и одна пошла назад, ни за что не позволив мне вернуться с нею. Она была мила и так близка, что мне иногда казалось, что она только по привычке недослушивает, переспрашивает и смотрит в сторону, что на самом деле в этот вечер она начинает быть совсем со мной. Опять на площади – на полдороге – фонтан летел нам в лицо, и опять она спросила про ветер (откуда он и куда?). И я сказал:

– Хотите, сейчас пойдет дождик?

И действительно откуда-то забрызгал дождик. Мы переждали в подворотне.

– Хотите, он перестанет?

И дождик сейчас же перестал.

– А вот вам и месяц, – сказал я. Небо было в черных тучах, и вдруг по ним пошла катиться маленькая, круглая луна.

* * *

Вот как все это было.

Я пришел в шестом часу. Александр Семенович, щупленький, необыкновенно аккуратный, открыл мне дверь и сейчас же догадался, что это я, – бог знает, как это он делает! Живут же люди в такой тьме. Он дал мне войти и нащупал дверь в кухню.

– Мамочка! – (Это он так жену называет.) – Господин Десятников пришел.

Жена вышла с засученными рукавами, растрепанная, на громадном лице изобразила приветливость.

– Барышня уехала, – сказала она.

Из кухни в переднюю падал свет, там продолжала течь вода. Я молча стоял, не зная, что мне делать.

– Когда? – спросил я, потому что молчание стало неловким, будто было не все равно когда.

– Утром.

И я опять, необыкновенно деловито:

– Разве утром тоже есть поезд?

Утром – это значит, что сейчас ее не догонит даже ветер; утром – это значит, что мы здесь остались с нашим прекрасным городом, с нашей новенькой отстроенной Шампанью, с нашими пограничными кирпичными строениями, с немецкой границей и всем остальным.

«Вот значит как», – сказал я себе и внезапно увидел в черноватом зеркале, что улыбаюсь несчастной улыбкой и никак не могу поправить лица. «Спасибо, Господи, что ты осчастливил меня: с младости научил всяким сложным вещам, а собачьего слепого чутья лишил. Это как если бы Пика, например, стали кормить рокфором».

– ...в столовую, – донеслось до меня.

Я не стал заходить ни в ее комнату, ни в их столовую; там у нее, конечно, все давно успели прибрать, но я никак не мог уйти, просто стыдно вспомнить, как я мешал им, все толкаясь в передней, потом все-таки вошел в какую-то дверь и сидел на всех стульях по очереди, видел в кухне, как убрали с моих глаз старый Пикин матрасик. Было глупо спрашивать, не оставила ли она мне письма или записки: ведь у нее никогда не было ни бумаги, ни чернил. Когда я наконец собрался идти домой, пришли две молоденькие девушки, чем-то похожие на мою Валюшу. Им сказали, что Валюши здесь больше нет. Они рассердились ужасно, сказали, что она их сама звала сегодня вечером, что этого быть не может. Потом одна из них толкнула локтем другую и шепнула, даже не очень тихо:

– Смотри, это, должно быть, и есть ее Десятников.

И другая ответила, почти громко:

– Должно быть, он. И какой же он грустный!

РАССКАЗ НЕ О ЛЮБВИ

В ту зиму, в тот беспокойный год, в южный русский город приехали столичные жители, сорвавшись со своих покойных мест, и сразу наполнили квартиры, магазины, театры и университет собой, своими женами, детьми и добротным, правда, наполовину порастрясенным добром. И не только в аудиториях сидели теперь петербургские и московские студенты, но и заезжие профессора появились на кафедрах; не только в городском театре все места на «Мечту любви» и в опереточном на «Сильву» были заранее распроданы всевозможным дотоле невиданным изящным господам и дамам, но и самую Сильву стала петь – вместо всему городу известной своим откровенным характером дивы – красивая, молодая и богатая особа, имевшая в Петербурге свою собственную конюшню. И в концертах, в небольшом поблеклом консерваторском зале, где еще год назад давала свой концерт барышня-пианистка, дочь местного банкира, теперь, разметав фалды фрака, сидел взлохмаченный, с лицом доброго бульдога, сам Лиманский, и публика слушала его, глядя в партитуру, и аплодировать стало модным только в самом конце.

Появился новый клуб, куда на бальные вечера допускалось лишь самое изысканное общество, да и то в масках, появился журнальчик «ревнителей красивой жизни», появилась какая-то «студия» – и что это слово значит, никто толком не знал, – и мамыши не сразу пустили туда своих дочек. Наконец, объявлен был вечер поэзии «будущников». Не будочников, а будущников. Публика валом повалила поглазеть на нелепицу, и хохоту было много.

А в игорном доме на Николаевском проспекте кто-то просаживал привезенные керенки.

Марья Петровна ходила и на «Мечту любви», и на Лиманского. Ей было всего восемнадцать лет, но вот уже два года, как все звали ее Марьей Петровной, потому что при ее огромном росте, толщине, громадной прическе и крупном шаге как-то неловко было называть ее Мурочкой или Манюсей. Она никогда не бывала в столицах, гимназию она только что кончила и теперь играла на виолончели часов по восьми в день, собираясь пойти по этой части. Играла она, впрочем, неплохо, читала хорошие книжки, соскучилась чрезвычайно на «Сильве» и была, что называется, отличной барышней.

Она пошла на Лиманского и от волнения в антракте не могла выговорить ни одного слова. Ходила она всегда одна, потому что любила сосредоточиться. После концерта она выбежала на улицу, как пьяная, пока Лиманского выносили на руках из подъезда и сажали в сани, она успела погладить его рукав. Потом она долго смотрела вслед, кое-кто побежал по снегу. Но прошел трамвай. Она вернулась домой и в первый раз в жизни стала мечтать, как было бы чудно, если бы она, скажем, была кухаркой Лиманского и могла слушать его каждый день.

Через неделю Лиманский проследовал на юг, и в городе появился Боссман, дирижер, с двумя любимыми учениками. С одним из них его, видимо, связывали не только музыка и дружба (и об этом заговорили вслух даже те, которые думали до сих пор, что такое бывало только в Древней Греции), другой был Тимофеев. Марья Петровна бегала и на Боссмана, и два раза в студию, на какое-то «действие», и на вечер будущников. Дома же она по-прежнему играла на виолончели и читала хорошие книжки.

С Тимофеевым ее познакомили на вечере будущников. «Слушайте, – сказал ей кто-то из знакомых, – нет ли у вас свободной комнаты? Теперь все сдают, скоро начнут уплотнять, приезжим жить негде. Устройте Тимофеева,

тем более что у вас рояль. И посмотрите на него, какой он чистенький. Мама ваша будет довольна».

В это время на эстраде немолодая, некрасивая и скромная на вид женщина в каком-то чепце с бантом читала: «Если тебе суждено умереть, дай от тебя мне забеременеть». Часть публики ржала, другая тоскливо поглядывала по сторонам. Когда и второе отделение было кончено, Марья Петровна предложила Тимофееву переехать к ним. Ему дали гостиную. Он оказался очень аккуратным и нетребовательным. В первую неделю он почти не упражнялся, он писал. Потом, исписав не меньше ста листов нотной бумаги, он сел за рояль.

Теперь Марья Петровна почти никуда не ходила по вечерам. Она сидела за стеной и слушала. Она уже знала, что Тимофеев «страшно левый», что такие, как он, презирают и Лиманского, и его репертуар, что в Москве на консерваторском экзамене была из-за их жильца целая буря, что вообще его пока почти никто не признает, что сам Боссман иногда приходит от него в отчаяние.

Она слушала помногу и подолгу думала о музыке Тимофеева, и вот настал такой вечер, такой странный час, когда она поняла ее. То, что до этого было лишь сумбуром звуков, сейчас стало ясным и убедительным. И Марья Петровне стало стыдно себя самой: ведь не умнее же она всех других? Но стыд прошел, она почувствовала уверенность, какую-то самоуверенность, радость, потом восторг. И до других ей уже не было дела.

– Вы ведь тоже, кажется, музыкантша? – спросил как-то Тимофеев, с вежливой улыбкой глядя на здоровенную краснощекую девушку, которой впору было бы играть на контрабасе. Сам он был невысок и, несмотря на свои двадцать пять лет, совершенно лыс. Руки у него были огромные, жилистые, и в лице тоже почему-то было что-то лысое.

Его удивило прежде всего то, что она все понимает: что он ни скажет – она посмотрит серьезно, потом блеснет глазом, и вот ясно: она с ним. Это ему очень нрави-

Нина Берберова

лось. В тот вечер она должна была пойти на вечеринку, надеть новое платье, но ему захотелось сыграть ей из только что написанного, и она осталась. Дверь его комнаты в столовую была открыта, в столовой сидели ее родители, тихонько пили чай и тоже слушали.

Он стал звать ее сразу после обеда, часов в восемь. Иногда они говорили, и тогда он садился в кресло, а она к роялю, положив щеку на пюпитр. Но чаще он играл, а она слушала. Иногда он вдруг делался веселым, придумывал что-нибудь, чтобы ее рассмешить, и она необыкновенно звонко и чисто смеялась. Ему не приходило в голову, что ее можно любить, что ее можно обнять, такие мысли никогда не приходили ему в голову, но он не мог пробыть без нее ни одного вечера, а днем все чаще просил ее выйти с ним погулять по Николаевскому, в снежных сумерках, в провинциальном шуме и суете.

Но приезжие, густой волной залившие город, потянулись дальше, а за ними – многие местные жители, кто был побогаче и понервней. Боссман снялся с места внезапно, и накануне отъезда Тимофеев сказал Марье Петровне, что на прощание посвятил ей одну совсем коротенькую штучку. Он, конечно, думал, что уезжает ненадолго, что весь этот беспорядок скоро кончится, иначе не оставил бы двух чемоданов и кипу исписанных листов. Она обещала ему все сохранить в целости. «Ну, а если вы не вернетесь?» – спросила она, широко улыбаясь. «То есть как же это?» – удивился он. Она подумала с минуту. «Ну, а если вы вернетесь таким знаменитым, таким знаменитым...» Он взял ее за руку. «Благодарю вас, – сказал он, – я сохраню о вас самые лучшие воспоминания». И он подумал, что она сущая прелесть, потому что она, оказывается, верит в него.

Гостиная теперь стояла пустая. Чемоданы Тимофеева унесли на чердак. Марья Петровна иногда открывала рояль и разбирала оставленные рукописи. Она хорошо играла, но они были трудны и к тому же неразборчиво написаны. К ней приходили подруги и знакомые. Она говорила

им: вот здесь жил Тимофеев... Кое-кто раздражался сильнейшим негодованием, кое-кто из тех, кто молился в те годы Скрябину. Другие слушали равнодушно. Тимофеев не успел написать ей ни строчки, когда через две недели полоса боев переместилась так решительно и так резко, что провинциальный город, притихший и в три дня разоренный дотла, вдруг оказался отрезанным от всего остального мира.

Этот город, бывший когда-то губернским, увидел вещи неожиданные и странные. Топить было нечего и ездить из конца в конец не на чем. К весне людям стало нечего есть. Около года Марья Петровна играла в оркестре железнодорожного клуба, куда пристроил ее один неравнодушный к ней инженер. Потом она поступила на службу – опять-таки с его помощью – в райпрофобр, и музыку вовсе пришлось бросить. На третий год она вышла замуж все за того же инженера, перестала служить, стала рожать, кормить, стирать.

Жила Марья Петровна все в том же небольшом доме с флигелем (в котором теперь помещались курсы ликбеза), только гостиной уже не было: там, в этой большой угловой комнате в четыре окна, жили теперь она, муж и двое детей. В остальной квартире, после смерти родителей, жило еще пять семейств. И единственное, что оставалось неизменным вокруг, это – воздух, это – небо весной, это – запах цветущей во дворе, еще живой акации, медленное сползание крупных льдин с покатою панели в марте месяце, влажные стены домов после первой апрельской грозы, на которых таяли плакаты, афиши, стенгазеты.

ТИМОФЕЕВ

Большими буквами имя это было напечатано на серо-желтой бумаге, наклеенной прямо на забор, за которым дымилась и благоухала обрызганная дождем акация. Марья Петровна, шедшая с рынка и державшая в одной руке

крынку с молоком, а в другой потную руку младшей дочери, остановилась. Афиша была совсем свежая. Известный Тимофеев, известный в Европе и Америке, вздумал приехать в Россию. Билеты можно было получать там-то. Все это показалось удивительным, словно из сонной и печальной глуши, где жилось так трудно и так бессмысленно, возвели мост в какую-то благословенную лазурь, и вот по мосту спускается сюда кто-то... позвольте, я же знаю вас, я же вас помню, я же вас люблю!

– Ты знаешь, – сказала она мужу поздно вечером, – мы с тобой непременно поедem на будущей неделе в концерт, приехал Тимофеев, композитор, он у нас жил когда-то, он мне даже посвятил одну совсем коротенькую штучку...

И она вдруг так обрадовалась жизни, неведь чему. И она попробовала мечтать, что было бы, если бы... Но у нее не было этой привычки, и ничего не вышло.

Он приехал в Россию после длительных переговоров, начавшихся еще в Америке и закончившихся в Париже. Ему разрешено было взять с собой валюту, автомобиль и восемь сундуков, он ехал с женой. В Москве его встречали с почетом, и в Киев он вылетел на аэроплане. С ним, кроме жены, был секретарь, англичанин, ведавший всеми его делами; в Москве же к нему был приставлен некто из филармонии.

Он остановился в самой лучшей гостинице (впрочем, довольно дрянной), когда-то называвшейся «Континенталь». Ему в номер из местного отделения наробраза сейчас же привезли концертный рояль Бехштейна. Обедал он у себя в номере, ночью не спал, капризничал, под утро впрыснул себе тайком от жены морфий и пролежал до полудня оглушенный. Днем к нему пришла депутация, спросить его мнение о советской музыке. Он сказал, что вся советская музыка вышла из одной его сюиты, так же как современная западная музыка – из его ранних вещей.

Вечером в переполненном консерваторском зале состоялся его концерт.

Марье Петровне не было обидно, что вот было время, и на всем свете, может быть, никто, кроме нее, не понимал и не ценил Тимофеева, и даже Боссман боялся его, а она не боялась. Теперь его слушали, затаив дыхание, не только те, которые за последние годы его знали и играли, но и те, которые лишь неделю тому назад узнали о его существовании. Марья Петровна сидела в одном из задних рядов, придетая в черное саржевое платье. Когда Тимофеев вышел на эстраду, что-то кольнуло ее, и боль продержалась некоторое время.

То, что он играл, – и ей это было странно – почему-то мало трогало ее. Ей было не до музыки уже давно, может быть, с того самого дня, как он уехал, словно все, что было в ней, он увез тогда с собой, ни в чем – боже упаси! – не виноватый. Это случилось само собой, никто из них этого не хотел, они ведь даже не были влюблены друг в друга. И если бы он помнил ее, он бы, конечно, пришел к ней сегодня утром.

Она недаром когда-то была, что называется, отличной барышней: она не пошла за кулисы смотреть на Тимофеева в антракте (он полулежал в кресле, растопырив пальцы вытянутых рук, приветливая суетливая жена никому не позволяла подходить к нему). Она сидела до самого конца и слушала очень внимательно, даже добросовестно, но она, по-видимому, кое к чему за эти годы охладела, и то сложное, что переливалось через край черного рояля, было ей чуждо. Она даже не задумалась над тем, обокрал ли ее кто в жизни, или она сама все раздала, или с самого начала у нее ничего не было.

СООБЩНИКИ

– Когда придет господин Маслов, вы проведете его прямо в детскую, – сказал Лев Иванович, и Марина, кухарка, которая в этот вечер надела черное платье и белый передник, чтобы выглядеть горничной, ответила: «Слушаю, Лев Иванович».

– Вы отведете его к Андрюше, последите, когда он захочет уйти, и проводите его.

В гостиной уже сидел первый гость и слышался резкий, искусственный смех Лели.

Лев Иванович потрогал бутылки во льду, приподнял теплую салфетку над кулебякой, взглянул на нарезанного гуся. «Она не поняла, – подумал он, – кто этот господин Маслов и зачем придет. Но все равно!» В прихожей опять позвонили.

Но это был не он, ему еще было рано. Это пришли трое сразу: муж, жена и любовник, объявив, что встретились в лифте, а через минуту еще и еще, так что то и дело возникавшие разговоры приходилось обрывать, жать руки, другие подносить к губам, улыбаться, пятиться и стараться отвечать впопад.

В эти первые полчаса Лев Иванович не успел ни разу взглянуть на Лелю, он только чувствовал, что она – ось, вокруг которой начинает вертеться этот вечер, который никак нельзя было отменить, несмотря на то что третьего дня заболел Андрюша. Сегодня был доктор. Воспаление легких. «Знаешь, по-моему, лучше перезвониться со всеми по телефону, отложить, – сказал утром Лев Иванович, – ему может к вечеру стать хуже». По Лелиному ли-

цу сдержанно, почти тайно, прошел быстрый ужас: «Все заказано, люди званы за неделю... Когда еще мы добьемся Родовского! (Родовский был опереточный певец.) А Андрюша мне дорог, наверное, больше, чем тебе». Андрюша был ее сын.

Лев Иванович промолчал. Это он пытался узнать – недостойно, недостойно, говорил он сам себе, – может ли Леля обойтись сегодня вечером без... он все забывал фамилию того человека, который с недавнего времени почти ежедневно ходит к ним и который так ему неприятен. Нет, значит, она уже не может обойтись без него. Хорошо. Запомним. Когда-нибудь понадобится. Используем.

Днем, часам к четырем, у Андрюши резко поднялась температура; он лежал на спине, в компрессах, красный, взъерошенный, непохожий на себя. И особенно странно было видеть его маленькие руки, чистые и без чернильных пятен.

– Дядя Лева, – сказал он сипловато, – мне чего-то хочется.

– Лимонаду?

Андрюша не ответил и тоскливо посмотрел в сторону.

– Сегодня четверг?

– Да. Четверг.

Лев Иванович вдруг мгновенно решил, что надо сделать.

– Тебе будет сюрприз, – сказал он. – Вечером.

По четвергам Андрюша ходил к отцу. Но вошла Леля, и они замолчали.

Леля положила длинную худую руку ему на лоб.

– Пожалуйста, не болей, – сказала она с обычной своей рассеянностью, – и постарайся уснуть. – И она поцеловала его.

Когда она ушла к парикмахеру, Лев Иванович позвонил господину Маслову на службу. Раньше, чем в половине десятого, он прийти не мог, у него была вечерняя работа. Но он два раза поблагодарил.

И вот теперь приходили гости. Этот новый с трудной фамилией, которую не мог вспомнить Лев Иванович, уже сидел подле Лели и рассказывал что-то веселое и, вероятно, лживое. В соседней комнате сели за карты. Родовский, громоздкий человек, приехавший почему-то во фраке, осторожно перекаладывал под неустойчивым столиком свои чудовищные ноги. Женщины, сидевшие в светлых креслах, шушукались не то про него, не то про еще что-то. А Леля все смеялась неестественно и возбужденно, и казалось, что платье ее с глубоким вырезом сейчас соскользнет с плеча, с груди, что оно только чудом держится на ней, и никаких тайн уже ни от кого больше не будет.

Был теплый апрельский вечер, окна были открыты, и господин Маслов, подходя к дому, залюбовался на электрическую зелень цветущих каштанов, росших прямо в окна четвертого этажа. Поднявшись по лестнице, он позвонил. В эту самую минуту Родовский, поставив лаковый башмак на правую педаль, взял свой первый густой аккорд.

Мариша никогда не видала Маслова до этого, но она поняла сейчас же, что это не гость, что это человек, даже не подозревающий, что в доме званый вечер. Перед ней стоял еще не старый, но какой-то уж слишком старомодный господин: и высокий котелок, и пальто, скроенное в талию, и палка с набалдашником были такого рода, какие давно отслужили приличным господам, какие по нынешним временам не во всяком магазине и купишь. Потрясенный бойкими куплетами и еще более бойким аккомпанементом, раздававшимися за стеклянной дверью, и нагроможденными в прихожей верхними вещами, господин Маслов силился, однако, сохранить в лице равнодушие, будто он ничуть не удивлен, будто он с самого начала все это предвидел.

— Вы к Андрюше? — спросила Мариша и, не дожидаясь его ответа и едва дав ему поставить палку в угол, повела его по коридору мимо ряда закрытых дверей. Он шел на

цыпочках, держа в руках котелок. Волосы у него оказались седым ежиком.

Лев Иванович сознавал, что это первый и, может быть, единственный раз, когда у него будет возможность услышать, о чем разговаривают между собой Маслов и Андрюша. Он увидит их вместе – это всегда казалось ему невероятным. Лев Иванович сквозь музыку, шлепанные карт, какие-то вскрики и хохоты слышал звонок, хлопанье двери и понял, что пришло время и господин Маслов проведен по коридору. Он встал, переставил пепельницы, протиснулся в столовую, а оттуда в спальню, где стоял запах духов, где было полутемно, куда в щель неплотно закрытой двери из детской падал оранжевый свет.

«Вот я подслушиваю, – тревожно думалось Льву Ивановичу, пока он напряженно тянулся ухом к голосу, очень тихо и неясно говорившему что-то за дверью, – и я не стыжусь этого, потому что знаю наверное, что нет на свете человека, который бы когда-нибудь да не подслушивал. Как нет человека, который хоть раз в жизни дрожащими руками не составлял кусочки чужого разорванного письма».

В том, что доносилось из детской, не было ничего необыкновенного, и только Лев Иванович мог волноваться, слушая этот самый простой разговор:

– Когда же ты эдак простудился, душенька мой?

– Я, папочка, – хрипел Андрюша, – был здоров, здоров. Потом пришел доктор и приложил мне к спине такое ужасно холодное ухо, что я сразу простудился.

– Ну, не говори так много. Я тут тебе принес...

Зашуршала бумага.

– Ну зачем ты! У меня все есть. Мне дядя Лева обещал, когда выздоровлю, подарить собаку.

Молчание.

– Если бы ты знал! Мама – ни за что, а он слово дал.

Молчание.

– А как ты думаешь?

Нина Берберова

- Лежи, лежи, не раскрывайся.
- (Поцелуй. Какой-то вздох.)
- Болит что-нибудь?
- Болит все. Но ничего, не очень.
- Тебе ничего не нужно?

Шепот.

Лев Иванович с сильно бьющимся сердцем отошел к окну, приподнял штору и стал смотреть на улицу. Да, настоящая весна! Еще одна. Так уходит жизнь. И пусть!

– ...он обещал какую захочу. Я думал – сенбернара или дога датского. Который больше? Уж если он обещал, то надо как можно громаднее.

- Он тебя балует.
 - Он меня любит. – Смешок, счастливый и короткий.
- Тягостная минута.

– А ты его?

– Ох, очень! Ты знаешь, он все понимает, Федька и тот столько не понимает. Вечером, сказал, тебе будет сюр-приз.

– Закройся, закройся! Разметался совсем. И не надо столько болтать, у тебя и так, наверное, сорок температуры. Отменить гостей не могли, что ли?

– На это была причина... – Смешок, кашель.

– Какая?

– Мосье Робер де-Э-пре-мон-тань-виль.

Лев Иванович хрустнул пальцами, ему показалось, что он сейчас возьмет да и смахнет все флаконы с туалета. В детской стихло. Он осторожно передвинул ноги, едва не зацепил стул и вышел.

– Там кто-то ходит. Посмотри, кто там, – сказал Анд-рюша.

Маслов неуверенным шагом прошел в спальню. Ему хотелось войти, зажечь свет, взглянуть на тень Лели, которая здесь живет, на зеркало, на кровать. Но и без того было ясно, что в комнате никого нет. Два света встречались на полу – из детской и из столовой. Накрытый стол был готов к ужину. Маслов увидел в его середине боль-

шую некрасивую серебряную вазу с фруктами, которая показалась ему знакомой.

И в эту минуту ему стало не по себе: он не струсил, он просто приготовился к тому, что его могут выпроводить отсюда. Он вернулся в детскую, еще и еще раз прижал к себе Андрюшу, как-то неловко и смущенно перекрестил его. В коридоре его встретила Мариша. Он зашаркал быстро, стараясь, чтобы она не увидела его взволнованного лица. У самой двери он вдруг вынул из кармана и подал ей монету в два франка – по старой русской привычке, вспомнив вдруг, что он в богатом доме и что так принято было когда-то делать. Она поблагодарила и взяла.

И как хлопнула дверь, Лев Иванович тоже отлично слышал.

– Не пора ли нам, – возвысил он внезапно голос, – не пора ли нам, господа, приступить наконец к более реальным удовольствиям? Лелинька, не выскажешься ли ты насчет ужина?

Все зашумели, загоготали, повставали со своих мест. Леля, блестя глазами, отводя свое колено от колена мосье Робера, встала и, задевая широким платьем мужчин, прошла в столовую.

– Пожалуйста, господа, – сказала она, и через минуту уже захлопали пробки, застучали вилки и ножи.

– Правда, что у вас болен сын? – спросила маленькая усатая гостья.

– У вас есть сын? – загремел Родовский, успевший положить себе в рот что-то горячее, черное, необыкновенно вкусное, которому названия он не знал.

– Очаровательный мальчик, – бархатно укрыл его голосом мосье Робер, – изумительный мальчик.

– Я, кстати, любящим оком взгляну, что он делает, – провозгласил Лев Иванович.

– Пойди, мой дорогой, – донеслось с Лелиной стороны.

Нет, отменить этот вечер нельзя было, конечно, как невозможно было отменить этот день, обнажившийся под вчерашним календарным листиком, как нельзя было

Нина Берберова

отменить всех когда-то сказанных слов и подступающих уже совсем близко событий. Как нельзя было отменить самого себя.

У Андрюшиной постели сидела Мариша и дремала, сложивши на коленях руки. Андрюша, розовый от жара, спал, рот его был раскрыт и сух. Лев Иванович постоял, посмотрел на него, нагнулся. Андрюша открыл сонные глаза, выпростал со вздохом правую руку из-под одеяла. «Ну как? Папа был?» – «Спасибо, дядя Лева». – «За что же спасибо? А маме ты лучше про это не говори». – «Ну конечно нет!»

И по тому, как он это сказал и как поднял два пальца в знак клятвы, можно было понять: «Мы в таком деле друг друга понимаем, и баб мешать в такое дело нам нечего».

СКАЗКА О ТРЕХ БРАТЬЯХ

Старший брат Дикера был художником, а младший – музыкантом. Оба живы и сейчас. У первого – фотография на Ривьере; в сезон он выносит треножник к морю, в тень пальмы, снимает купальщиков в воде, в песке, на лету. Младший играет на балалайке в большом кафе на Бульварах, разодетый в сиреневый камзол и сафьяновые сапожки. Один был художником, другой – музыкантом. Так случилось.

У старшего – жена и сын со странностями. Они ему помогают. У младшего семьи нет, но есть особа. Она иногда приходит в кафе, сидит и ждет его. Она тоже когда-то чему-то училась.

Лет двадцать пять тому назад было известно, что есть три Дикера: у старшего абсолютный глаз, у младшего – абсолютный слух, у среднего – абсолютный ум. И впереди мерцала жизнь, как черной ночью неведомый берег в огнях.

Средний брат, когда-то хорошо говоривший и даже что-то писавший, в семнадцатом году обнимавший и целовавший на Невском проспекте незнакомых людей, кончил тем, что лет десять тому назад приехал в Париж и сделал одно дельце, а затем купил за городом небольшой особняк, скромный, но комфортабельный. Он пробыл в нем все эти годы вполне спокойно, изредка задумываясь над тем, как именно в дальнейшем устроит он свою жизнь, и наконец решил особняк продать. Он решил уехать. Куда? Он и сам не знал. Он был один, время шло, жизнь шла и уходила. Будет он жить здесь или там, или попу-

тешествует немного – никого это не касается. Денег у него было достаточно, чтобы исполнять свои желания, которые были чрезвычайно... не то чтобы скромны, а как-то уж очень редки и слабы. Денег было достаточно, чтобы все еще интересоваться возвышенными пустяками: политикой, человечеством, прогрессом. Иногда ему даже приходили туманные и грустные мысли о том, что он мог стать чем-то вроде трибуна народного, или барда, или, скажем, совестью своей страны, да не вышло. Однажды, года два тому назад, приехал с юга старший брат, фотограф, высокий лысый господин в черном галстуке, с пальцами, выкрашенными в коричневую краску, и они пошли в то самое кафе, где играл младший. И от этих коричневых рук и сиреневого камзола нашла на среднего Дикера какая-то печальная злость. Он много выпил и оглянулся вдруг, пьяный, на собственную жизнь, на единственную, свою. «Да, – сказал он себе, – не сбылись абсолютные наши надежды, не сбылись». И почувствовал, что по необъяснимой, дикой неразумности своей он все еще дорожит этой жизнью, все еще ждет чего-то от нее, когда давно пора успокоиться, как успокоились те двое.

Итак, он решил продать свой особняк с небольшим палисадником. Первому пришедшему по объявлению он сказал, что снял в Париже квартиру и, может быть, еще женится. Второму он принялся говорить о Швейцарии и что поедет туда года на два. Потом пришел молодой человек с матерью. «В любой день, – сказал он им без всякого сожаления, идя по мокрой траве скучного палисадника, – вы можете въехать. Я переезжаю в гостиницу».

Но они не въехали, и прошел месяц, а особняк все еще не был продан. И тогда по второму объявлению появилось это семейство. В конце августа. Он запомнил этот день.

Стоя у окна в столовой и глядя на светлый дождь, средний Дикер увидел, как у калитки остановился автомобиль. Калитка никогда не запиралась. Три фигуры (или, вернее, три зонтика) гуськом пошли к дому – одна

побольше, другие две – поменьше. Дикер открыл дверь. Перед ним стояли господин с брюшком и бородкой и двое мальчиков.

– Не шуметь, – сказал господин строго, – зонты оставить на крыльце, ничего пальцами не хватать.

И так Дикер узнал, что они русские.

Он повел их по комнатам, в спальни второго этажа, вниз в кухню, где объяснил устройство прекрасной печи, из котла которой бежала горячая вода по всему дому. Спустились в погреб. Стройка была довоенная, погреб сухой и чистый. Вернулись в кабинет, посидели в креслах. И мальчики смиренно стояли по правую и левую стороны папаши.

Он думал довольно долго, задал несколько вопросов, опять молчал, и в тишине слышалось только сопение мальчиков да бряцание чего-то в кармане господина Грачева, куда запустил он левую руку. И казалось, напряжение в его благодушном лице происходит не от упорной мысли, купить или не купить дом, а оттого, что он никак не может чего-то распутать. Так и было: он наконец вынул связку ключей и высвободил самый маленький, попавший в бородку большого ключа.

И все-таки это были не шутки. Грачев еще раз прошелся по комнатам и по палисаднику, прежде чем уехать. Он сказал, что подумает. А вечером поздно, часу в десятом, он вернулся и привез задаток.

Теперь надо было Дикеру собираться. Здоровья он был прочного, возраста не старого, деньги у него на руках оказывались немалые, и был он свободен. Он мог выбрать Париж, Швейцарию, а может быть, что-нибудь и подалее. Он мог быть один или быть вдвоем с кем-нибудь навеки или, скажем, только на время, как заблагорассудится; он мог доставить себе много мелких удовольствий или даже несколько крупных. Но желания двинуться с места у него не было.

Сожаления к проданному особняку не было тоже. Он даже с некоторым удовольствием думал об оформлении

всего дела, которое было назначено через несколько дней. Он понимал, что таких особняков с мезонином, одним-единственным, правда, пышным вязом перед крыльцом и размытой дождями клумбой много, очень много на свете. Все это казалось в общем чужим от рождения и ничем не связывалось с ним. Никого отсюда не выносили хоронить, и никто здесь не родился, и сам он не стал здесь другим, разве что соскучился сверх всякой меры, и не по чему-нибудь особенному, а так. Когда он поехал в конце недели подписывать условие у нотариуса и получать деньги, ему стало даже весело при мысли, что он разделся с давно надоевшим обиталищем. А Грачев ударял мягким кулаком по мокрым гербовым маркам и затем вытирал кулак большим носовым платком.

Два дня после этого Дикер думал. Он шагал по комнатам долго, выходил иногда на двор, обходил вяз и клумбу, стоял у калитки, смотрел на улицу, по которой никто никогда не ездил и редко когда проходил. За углом была остановка автобуса, мелочная лавка с винной стойкой, от туда иногда доносились голоса. Шел дождик, ленивый, летний, теплый, подгнивала калитка, ржавел замок. И, скрипя сумкой, тяжелыми сапогами, усталый, невеселый, проходил почтальон.

Он стоял так, когда от автобуса, шагая по лужам в башмаках на пуговицах, в короткой пестрой юбке и с платком на голове, пришла прислуга Грачевых. Она приехала убирать дом, и Дикер, у которого уже больше месяца никто не убирал (готовил он всегда сам), сейчас же ей обрадовался. В кухне нашлись щетка, тряпки, кусок марсельского мыла. А после завтрака явились два полотера, два орловских молодца, и, невзирая на дождь, протянули в палисаднике веревку и бойко выбили большой ковер.

В доме приятно запахло мастикой и молодцами. В доме была наведена к вечеру чистота, и Дикер почувствовал, что он здесь лишний.

Надо было собираться, но куда и зачем? Он сказал себе, что решит это завтра, но назавтра у него не оказалось

времени: с утра прибыл рояль, потом опять приехала прислуга и привела с собой обойщика. Они что-то долго приколачивали в спальне; комната Дикера (которая должна была стать комнатой мальчиков) тоже постепенно начала преобразовываться, и он даже не смел в нее войти. Часов в шесть, сообразив, что барин с утра ничего не ел, прислуга заварила яичницу с ветчиной, и они оба вместе поужинали. Она рассказала ему, что барыня сегодня выпиывается из больницы, где неделю тому назад родила третьего, машину купили недавно, а квартиру в Париже продали, потому что тесна была квартира, хоть и заплатили за нее не то восемнадцать, не то восемьдесят тысяч в свое время.

– Завтра будут, – сказала она, объявив, что остается ночевать, – а вы когда же очистите?

«Очистить» действительно надо было как можно скорее. И ночью, когда в доме опять стало тихо, Дикер стал собираться.

Оказалось, впрочем, что его собственных, кровных вещей в доме было чрезвычайно мало. Он только теперь заметил, что жил здесь, как если бы снимал номер в гостинице, – костюмы, белье, башмаки, пять-шесть книг, альбом марок, которые он недавно начал собирать, бритва, мыло в мыльнице. Посуда оставалась, оставались занавески; старые газеты можно было наконец выбросить. И куда это Грачев спешит? Ну подождет бы недельку-другую...

В ящике стола были какие-то письма, фотографии, след давнего романа, в который он пустился с некоторой ленцой и который кончился оскорбительно для него. Не стоит вспоминать. Она была такая высокая, худенькая и курносая, ей было всего семнадцать лет, и надо было жениться, а это почему-то пугало его. Но сны о ней долго потом не давали ему покоя. И, конечно, снилось не ее обиженное лицо, не слова горячего негодования, которые она ему почти прокричала, а необыкновенной красоты и силы ее длинные ноги и то, как он однажды увидел, как от колена бежит шелковая петля чулка.

Нет, к утру было не успеть освободиться от всего этого.

Он долго жег в камине содержимое пыльных ящиков. Потом напихал все, что было в шкапу, в два больших чемодана, посидел над ними в раздумье, в тишине этого чужого, всегда бывшего чужим дома, незаметно уснул, сидя на постели, а рано утром отнес чемоданы в одну из низких пустых комнат мезонина. «Я, может быть, еще нынче переночую», – сказал он утром смущенно, и прислуга, распахивая буфет и выгружая оттуда какие-то соусники в паутине, ответила: «Как вам угодно».

Они приехали часов в двенадцать. Два грузовика привезли вещи; женщину, бледную, рыжеволосую, в широком синем дождевике под руки ввели в дом – она быстро и жадно озиралась. Дикер не успел разглядеть ее, кто-то уже носился по лестнице, внизу, в детской, весело и звонко кричал ребенок, голос самого Грачева раздавался то тут, то там, дом внезапно наполнился людьми, шумом, новым воздухом, потому что немедленно были открыты все окна. Сквозняки загуляли по гостиной. И Дикер, у которого от непривычной суматохи, впрочем, совершенно посторонней, билось сердце, то слушал у дверей, то смотрел в окно, и ему казалось удивительным, что есть еще на свете такая могучая, радостная, пчелиная или муравьиная в людях сила, а он-то думал, что давно все это кончилось у всех, как у него.

– Представь себе, он до сих пор не уехал! – сказал Грачев жене, отпустив перевозчиков. И, подняв крышку рояля, он задумчиво сыграл ей одним пальцем первые два такта «Чижика».

Жена Грачева лежала на диване и только и думала о том, как бы ей незаметно вскочить и обежать дом. Она сердилась, что ей не позволили двигаться, и все рвалась куда-то идти и что-то передвигать.

– Господи, как ты меня мучаешь! – время от времени кричал Грачев, бегая весь в стружках туда и сюда мимо нее, уже спустившей ноги с дивана. – Ты меня с ума сведешь!

И они целовались.

А мальчики устроили настоящий цирк внизу, у перил лестницы, по которым съезжали вниз, падая друг на друга прямо туда, где кухарка и нянька потрошили сундук.

Дикер спустился вниз под вечер, когда по далекому звону посуды догадался, что в столовой обедают. Он сам пошел за такси. «Я хотел бы проститься», – сказал он прислуге, поймав ее в коридоре с миской в руках. Вышел Грачев. За воротник у него была заткнута салфетка.

– Простите, что задержался, – сказал Дикер, – но я был не совсем здоров.

– Ммммм, – сказал Грачев, дожевывая что-то.

– Теперь разрешите проститься, – и Дикер подал руку.

– Ммммм, – сказал опять Грачев, как-то мучительно и нетерпеливо, но тут же вынул изо рта рыбную косточку, а остальное проглотил. После чего просиял.

Дикер поймал его руку и пожал ее.

– А у вас теперь три сына? – спросил он, и внезапно ему что-то вспомнилось. У кого-то тоже было три сына. Он не сразу вспомнил, у кого.

– Как же, три сына, – ответил Грачев. Подле автомобиля произошло замешательство с чемоданами, с дверцей.

– Послушайте! – вдруг крикнул Грачев, выбегая на крыльцо, и Дикер вздрогнул: неужели его позовут обедать... оставят... предложат ему?.. Боже, как он потом стыдился этой мысли!

– Послушайте, хорошо ли тянет камин? Хорошо? Ну спасибо! Это необходимо для домашнего уюта. Очаг. Необходимо.

И Дикер уехал. Куда? Не все ли равно? Важно, что он уехал.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СУВЕНИР

Запутанные семейные связи К-овых были таковы: бабушка, известный русский художник, современник Поленова и Сурикова, умер лет двадцать тому назад. Бабушка жила в Петербурге на пенсии, вместе с сыном, Яковом Ивановичем, женатым вторым браком, и внуками. Внуки эти были частью от первого брака Якова Ивановича, частью от второго. Кроме того, у его теперешней жены от первого мужа, профессора Красной академии, были свои дети, в то время как первая жена Якова Ивановича жила за границей, в Бельгии, была замужем и, конечно, тоже имела потомство. Бабушка считала своими внуками и этих бельгийских детей, и детей профессора Красной академии. Но вот от воспаления легких в прошлом году умер Яков Иванович, и выяснилось с несомненностью, что бабушка в доме никак не будет приходиться новому мужу своей невестки (доктору) и что ему *никак не будет приходиться* Вася, младший сын Якова Ивановича от первого брака, оставшийся еще в семье. Бабушка пошла хлопотать. Было ей восемьдесят семь лет, последние двадцать пять лет она ничего себе не шила и носила все те же три юбки (две нижние и одну верхнюю), которые когда-то купила, еще перед мировой войной, в Гостином дворе; суконная шуба ее была в больших заплатах, а на голове был намотан дырявый пензенский платок.

– Бабушка хлопотала и за себя, и за Васю, – говорила, сидя в Брюсселе, на восьмом этаже маленькой, в пестрых обоях квартиры, первая жена Якова Ивановича, Васина мать, а Гастон Гастонович, имевший во втором этаже то-

го же дома контору, слушал ее, куря сигару и прохаживаясь по комнате. – И бабушка схлопотала Васе заграничный паспорт.

– И вы желаете, чтобы я его привез? – спросил Гастон Гастонович. Что-то весело запрыгало у него в груди, и глаза его увлажнились.

Гастон Гастонович носил длинные седые усы, атласные галстуки и просторные костюмы, какие носят в Европе только два народа – бельгийцы и швейцарцы. Ежик на его голове был так густ и блестящ, что знакомые дамы иногда просили позволения его потрогать, и он с удовольствием, урча, наклонял голову и долго улыбался усами и глазами. Он прожил в Петербурге восемнадцать лет, был одним из директоров Бельгийских заводов, потерял капитал, вернул его в Бельгии и теперь отправлялся в путешествие на комфортабельном пароходе, в экскурсию «по северным столицам» – так назывался маршрут, по которому Гастон Гастонович решил проехаться.

– Теперь заметим, Мария Федоровна, я взял оригинальный ваканс, – сказал он, с аппетитом глядя на принесенную из кухни сковородку, – и я превосходно вполне могу привезти вам вашего сына.

На сковородке что-то приятно шипело. Мария Федоровна одной рукой держала ее в воздухе, а в другой руке у нее была дымящаяся папироса в длинном мундштуке.

Там была его молодость, в этой беспокойной, всеми оставленной теперь стране. Там была его молодость, там жила когда-то Оленька, умершая от родов, жена его товарища по Бельгийским заводам, которой он так никогда и не сказал о своих чувствах – был сентиментален и робок. Туда поехал он когда-то молоденьким франтом и стал бы непременно главным управляющим, если бы не пришлось бежать. Сначала он терпел, он слишком многое любил там. До двадцать первого года он терпел, бодро поедая со всеми вместе осьмушки кислого хлеба, пшено, турнепс. Потом уехал. И как же ему бывало скучно в первые месяцы в этой сытой, в этой удобной Европе, где

можно было мыть руки, когда хочется, и если потерял запонку – купить другую!

«По северным столицам». В плетеном кресле сидя на палубе, он читал толстую книгу «Обучение полицейских собак. Том II. Убийства городские и сельские», изредка поглядывая в ту сторону, где молодая англичанка в брюках, похожая на что-то виденное в кино, окруженная мужчинами, дрессировала крошечную свою собачку. В Стокгольме, в ночном ресторане, куда их повезли, она была в бальном платье, и он протанцевал с ней один фокстрот, положив ей руку на голую лопатку. Рукав его смокинга до сих пор пахнет ее духами. В Риге, где старый город показался новее нового, она снялась с ним и попросила позволения потрогать его ежик. Гельсингфорс. Это там, где он поцеловал ей руку.

Утром вошли на буксирах в ленинградский порт. Все было голубое. Города не было, была вода: Нева, гавань, берега одного уровня с волной. Медленно просочилось наконец солнце в эту муть, в пар, снявшийся с земли постепенно, отошедший и вставший у Кронштадта. И вдруг обнаружился золотой шпиль, бледный и тонкий, и далекий купол забытого собора.

– Господа, – сказал капитан, – утром – прогулка по городу, после завтрака – Эрмитаж. Вечером – «Спящая красавица». Завтра – антирелигиозный музей и фарфоровый завод. При покупке сувениров обращаю ваше внимание на кустарные вещи Палеха. В театр прошу ни смокингов, ни вечерних платьев не надевать.

Сувениры покупались тут же, в порту, в нарочно для этого сооруженном бараке, где за деревянный портсигар и ситцевый головной платок Гастон Гастонович заплатил своими бельгами. Пахло морем, Антверпеном, ничем особенным, но что-то кричало в нем, глаза сморгнули слезу, когда синий длинный автокар повез их в город. Он так сел, чтобы видеть не англичанку, а улицы, дома, людей и мысленно им говорить: «Вот я. Я вернулся немножко, пожалуйте. Я люблю вас. Ах, здравствуйте!»

Он никак не думал – добрейший, спокойнейший, – что худенькая и другие будут его раздражать немножко своими замечаниями. «Черт возьми! – захотелось ему сказать, – это же вам не Копенгаген, не Стокгольм! «Красуйся, град Петров, и продолжай стоять...» Это – особенный город», – но он сдержал себя и только смотрел на пустоватые чистые улицы, на грязные дома (это сочетание было поразительно), на что-то бедное и такое рядом когда-то нарядное. Безногий нищий на утюгах, под дождем, у бронзового, сверкающего в этом дожде монумента – таков был образ этого города.

Дав на чай гида, он остался в городе один, и один вернулся на пароход на троллейбусе. Ни на кого не глядя, прошел в свою каюту. «Боже мой, – сказал он вслух, – этот Васильевский остров! Этот Средний проспект! Эта бабушка!» Он лег на койку, красный, сердитый, сжав кулаки, мотая головой влево и вправо, точно что-то мешало ему. Он никак не мог изничтожить в памяти то, что было перед глазами. Дом. Квартира. Мальчик. Женщина. Младенец, плакавший за занавеской. Кухонные запахи, и крик, и грохот этой жизни, которую он подсмотрел.

На следующий день, к вечеру, и бабушка, и Вася уже были в порту, когда синий автокар вернулся с фарфорового завода.

Надо сказать, что бабушка была вырезана из того старого, темного, крепкого и корявого русского дерева, из которого вот уже лет сто вырезаются русские старухи. В огромном кармане, вшитом в самую первую юбку и висевшем у нее под правым коленом, хранила она все необходимые для жизни, для смерти, для путешествия Васи и для своего с ним расставания бумаги: документ, подписанный очень высокой персоной (в свое время схлопотавшей бабушке пенсию), удостоверяющий, что именно она есть вдова знаменитого русского художника; другой документ, что Вася есть именно внук этого художника. Третий – о том, что ему разрешается выезд за границу, к матери. Потом шли старые, желтые, мягкие, как тряпки, бумажки и другие, новые, хру-

стящие, решительно на все случаи жизни: разрешение на общение с бельгийским подданным Ванбруком Гастоном; разрешение явиться в порт к отплытию бельгийского парохода «Леопольд» и, наконец, короткое уведомление, что ей самой, такой-то, восьмидесяти семи лет, не разрешается покинуть пределы Советского Союза.

Мальчик был выше нее на целую голову: он был толст, румян, спокоен; смотрел огромными железными очками. На нем были детская соломенная шляпа и грязные парусиновые туфли. «Ты, бабка, погляди, до чего у них все начищено, – говорил он басом, – а куда это у них лесенки ведут, а, бабка?»

Она стояла на берегу, держа в руках последнюю бумажку, пропуск из порта, без которого ее могли не впустить обратно в город, и не мигая смотрела зоркими, маленькими, красными глазами на сизое море, тающий день и уплывающий пароход. А близорукий мальчик, вытирая рукавом нос и сильно им шумя, смотрел в тот же туман, но с обратной стороны, уплывая и принимая за бабку то мешок, то бревно, то грузчика, шевелившегося на берегу. И такое все было соленое, и глаза не могли никак удержать того, что текло.

– Уйдемте отсюда, пожалуйста, – сказал Гастон Гастонович. Ему было стыдно, но совсем не Васи с его узелком перед всеми этими иностранцами, а иностранцев самих, потому что они рассуждали о балыке и фарфоре, ничего в них не понимая, о сувенирах, которые ведь ничего никому не напоминали и не напомнят в будущем, кроме захода в этот чужой для них город, только в Гастоне Гастоновиче разбередившем какие-то неуместные, милые и грустные фантазии. Здесь жила Оленька. И будем думать, что она любила его, что то нежное чувство, которое жило в нем когда-то, имело плотность, получило хоть некоторый ответ, что Оленька была не чужой, но его, его, его женой и умерла, рожая его ребенка.

– Такие есть книжки, – говорил Гастон Гастонович, чувствуя, что не умеет ни занять, ни рассмешить мальчика, отвернувшись в угол каюты, чтобы мальчик уже без

стеснения мог переодеться в его теплые целые носки и новый свитер, – такие есть картинки в них: мальчик с оригинальным, как у вас, небольшим багажом едет в чужую страну для своей судьбы, пожалуйста. Корабль. Море. Может быть – Америка...

Вася молча дышал за его спиной.

– Это Диккенс или Марк Твен, – выговорил он вдруг и сконфузился.

– Вот именно. Что-нибудь такое. Можно мне обернуться?

Глубоко внизу стучали машины, пароход шел и шел под тихую музыку, игравшую где-то в гостиных. Гастон Гастонович смотрел на мальчика и не знал, что ему сказать, что сделать от непонятого, счастливого волнения.

– В сапожном магазине, – начал он, – куда мы с вами пойдем в Антверпене покупать башмаки, вам будет очень интересно: вам наденут обувь и поведут к аппарату, и там покажут скелет ваших пальцев, чтобы узнать, правильно ли они лежат. Зажгут – чик-чик, – и вы увидите кости.

Вася заметно испугался.

– Это совсем не страшно! – крикнул Гастон Гастонович, чувствуя, что больше не может говорить тихо, – я буду тут... А потом мы пойдем кушать.

– Что? – спросил Вася быстро.

– Все. И сейчас нас тоже позовут обедать. А пока... – Он схватил Васю за плечо. – Возьмите себе это.

И он сунул Васе в руку свое самопишущее перо.

Внутри него что-то пело на все голоса. Оленька могла родить ему сына. Где его платок? Ах, почему он не носит очков, в очках все это было бы не так заметно!

Вася пристально посмотрел на него, сглотнул что-то.

– Спасибо, господин... простите, не знаю вашего имени-отчества, – сказал он, – эта штучка, наверное, ужасно дорого стоит, – и он зажал перо в кулаке.

Но Гастон Гастонович не слышал его слов: внутри него уже гремело, как духовой оркестр, и мешало сердцу стучать как надо.

Нина Берберова

– Хотите бонбон? – спросил он с усилием, вынимая из кармана душистый леденец в бумажке.

– Я непременно еще раз поеду «по северным столицам», – говорил Гастон Гастонович своим клиентам (знакомых у него было мало, родственников не было). – Я слишком мало успел увидеть, два дня всего: водили нас в музей, повезли в балет. Показали фарфоровый завод... Кроме того, я был занят, у меня там было одно важное дело. Я хочу непременно еще раз, и без всякого дела, и ничего не осматривать, просто так, для удовольствия собственного, пожалуйста, ведь я не турист, я, знаете, еду туда, как к себе домой немножко. У меня там даже есть одна знакомая дама, вдова известного русского художника, современника Поленова и Сурикова, очень интересный человек. И вообще, знаете, это такая страна, в которую время от времени необходимо возвращаться...

1937

ЕГО СУПРУГА

Обыкновенно он приезжал раз в год, в декабре, видимо, по делам, но старался захватить и праздники, так что Рождество у нас было полно подарков, а Новый год, пьяно и шумно встреченный, становился нашим с ним прощаньем. Выспавшись, оправившись от десятичасовой гульбы, числа второго-третьего мы узнавали, что он отбыл. Писем он не писал; вспоминали его до конца месяца, а потом имя его приходило на ум все реже. Весной и летом о самом его существовании, казалось, невозможно было помыслить. К ноябрю, когда возникал первый намек на приближающиеся Святки, кто-нибудь из нас говорил:

– А что же, господа, Осип Иванович? Вот бы хорошо, если бы к Рождеству появился Осип Иванович!

И ему отвечали:

– Ну, конечно, он непременно будет опять, наш дорогой Осип Иванович.

Он появлялся, предупреждая о себе почтой и телефоном. «Я опять здесь, ура! Ура!» – писал он в открытке, взятой из его коллекции и изображавшей либо «Подвиг городского Тяпкина 8 ноября 1868 года» кисти Н. Сверчкова, либо «Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу во время болезни» кисти Семирадского. Он звонил Надежде Николаевне и спрашивал про Александру Ивановну, Мартына Петровича, Аполлоновых, Яшу Фестмана; потом звонил Александре Ивановне и спрашивал про Надежду Николаевну, Мартына Петровича, Аполлоновых, Мишу Фестмана. В то же утро он добивался Яшу на службе и спрашивал его про Надежду Николаев-

ну, Александру Ивановну, Аполлоновых, потом звонил Аполлоновым и так далее. Все узнав перекрестным допросом, он приходил, и веселиться собирались все, рассказывались вокруг стола, разбирали чашки чая и замирали с улыбкой восторга на лице.

С ним в жизни, вероятно, случилось не больше происшествий, чем со всеми нами. Но в то время, как у каждого из нас, так сказать, в саду его жизни росли обыкновенные экземпляры, он умел выращивать из тех же семян нечто такое махровое и яркое, что должно было бы, по справедливости, носить его имя, как абрикос ван Демена или черешня Эльтона.

– Ах, Осип Иванович, Осип Иванович, – восклицали дамы, – ах, дорогой наш Осип Иванович, как бесконечно интересно, как необычайно оригинально все, что вы нам рассказываете!

И действительно, черт его знает, откуда брал он свои рассказы. Все, что он говорил, делал, чем в жизни был, носило в себе отпечаток чего-то особенного. Найдутся люди, которые скажут (с таким видом, будто проглотили лимон), что все это недорого стоит, все эти беседы за чайным столом, за – как его? – самоваром, что если ахают дамы, то это всегда подозрительно, что этот Осип Иванович просто болтун, самовлюбленный господин, что «человека» он, например, может и не заметить, что – и так далее. Конечно, в этом суждении будет доля правды, хотя бы уже потому, что Осип Иванович любил себя слушать, обожал дамское общество и хоровое пение. Но я должен предупредить, что Осип Иванович отнюдь не был ни адвокатом, ни общественным деятелем. Он... впрочем, я в точности не знаю, кем он был.

Впечатление производил он человека весьма образованного и собой красивого. В сравнении со всеми нами он был богат. Ему одно время принадлежала гостиница в каком-то курорте (где он сам никогда не жил), потом там же – игорный дом. Одно время в Берлине он купил кинематограф и, никогда в Берлине не бывав, владел им. В Лон-

доне, где он жил, была у него контора, он покупал и продавал товары, никогда их не видя.

Елку зажигали в сочельник, у Аполлоновых, и под елку клал он свои подарки. В перевязанных ленточкой пакетах непременно находились две-три пепельницы, окантованная картинка на английский сюжет, седьмой или семнадцатый том Диккенса, пара вязаных перчаток и какая-нибудь кружевная штучка для хозяйки дома из ирландских кружев, причем и она, и мы все сначала принимали штучку за что-то, что можно было надеть на себя, и только потом, при общем смехе, оказывалось, что надеть ее на себя нельзя, а можно подстелить на стол под какую-нибудь тарелочку.

Свечи горели. Пахло вкусно тем русско-немецким детским духом, который всегда идет от елки и которым мы дышим один раз в год, и то только ради детей и гостей. Осип Иванович, в чудно скроенном костюме, дивном галстуке, выбритый до дымчатой матовости и приглаженный на прямой пробор, с алчным любопытством вскрывал преподнесенную ему всеми нами коробочку. Там находился каждый раз какой-нибудь предмет, так или иначе связанный с путешествием, намек, что Осип Иванович скоро нас покинет: перочинный ножик в кожаном чехле, кожаный футляр с крючками для ключей, сафьяновый конверт для железнодорожного билета. Осип Иванович на мгновение замирал от восторга, потом вскрикивал, целовал нас, целовал дам, хлопал хлопушкой и непременно что-нибудь вспоминал по поводу обнаружившейся вещицы.

После ужина, шампанского, догоревших свеч и бесконечных историй мы принимались за нашу любимую игру. Научил нас ей Осип Иванович, и он же бывал «судьей», потому что судьей должен был быть человек очень много знающий. В первый раз мы взяли в действующие лица самих себя, затем брали знакомых, брали родственников, сослуживцев, словом, уславливаясь заранее, брали, кого хотели, вернее, *имена и отчества* их, причем игра

состояла в том, чтобы найти литературного героя с тем же именем и отчеством, за что ставились баллы. Никому при этом не возбранялось брать с полки классиков и рыться в них. Время, однако, засчитывалось строго.

И так постепенно выяснилось, что Надежда Николаевна была из Гаршина, а Александрой Ивановной звали старшую дочь генерала Епанчина в «Идиоте», Мартын Петрович был «Степной король Лир», а господин и госпожа Аполлоновы вместе трогательно попали к нам со страниц «Гранатового браслета». Сам Осип Иванович говорил, что находится где-то у Мамина-Сибиряка, но что он забыл, где именно. Помню, мы несколько часов рылись в пыли приложений к «Ниве», но так ничего и не нашли.

К часу ночи усталые, потные от умственных усилий, с блуждающим взглядом, мы поникали, и только изредка кто-нибудь еще хлопал себя по лбу, вскакивал и бежал к полкам.

– Был такой... Как его?.. Этот, который написал, – но попадались все какие-то Мавры и Макриды, Африканы, Кифы и Акакии.

Незаметно щеточкой пригладив по обеим сторонам лба черные свои пряди, Осип Иванович приступал к последней части вечера, уже давно перешедшего в ночь, и принимался за анекдоты. Мы снова окружали его. Анекдоты были архиерейские, еврейские, армянские, советские, солдатские и шотландские. Мы ложились головами на стол, всхлипывая, валились со стульев, падали друг на друга, дамы кричали, стонали, кудахтали, просили обождать, просили дать им носовой платок из сумочки. Осип Иванович бил без промаха, не переставая, сам не хохотал, а только улыбался нашему веселью.

– Подождите, я запишу! – кричала «из Гаршина».

– Все равно забудете, – рыдая, махал руками Король Лир.

– Я пошлю Сонечке в Ниццу, она обожает. Дайте карандаш.

– Сонечке Мармеладовой или Сонечке из «Войны и мира»?

– Или Сонечке из последнего романа генерала Чегодаева?

– Да нет же, Сонечке из повести Прикатиной!

– Ах, замолчите, замолчите же наконец, голубчики! Осип Иванович еще что-то хочет рассказать.

Часа в три ночи Осип Иванович обыкновенно шел звонить по телефону в отель, узнать, спит ли жена. Возвращался он от телефона, улыбаясь нежно и грустно: не спит, ждет. Надо ехать. Мы выводили гурьбой в переднюю, внезапно стихнув, подавали ему шубу, шляпу, трость. Он говорил на прощанье еще что-нибудь залихватское, эдакое, в самую точку, чего обыкновенный человек никогда не сказал бы, широко жал нам руки, а иных целовал и уходил. И тогда мы тут же, в передней, присев кто на чем, долго и глупо старались догадаться, какая у него жена.

– Быть женой такого человека! – говорила одна из наших дам. – Да он подавит, совершенно подавит, раздавит. С ним и умница покажется дурой. Она права, что нигде не появляется.

– Ничего подобного! – говорила другая, – она, верно, просто не нашего круга. Гении очень любят жениться на кухарках. Он держит ее для удобства. Женщин он может иметь каких угодно, сколько угодно. А дома что-то такое бессловесное, кроткое... Я его понимаю.

– И все-таки это странно, женат пятнадцать лет и никому ее до сих пор не показал, – говорил Аполлонов, – вдруг она красавица и он ее от ревности прячет? Или вдруг она ненормальная?

– А вдруг, господа, у него вообще никакой жены нет?

Но на следующий день все эти домыслы бывали забыты. Помню, в последний свой приезд он явился однажды утром и объявил, что внизу ждет автомобиль, согласный везти нас всех восьмерых куда-то за город, осматривать какую-то крепость. Вечером мы отправились в театр, а на

следующий день он внезапно уехал. В отеле на наш вопрос ответили, что господин был вызван телеграммой и выехал утренним поездом.

Его супругу мы имели честь увидеть в первый (и последний) раз спустя месяц после его кончины. Он умер внезапно не то в Ливерпуле, не то в Манчестере, где собирался сделать какое-то дело, купив торговый пароход и перестраховав его. Он был разорен и мечтал как-нибудь выпутаться, но выпутался самым безнадежным способом. Она же прибыла в Париж месяц спустя.

Мы собрали между собой сотню франков и отправились к ней, узнав, что она остановилась в скромной гостинице на левом берегу Сены, я и Фестман. Аполлоновы с тремя детьми ожидали нас на углу, в кафе, на всякий случай, если понадобится помощь.

Мы хотели сказать ей так: мы, друзья и почитатели Осипа Ивановича, узнав о случившемся с ней несчастье, собрали эту скромную сумму, дабы свидетельствовать ей наше уважение, ибо она, вероятно, нуждается. Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы найти ей работу, мы можем даже, если нужно, схлопотать ей пальто.

В приемной комнате отеля на камине лежали ракушки, из которых улитки были давно съедены, на окнах и креслах висели какие-то сети, вышивание прелестной женской ручки. В полумраке открылась дверь, и вошла довольно высокая, темноволосая, скорее полная, чем худая, женщина в бархатном платье, отделанном кружевами, маленькая сильная рука крепко поздоровалась с нами.

— Мне очень приятно видеть вас, ведь Осип Иванович очень любил, кажется, своих парижских друзей? — сказала она, и этот голос не приблизил ее к нам, а отдалил ее от нас, а воздух вдруг заволокло духами. — Мы в Париже проездом. Алеша! — позвала она. — С Алешей мы живем в Риме, он учится там живописи. — Вошел молодой человек с симпатичным лицом и белыми сплошными зубами.

— Аполлоновы тоже сочли бы за счастье быть представленными, — начал я.

– Очень будет приятно. Когда-нибудь в другой раз. Мы здесь ненадолго. Алеша любит верховую езду, и в Риме он каждый день упражняется, и Парижа он не любит. Но главное для него – живопись. Осип Иванович живописи не любил и не понимал, он любил только копии и в музыке – духовой оркестр. В Европе его цельную натуру не все как будто оценили.

Молчание.

Она улыбнулась.

– Он ведь каждую Пасху к вам приезжал? Он вас очень любил. А теперь простите, нам с Алешей надо выйти. Правда, Алеша?

Алеша поклонился и слегка шаркнул ногой. Мне показалось, что в нем есть что-то военное.

– О да, мадам, – вдруг сказал Яша Фестман, – и нам тоже.

Она опять улыбнулась, но на этот раз снисходительно!

– Меня зовут Анна Аркадьевна, – сказала она, и встала, и поправила один из темный завитков, выбившихся из прически.

Потолкавшись между кресел, мы ушли.

Аполлоновым и остальным мы роздали собранные деньги и долго потом гуляли вдвоем по улицам в каком-то тумане – где живые и мертвые, настоящие и придуманные люди гуляли с нами вместе.

КРЫМСКАЯ ЭЛЕГИЯ

В Негорелом стояли долго. Была ночь.

«Надо было лететь, лететь до самого Тушина. Как всё это долго!» – думала Юлия Болеславовна З., всматриваясь в черное окно, ища под фонарями, в теплом июльском дожде, русских таможенников и волнуясь. Чемоданы она отперла, приготовила паспорт и вышла в коридор вагона, где было свежо и где слышалась французская речь. Это молодой дипломат с женой ехал из Парижа в Москву. «Верь моему нюху, – говорил он весело, – она пахнет хорошо, но не Парижем. Это – Вена, это – Будапешт, Варшава, Румыния – что хочешь». Юлия по-французски не понимала и не догадывалась, что говорят о ней.

Она положила свои полные руки на ребро спущенного окна, смотрела пристально в дождь и как бы видела себя обратно: из этой черноты в яркой раме вагона. В одной газетной рецензии недавно (по поводу возобновления «Севильского цирюльника») было написано, что она становится «все тяжелее и прекраснее». «О чем вы хлопочете? – сказал ей доктор, – все Розины, Маргариты и Джульетты толстеют к сорока годам».

Корсет на ее теле оставлял красные полосы; когда она взбегала по картонным ступеням искусственной луной освещенного веронского балкона, она задыхалась; первый тенор, милый, верный, давний друг, однажды пошутил, сказав, что в сцене объятия в «Фаусте» она боковым ломам кажется и шире, и выше него. И хотя соперниц у нее не было, и даже далеко впереди не было их, потому

что в консерватории вовсе не слышать было колоратурные сопрано, ее беспокоило то, что она становится рыхлой, капризной и скучной.

Доктора, по ее мнению, не понимали ничего. Она обошла их всех в городе и вернулась к первому, знавшему ее уже лет пятнадцать.

– Пани, где вы родились? – спросил он, внимательно на нее глядя.

– Далеко, доктор. В России. В Крыму, зачем вам?

– Новейшая теория: вернуться туда, откуда вы. Никаких болезней у вас нет. Но нервы... Поезжайте в Крым. Чудный климат. Вы поправитесь, пани, человек должен когда-нибудь возвращаться на свой огород, как всякая овощь.

– Но позвольте, когда же овощь?.. Я хотела ехать в Мариенбад.

– Не надо Мариенбада, пани. Поезжайте в Крым. Ведь вам не опасно? И вы сделаете такую моду!

Она не сделала моды. Но страшно ей не было, и прежде всего потому, что она была ужасно левая: муж ее был левый депутат в сейме, и в доме ее бывала вся оппозиция. Бывал, между прочим, и толстенький полпред с супругой, тоже толстенькой и певшей по-московски. Только было немножко смешно ехать за границу – не за *ту*, а за *эту*.

Так она стояла в вагоне, пока французский голос за ее плечом разбирал ее прическу, платье, туфли – такое все скромное, серенькое с синим, у себя казавшееся последним криком, в Крыму оказавшееся неслыханной роскошью. Наконец, пришла власть: курносые, веснушчатые лица, бритые головы, дегтем смазанные сапоги. Она дрожащим от радости голосом поговорила по-русски: до семнадцати лет она прожила в России.

Семнадцать лет в семнадцатом году, выхлопотав польские бумаги, с отцом, инженером на линии, и двумя маленькими братьями она уехала, и с тех пор прошла, в сущности, вся жизнь – безоблачная, полная трудов и успехов.

Теперь она смотрела в окно русского поезда, ничего не было видно, был мрак июльской ночи, но в этом мраке представлялся ей горизонт ширины необъятной, уже какой-то не европейский, жесткий, прямой горизонт. Она задремала, а когда открыла глаза, телеграфные провода в белом густом небе то взлетали, то падали вниз, и стучало в колесах какое-то русское стихотворение.

Это из детства. И она глубоко вздохнула, слушая и вспоминая. Припомнился ситцевый передник, который повязывала ей мать (а соседские дети кричали ей вслед: католичка в фартучке). Припомнились огромные, тяжелые яблоки, которые привозил отец из поездок, и ночи, когда мать, озабоченная и счастливая, ждала его. Встала в мыслях во весь свой сверхъестественный рост Божья Матерь из розового гипса, в голубом плаще, в глубине костела, куда ее девочкой водили и где она до последнего дня пела с органом.

Она опять пожалела о тушинском аэродроме на московском вокзале, где с большим трудом добилась носильщика и извозчика, повезшего ее через весь город на станцию Курской железной дороги. Москву она откладывала на потом, на «после Крыма»: музеи и мавзолей, образцовые рабочие дома и посещение Неждановой, которая все еще была жива и к которой у нее было письмо.

Скорый Москва–Симферополь отошел под вечер, и она, покуда еще он стоял, успела поговорить бойко, хотя и не совсем правильно, с двумя соседками, а в пути, таком длинном-длинном, дать им снять выкройки со своих панталон и лифчика. Последняя ночь была лунная, чистая. В южном прозрачном серебре плавился полный месяц. Там, за текущей вдоль поезда степью, за холмами, лесами и реками начиналась совсем новая, теплая, морская страна.

На что она была похожа? Если вспомнить... Сейчас же от вокзала начиналась бойкая торговая улица, потом шла аллея, Бульвар; дамы с кружевными зонтиками, лимонад в киоске, собакам и нижним чинам вход воспрещен. Дальше шли благородные кварталы: их дом, женская гим-

назия с правами, костел, управление железной дороги, лавки, где ей покупали шотландку на юбку и тарлатан для кукол. На всех углах жили какие-то Раечки, Манечки, Ниночки, с которыми она дружила и секретничала. Влево от вокзала сбегал по горбатым переулкам греческий и татарский городок. И все вместе окружало своим шепотом синее-синее, теплое, огромное, всегда шепчущее море, полное тогда турецких миноносок, и нельзя было зажигать огней на берегу.

– А вот это я в «Ромео», – говорила она соседкам, вынимая из саквояжа открытки, – а саквояж этот стоит на ваши деньги... сейчас сосчитаю... А это модный губной карандаш... Да возьмите его себе, если нравится!

Было раннее утро, когда она сошла с поезда. Татарчонок, похожий на Мустафу из «Путевки в жизнь», снес ее вещи в «санаторий для ответственных работников», в котором останавливались интуристы. Это было пятиэтажное с плоской крышей белое здание в пальмах и кактусах, где ей отвели номер (пополам с уже жившей там мужеподобной старухой). Она села на постель, отдышалась, потом умылась, повязала голову шарфом, надела на ноги сандалии и ушла.

Москву – потом, на обратном пути, и санаторий этот – тоже потом, завтра, скажем, и даже номер свой – будет еще время рассмотреть. Она что-то спутала и не сразу попала на широкую пыльную окраинную улицу, спускавшуюся к кладбищу. Дома были такие ветхие, крошечные, и деревья игрушечные, пыльные, совсем не совпадали с теми, в памяти. Там все оставалось таким пышным, широким и грустным, черный катафалк и клячи в перьях. Она шла долго, становилось все жарче. Дома сменились заборами. У чьих-то ворот она подала гривенник голому малышу. Наконец, в пыли, вдали, в уже начавшем дрожь и сверканье зное, мелькнули ворота.

Два кипариса возле монумента благодетелю, основанному в городе костел, дорожка в белом цвету. Трава, трава, сквозь холмы, кресты и плиты, и ничего не най-

ти, сколько ни отсчитывай шагов. Все пошатнулось, заросло и смешалось навеки. Ни роз, ни латыни над матерью, только кричат, поют, щебечут птицы... Какое ребячество было думать, что можно приказать здесь что-то выкопать и увезти с собой! Тут, если бы не эти птицы, слышно было бы, как молятся мертвецы – кто Ченстоховской, кто Краковской... Она вынула маленький батистовый платок, прочла «Отче наш», постояла немного. А на обратном пути уже не было проходу от голых пузатых малышей, она раздала всю мелочь и решила написать отцу, что нашла все в полном порядке и даже посадила анютины глазки.

Дети проводили ее до города, до тех мест, где начинались мостовые и каменные дома. Она шла куда глаза глядят, может быть, ища Екатерининскую, бывшую Екатерининскую, там, в переулке, они жили. Но от проспекта отходили все какие-то Карла Маркса и Революции, и она свернула наугад и вдруг узнала угол: в тупике, невероятно старый, осевший на фундамент, обнаживший свои темные каменные язвы, стоял костел.

«Так бывает во сне», – подумала она. Но она знала, что это была явь, потому что все было то и вместе другое. На круглой площади рабочие в балахонах и тюбетейках рубили единственное дерево, и оно кряхтело и не давалось, и так и не далось, пока она входила в маленькую отпертую дверь. В прозрачный, чистый зной пахнуло из-под сводов (совсем низеньких, потому что она теперь была такой большой) сыростью и вечностью.

Из щербатой каменной чаши зачерпнула она воды. Шагу ее ответило эхо где-то в трубах органа. Все было пусто и глухо, и только линючие, яркие бумажные розы гирляндой вились над престолом, спадали на черную бронзу каких-то предметов, которые она со свету не различила. Осторожно, боясь, что тут-то под ее ногами и рассыпятся эти черные ступени, она не спеша взошла на хоры и оттуда, со своего места, увидела розовую Мадонну в голубом плаще, желтую женщину в серой хламиде

с разбитыми босыми ногами. Вот за выступом сейчас будет пюпитр. Тут она пела, когда не было колоратуры, ни даже обыкновенного сопрано, а так себе, детский, очень звонкий, совершенно неутомимый голос. И верно: стоял пюпитр, и на нем лежали ноты. Она шевельнула переплеты, она узнала их, она потрогала «Ave Maria» Шуберта, положила на нее ладонь и надолго задумалась.

Внизу раздались легкие шаги босых детских ног. Она выглянула. Мальчик лет четырнадцати вошел и поклонился алтарю.

– Эй, послушайте!

Он поднял голову.

– Что, здесь бывает служба?

Он не сразу ответил:

– Нет. А вам что?

– Почему?

– Потому что запретили, и ксендз сторожем в кооперативе.

– А почему же розы?

Он помялся:

– Тут иногда собираются.

– А ты кто такой?

– Я здесь играю.

Сверху он показался ей в эту минуту совсем маленьким.

– Играешь? Как?

– На органе играю.

Она все смотрела вниз, держа руку на нотах.

– Я спеть хочу, – сказала она просто, – саккомпанируй мне, пожалуйста, вот эту «Ave Maria».

Он мотнул головой:

– Подожди маленько, сейчас народ придет. С хором и споешь. – И он исчез, клейко отлепляя ступни от темного пола, и появился снова с веником и тряпкой.

«Они собираются там один раз в неделю, такие, понимаете, тридцать или сорок человек. Ах, я не знаю, что это есть за люди! Я объяснила им, что хочу спеть соло, что

я уже пела здесь. Они позволили. Они все встали на колени, а мальчик сел за орган. Не могу вам сказать, что это было... Я пела. Потом один сказал: пани, позвольте нам сходить за ксендзом, ему это будет радость. В минуту! Я сказала: конечно. Мы подождали. Пришел ксендз, босой и старый, подвязанный веревкой и без тонзуры. Я опять пела. И тогда ксендз сказал: пани, позвольте же нам сходить теперь за православным священнослужителем, чтобы и ему была радость. И я опять сказала: конечно. И мы опять ждали. И открылась дверь, и вошел в белой рубашке и настоящих лаптях такой старей-старый, что не мог поднять головы, где я стояла, и ему объяснили, что такое есть наверху, и помогли тоже встать на колени. И я пела в третий раз, и все – Шуберта».

Голос ее поднимал своды, раздвигал стены, ломал все, что за много лет стесняло здесь камни и людей. Лица были обращены к ней, но она смотрела вверх, и хотя лицо ее было влажно, она вовсе не боялась перехвата в горле. Ей казалось, что она дошла до крайней точки своей жизни. Мальчик босыми ногами нажимал на стертые педали, воздух, в котором ей было так хорошо, гудел долго.

В дверях, когда она выходила, она видела двух рабочих. Они стояли с непокрытыми головами, лица у них были степенные; пожилой еврей в узеньком галстучке стоял тут же и, кажется, хотел ей что-то сказать, но только пошевелил лицом. А на улице, не двигаясь, стоял кто-то в крагах и с винтовкой.

Там стреляло с крыш полдневное солнце, срубленное дерево, как вспоротый зверь, лежало поперек площади, разроняв вокруг свои свежие ветки, и где-то совсем близко – вон за теми садами – медленно, с шелковым шумом катилось Черное море.

ВЕЧНЫЙ БЕРЕГ

Это место он заметил давно и навсегда сделал его своим. Лет двадцать пять тому назад, когда он был еще ребенком, знакомые его родителей жили в этой местности, и он гостил у них перед войной. Теперь от усадьбы не осталось ничего: все продано. Дом с узким поясом сада подновлен и сдан, остальное разбазарено по кускам. Сюда приезжают дачники на лето и горожане по праздничным дням; они лежат в траве, слушают свои граммофоны, играют в карты, вяжут чулки. Есть кафе, оно же гостиница, есть бензинный кран для автомобилей, есть почтовый ящик и бакалейная лавка с леденцами для предполагаемых детей. Только название осталось то же, и та же дорога вверх, в рощу, где сосны, вереск и крепкие розовые цветы, которые, отцветая, дурно пахнут.

Он помнил всегда, даже в самый разгар своей жизни, что если пройти этой рощей, а потом лугом, обогнуть пруд, выйти на тропу, где мята и зайцы, то начнется уже совсем особенное: пахнущее хлебом затишье, обрыв, с которого видна заречная даль, тенистый спуск к реке, и там — камыш, чья-то старая лодка, блеск и мрак воды. И никого. Лодка все стоит там, все стоит, говорил он себе иногда, вода мерцает и колыхается. Он на всю жизнь заметил себе это место.

Он собирался вернуться к нему в разные годы по-разному. Было время, он так представлял себе счастье: с молодой, красивой, умной женщиной, понимающей его во всем, он тайно проводит здесь целый месяц, а потом расстается навсегда. Она не знает даже, где они были, он не

знает ее имени... Потом был план: жениться и непременно купить в этом краю кусок земли, выстроить в рассрочку дом – с балконом, детской, курятником, – словом, связать себя с этим берегом навеки. Однажды, года два тому назад, он едва не приехал сюда с чужой женой, но она испугалась деревенской скуки, а он не был уверен, найдется ли в гостинице комната, и они поехали к морю.

И вот теперь он был здесь.

В деревушке, уместившейся в бывшем усадебном парке, в крошечной гостинице нашлась комната. В окошке был двор с цепной собакой и спящим петухом. Рисунок обоев – летящие корзины с цветами, вихрь цветочных корзин; в углу – игрушечный умывальник, а посреди – все заполонившая деревянная двуспальная кровать с грубым свежим бельем, периной и крахмальным пологом. Наташа как увидела ее, так и качнулась:

– Это для вас и для меня? Такая огромная?

Они приехали вечером автокаром из Парижа. Она сказала матери, что едет к подруге в Буживаль. Почему Буживаль? Первое, что пришло в голову, потому что в тот день она что-то читала про Тургенева. Мать подробно расспросила: что за подруга, кто такая, где живет, кто ее родители, как Наташа думает отплатить ей за гостеприимство.

Автокар несся по пригородам; он был полон. Они сидели рядом, и Наташа смотрела в окно: сперва на дома и людей, потом в даль, в небо. Когда она оборачивалась к нему, с такой решимостью, с такой смелостью, он видел, что она его боится. Когда они сошли, был одиннадцатый час. В новенькой улочке было совсем темно, и они останавливались, целовались, опять шагали и опять останавливались. Говорили о том, как им хорошо, как хорошо, что три дня перед ними, как удивительно, что он вернулся все-таки сюда. В гостинице дверь была настежь, на пороге сидел хозяин и следил за тем, как они приближаются к нему.

При свете лампы за стойкой он стал хлопотать, вынул пузырек с чернилами, перо. Он был выпивши, листик, который требовалось заполнить, два раза выпадал из его руки.

– Я напишу «такой-то, с женой».

Наташа накрыла бумагу ладонью.

– Пожалуйста, не пишите своей фамилии, это совершенно не нужно.

– Не все ли тебе равно? Могут быть неприятности.

– Нет, нет, не нужно, мама может узнать.

– Так ведь твоя мама не запрещает мне ездить.

– Пишите: господин Наташин.

– Господин Наташин? – и он написал, прибавив, как полагается, «с женой».

Год рождения – тот же, что и века.

Место рождения – русский город, он совсем, совсем его забыл. Профессия – поставил одну из многих. И они поднялись наверх.

– Это целый крейсер! – воскликнула Наташа, прыгнула и провалилась в перину, и кинула в него подушкой. И во всем этом ему тоже почудился страх.

А утром, утром! Эти птицы, это солнце! Край чужого сада в окне, липовый воздух, стук телеги, разбудивший обоих, нетерпение, хохот у крошечного умывальника, в котором можно было вымыть только пятку. Одна зубная щетка на двоих.

– Я думаю: одна зубная щетка на двоих – это любовь, – сказала она, – и один артишокный листик на двоих – тоже любовь. – И она засмеялась.

Внизу они пили кофе в тяжелых деревенских чашках, а хозяин опять был выпивши, и даже не смотрел на них. Выглянуло из-за двери только кроткое лиловое лицо хозяйки и скрылось; сеттер с отвислым брюхом бил хвостом по их коленям, и ему дали сахару.

– Ну, так скорей, чего же мы ждем? – и все ее лицо смеялось и светилось, – бежим, спешим, летим! Сейчас узнаем, на месте ли речка?

Он приберег это место для одного себя, он ни с кем не ездил сюда, не возил чужих жен, не разводил здесь хозяйства. Все оставалось здесь, как было, только деревья стали гуще, такими, какими, может быть, были тысячу лет тому

Нина Берберова

назад. Эта мысль о неизменности, о вечности лесной тишины, о бесконечности речного движения и свела его с ума когда-то.

– Обыкновенно в таких случаях бывают разочарования, – говорила она, спускаясь к берегу, – придешь через пятьдесят лет, а лодки-то и нету!

– Через двадцать пять!

– Ну, через двадцать пять. Значит, ты это облюбовал еще тогда, когда меня и на свете не было!

Она замерла в изумлении при этой мысли и опять, легко, словно танцуя, пошла вперед.

Но лодка нашлась. Их даже было две: одна – старая, другая – новая, крашенная в красный цвет. Весла были спрятаны в кустах, и они их тотчас отыскивали.

Вода спокойно и ласково играла под солнцем. Как часто думал он о том, что непременно когда-нибудь будет вот так сидеть и слушать. Было что-то неизбежное в возвращении к этим камышам, к этим дрожащим теням, сбереженным памятью. Он чувствовал, что участвует в плеске времени, текучем и безначальном. В ранней юности в минуту того незабвенного восторга он понял, что сюда надо найти обратный путь.

Наташа между тем снимала через голову свое белое платье в цветочках и оказывалась в купальном костюме. Она говорила, что если бы он взаправду любил ее, то непременно взял бы эти весла, отвязал бы лодку и повез ее на середину реки, чтобы она могла там окупнуться.

– Запрещено, – сказал он, показывая пальцем на ржавую доску, на которой что-то было нацарапано, и лег навзничь. – Протокол составят. В тюрьму посадят. На каторгу пошлют.

– Да никого же нету. Какой ты, право! И пожаловаться на тебя некому! – (А еще накануне вечером она говорила ему «вы»!)

В этой прозрачности он чувствовал свою собственную прозрачность. Он говорил себе: такие случаи бывали, я где-то читал. Человек в молодости попадает на какую-то

точку земного шара и вдруг говорит себе: это здесь! Проходят годы. Он живет, он путешествует, любит, трудится, и стариком возвращается, и поселяется, и не может объяснить, почему он здесь, когда есть столько других мест.

– Так не отвяжешь? – спросила она еще раз и босой ногой наступила ему на руку.

– Я уже и без того совершил ради тебя преступление: скрыл свою фамилию от полиции. Теперь пойдет к черту вся статистика губернии. А ты еще хочешь, чтобы я украл лодку. Ты можешь окупнуться у берега.

Она вошла в воду, брызнула ему в лицо чем-то блестящим и мокрым и вдруг зашумела, забила ногами, поплыла.

И вот он вернулся не один, вдвоем с женщиной, которую он, кажется, любит и которая, кажется, любит его. Что будет с ним дальше? И с ней? Он лежал на спине, смотрел в небо, прислушивался. Прошло довольно много времени в блаженном забытии. Внезапно что-то дрогнуло в нем, и сорвалось сердце: она звала его.

Он крикнул в ответ и помахал в ответ рукой в воздухе. Она опять закричала. Она ли это? Он вскочил, подбежал к воде, на секунду остановился, но под щитом поднятых рук не увидел ничего – только в блеске дрожала вода.

Он вдохнул воздуху, широко открыл рот, заорал:

– А-а-а! Наташа-а-а!

На противоположном берегу стояли, выстроившись в линию, окаменелые в зное безногие кусты. Все было тихо. Только эхо бормотнуло что-то в ответ. Тогда он бросился к веслам, загремел ими, упал, зацепившись о кочку, рванул лодку, еще раз рванул, грудью столкнул ее в воду, протасил по илистому дну, прыгнул в нее, качаясь, опять закричал что было сил. Молчание.

Он греб, кидаясь от одного борта к другому с одним веслом, другое куда-то ушло, сдирая с себя башмаки, пиджак, крича, двигаясь с угасающей медленностью туда, откуда ему казалось, она кричала. Лицо его было в крови, он ударился обо что-то, когда метался и падал на берегу. В середине реки он нырял три раза, сколько хвати-

Нина Берберова

ло сил, но кроме пятен глубокой зеленой тьмы не увидел ничего.

Когда он вернулся, солнце перешло на другую сторону молодой ивы, но под ней по-прежнему была тень. Он вышел из лодки, волоча за собой мокрый ил, снимая с рук, как перчатки, длинную траву. Кровь текла у него из ноздрей, голос был сорван от крика, странно выкаченные глаза искали чего-то — ее белого в цветочках платья, в которое он лег головой.

Потом, когда одежда на нем просохла, он завязал в носовой платок ее туфли и пошел. Перед тем как войти в деревню, он вынул из Наташиной сумочки ее гребешок и, всхлипывая, аккуратно причесал свои редкие русые с проседью волосы.

1938

АУКЦИОН

Покупатели и те, что просто собрались поглазеть, были уже не раз описаны Мопассаном. В первом ряду сидела молодая толстая женщина с единственным зубом во рту, рядом – усатый человек с лицом цвета земляничного варенья. Дальше – три старухи, за ними – жгучий брюнет, интересовавшийся главным образом жестяными чайниками, половниками, шумовками, а также кофейными мельницами, которых в доме оказалось три. Во втором ряду, прямо против аукционщика, вертелся шут с длинными седыми усами, набавлявший по два су и громко пояснявший, для каких надобностей служила та или иная посуда. Всего же было человек около пятидесяти. Были две шикарные особы в мехах – горничные из замка; было два велосипедиста, лущивших кедровые орехи, тарашивших глаза. Был в сером пальто и гетрах старичок с бородкой и орденом Почетного легиона, которого кто-то назвал «господин президент»; он купил громадную люстру с фарфоровым резервуаром для керосина, с чугунными наядами, державшими в зубах цепи, на которых висели виноградные грозди. Олений рог пошел вместе с вафельницей, и тот, кто приобрел его, хвастал потом, что этот рог отец его когда-то продал умершим владельцам дома. Каждой фигуре – толстой, тонкой, молодой, старой – можно было найти, так сказать, ее перевод на русский язык, а каждой отпущенной шутке – русское словечко.

Сначала прохожие могли принять все происходящее за ожидание выноса покойника: у калитки сада начали собираться незнакомые между собой люди, пять-шесть ав-

томобилей стали в тихой улице; кого-то ждали, кто-то опаздывал. Наконец открылись ворота, и по мощеному дворику мы поспешили на крыльцо. Двери дома были открыты настежь, чтобы можно было легко выдвинуть и buffet, и матрасы, и пианино.

Ходили по комнатам, открывали двери шкапов, подпороли надматрасник, пощупали внутренности (и с удовольствием сказали: ага!), бренчали на пианино, щелкали пальцами по хрусталою; кое-кто зачем-то смотрел из окна в сад, спрашивал, не будут ли продаваться цветы, дерн, решетка, кишка для поливки цветов, лопаты. Вошел аукционщик, молодой, зубастый, в двубортной жилете, с двумя подручными и громко прочистил голос. Он велел вынести на двор обеденный стол, вскочил на него и в то же время, как вокруг садились описанные Мопассаном, зычно зачастил на всю улицу, на весь глубокий, старый сад, играя первыми тарелками:

– Начнем с пустяков. Первая цена – франк. Думаю, что не севр, однако поручиться не могу. Два франка. Три франка... Как? И пятьдесят сантимов. Набавляйте, господа! Ведь тарелки вещь нужная. Четыре франка. Мосье, ваша жена будет довольна. Пять франков двадцать пять. Смотрите, я бью их, а они не разбиваются. Семь франков... Семь франков. Я сказал: семь. Жалеть не будете? Семь. Заметано! – (и – трах! – молотком).

Тарелки, как и всё в доме, как и самый дом, были обыкновенные, добротные, с которых, вероятно, лет пятьдесят ели каждый день дичь, рыбу и жигу баранье люди, державшие почтенную прислугу. Была у них ореховая гостиная, были две спальни с зеркальными шкафами, был граммофон довоенной конструкции и семейный альбом фотографий, пошедший вместе с сонатами Бетховена для четырех рук за двенадцать франков. У людей, живших здесь, были ковры, были картины неизвестных художников и были швейная машинка и мороженица, так что человеку с воображением легко было бы восстановить всю ту жизнь, которая здесь шевелилась еще совсем недавно.

Мы за две недели предвкушали этот день. В деревне все кажется событием. С утра мы выволокли из-под навеса старую машину, обмыли ее, натянули парусину, поставили внутрь ящик – для нас с Манюрой, так что можно было сидеть впятером (это был небольшой грузовик, очень высокий, на тонких сквозных колесах). Потом мы оделись, причем не забыли и перчатки, и стали заводить мотор по очереди рукояткой, загадав на счастье. Счастье, конечно, выпало Виктору Ивановичу, потому что он всех сильнее, и машина пошла. тарахтеть и подпрыгивать по нашей улице. Сидевшие на ящике держались за края, сидевшие спереди, все трое, напряженно впивались глазами в дорогу и, как только замечали на горизонте какую-нибудь точку, сейчас же принимались обсуждать: как быть? Тормозили, жались к обочине, пережидали. В гору троим пришлось сойти.

Покойницы, старые девы, жившие в доме, в котором происходил аукцион, тоже, вероятно, могли бы найти себе русские отражения. Они были болтливы и беспечны, носили шляпы с птичками и всегда хихикали, когда приходилось встречаться с кем-нибудь на улице. Сперва умерла старшая, блаженно уснув и не проснувшись. Ее хоронили всей деревней; сестрица ехала в карете, и ее хихиканье теперь было похоже на рыдание. Были цветы, благолепие рукопожатий на кладбище... Через год оставшуюся в живых карета «скорой помощи» отвезла за двадцать километров в город. Барышня промучилась в больнице несколько недель и умерла в страданиях после операции. Там ее и хоронили, казенным образом, выдав гробовщику расписку: взыскать с наследников. Странно! Обе барышни всю жизнь были такие одинаковые.

Оставив машину за углом и на всякий случай еще прикрутив в ней какие-то дребезжавшие гайки, мы вошли, все пятеро, и, осмотрев решительно все до последних мелочей, встали сбоку, где какой-то любитель курьезов, наставив фотографический аппарат, снимал аукционщика с двумя стульями в руках. Слова бежали из его рта с лег-

костью и силой необыкновенной, и вещи переходили из рук его помощников в руки торгующихся быстро и бесплодно.

Мы пятеро лучше всех изображали в этом представлении публику, восхищенную публику, не сводящую глаз с аукционщика, хохотавшую над всеми его остротами, восторженно хвалившую продаваемую мебель (потому что у нас самих и в помине не было такой), ликовавшую, когда цена взвинчивалась, встречая междометиями неожиданную, под самый молоток, надбавку. Впрочем, вместо молотка, который торчал в кармане аукционщика, чиновник пользовался небольшим, ладным, совсем новым топориком, который он едва не унес с собой, когда все было кончено. Сперва, спохватившись, он собрался было отдать его в придачу к обеденному столу, пошедшему последним, потому что на нем вытанцовывал чиновник свой многочасовой танец, но потом решил пустить его отдельно, и неожиданно Виктор Иванович, толкнув кого-то локтем вправо и мигнув влево, дал за топорик семь франков и, купив топорик, объявил, что в лавке такой стоит одиннадцать.

Мы обомлели. Мало того, что побывали на этом параде, показали себя и посмотрели людей, веселились целый день, навидели столько, сколько за целый год не увидишь, мы еще и сами участвовали в нем: тратили деньги и уехали домой не с пустыми руками.

Конечно, наш дом – не чета тому, и нет в нем ни ореховой гостиной, ни зеркального шкапа, ни мороженицы, а пианино стоит под навесом, потому что не поместилось в доме, и к нему проведена электрическая лампочка, которую Манюра боится зажигать в грозу. На ночь мы укрываем его одеялом, так и укрываем их вместе – музыкальный инструмент и радиатор машины, а уж сами накрываемся пальто. Впрочем, это никому не интересно.

Манюра зажгла на кухне свет, развела огонь в печке и, все время подбирая свои совершенно золотые волосы, отросшие за лето и которые она боится стричь, потому

что не знает, будет ли это модно и как именно их стричь, чтобы было совсем модно, – Манюра, подбирая свои слабо выющиеся пряди за плечом, стала накрывать на стол. Было уже совсем темно. В саду продолжался сильный сухой ветер, начавшийся еще днем в чужом саду, и казалось, что наши деревья, наши крепкие тополя, перешли к нам из той усадьбы.

Мальчики пошли кормить собак, хлопали ставнями. Виктор Иванович долго ласково уговаривал их вымыть руки, потом тихонько открыл радио, и под журчание ланнеровского вальса мы сели ужинать. Ели мы в кухне, в паре кипящего супа, а топорик лежал тут же и сверкал чистотой и ясностью мертвого предмета.

– Клянусь костью! – сказал Митя. – За этот судок, за хлебную корзинку, за салфеткины кольца больше пяти не выручишь.

– Тертый калач выручит и восемь.

– А смешно будет, когда выломают плиту и потащат. За плиту пятьдесят, красная цена.

– Клянусь костью! – закричал Алеша. – Плита пойдет вместе с домом. А вот табуретки – это да! Лоханка тоже.

– Лоханку я не отдам, – сказала Манюра убежденно. – Зарубите себе на носу: что бы ни было, без лоханки жить нельзя.

– Глупости... Вот если матрасы вспарывать начнут, дело будет дрянь. Увидят, что сено.

Виктор Иванович удивленно оглядел всех:

– А за Айвазовского что дадут?

– Франков десять.

Он встал.

– А что у нас еще есть?

Все пошли в комнату.

В этой комнате на кровати спал сам Виктор Иванович, а на полу – мальчики. Айвазовский действительно висел на стене, громадный, мглистый. Под ним – книги: Пушкин, алгебра Киселева, Стендаль «О любви», десятка три книжек.

Нина Берберова

– Тут не разберут, какие французские, какие русские. На вес пойдут.

– Неужели? Зачем же так спешить?

– Да так уж. Кому охота копаться. Вот лампа электрическая – это вещь. Верстак – опять хорошо. Гардероб, клянусь костью... Задняя стенка выломана. Печь «Саламандра» – это да! Это денег стоит. Что еще?

Алеша вступил тотчас же:

– Корзинка – пятнадцать франков. Курица на яйцах может под нее сесть. И вот этим самым топориком – когда она состарится, ее стукнут. Хорошо, что приобрели.

– Пятнадцать пятьдесят даю.

– Шестнадцать. Кто больше? А вот башмаки. Пять пар башмаков.

– К тому времени сносим.

Все вместе мы пошли к Манюре.

– Эти цветочные горшки вообще ничего не стоят, да их и побьют до того.

– Не трогай, Митька, это гиацинты будут.

– Никто ничего не трогает. Икона. Ее в придачу к кофейной мельнице дадут. «Не поймет и не оценит», как сказал Майков. Где топор? Столик о трех ножках.

– Двадцать франков первая цена, – с увлечением воскликнул Виктор Иванович и уже, наверное, в эту минуту был непереводаим ни на какой язык.

– Двадцать один, – сказала Манюра со слезами в голосе.

– Клянусь костью! О трех ножках столик. А еще – походная кровать.

Алеша попробовал кровавь, сел и провалился.

– Дети, дети, – сказал Виктор Иванович и замял, задергал свою бороду, – неужели же ничего у нас больше и нету?

– Есть еще велосипед, – сказала Манюра жестко, – хороший мальчишковый велосипед, прочный. За него, ей-богу, много могут дать.

Мальчики вдруг приуныли. Им стало что-то грустно. Они еще разок посмотрели на кувшин, на ведро, словно прицениваясь к ним, и вышли. И мы вышли тоже. И вдруг

все вместе принялись искать по всему дому злосчастный топорик, зажигали спички, ползали по темным углам, упрекали друг друга, говорили, что это теперь у нас самый необходимый предмет в доме, – и все это под ланнеровские вальсы, звучавшие в тот вечер как-то особенно прекрасно, как звучали они еще в «Дворянском гнезде» или в каком-нибудь другом, непохожем на наше месте.

Но топорика мы так и не нашли. Только спустя несколько дней оказалось, что он завалился за комод. Но к этому времени мы все уже отрезвели, и жизнь шла своим путем.

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

Я помню с детства его большие белые босые ноги в крепких желтых сандалиях с широким поперечным ремнем, отделявшим пальцы от подъема. Это было последнее лето перед войной. Помню, мы сидели в лодке: Миша на носу, мы с Леной на первой доске, за нами – на второй – он, орудуя веслами, а на корме за рулем сидел еще кто-то, уже не помню кто. Во всяком случае, там кто-то, конечно, находился, потому что когда я оборачивалась и старалась мимо гребца заглянуть назад, мне кто-то мешал.

И вот внезапно между мной и Леной появились эти сандалии, эти ровные пальцы. «Мне нужен упор, – сказал он, – подвиньтесь, мелкота». Я подвинулась и уже не знала, что делать с руками, чтобы только случайно не задеть его. А озеро было такое металлическое, такое нарядное, финские сосны такие темные. Над ними, над далью кто-то могуче и небрежно размазывал закат, и на воде было то единственное вечернее молчание, о котором и не догадываются оставшиеся на берегу.

«О, закрой свои бледные ноги!» – сказал голос позади меня, доска заскрипела от нажима, и весла заработали шумней.

На обратном пути я уже круто, подло ненавидела его. «И вовсе не надо пуд соли с человеком... достаточно увидеть босые ноги... Как противно! Они выдают его, неужели он не видит? Самодовольные, тупые... Лучше самые полосатые носки, чем это». Выходила северная луна, играла с водой, отводила от нас черный берег.

Между тем он был молод, писал стихи, носил длинную бороду, чтобы скрыть, как говорили, свой некрасивый звериный рот, умел акварелью изображать всех нас, как мы плывем в лодке, а он в этих самых своих сандалиях идет по водам к нам навстречу; или еще: стоя с нами в лодке, протянутой рукой останавливает бурю. Он играл на рояле какие-то несуразности, заставляя нас петь хором слова, сочиненные им и не имеющие никакого смысла. Когда я узнала, что ему двадцать лет, я очень удивилась:

- Миша, ты знал, что Корту двадцать лет?
- Врешь! Я думал, пятьдесят.
- Лена! Ты знала, что Корту двадцать лет?
- Кто тебе сказал? Не может быть!

Таким образом я дошла до кухарки, которая на мой вопрос ответила: «Рассудительный жених будет».

Теперь то последнее лето вспоминается каким-то особенно засушливым, с бесчисленным падением звезд, с пожарами, чуть ли не даже пронзенное кометой.

Корт жил на соседней даче, у родственников. Мы иногда ходили к нему: ради крокета, ради гигантских шагов, ради вереском заросшего обрыва, с которого съезжали на собственных штанах до самого озера. Нас угощали чаем с ватрушками, и мы старались вести себя прилично. В комнате Корта это удавалось с трудом: слишком много было там соблазнительного.

– Двигайтесь, мелкота, – говорил он, выгоняя нас за дверь. – Ничего не украли?

А украсть хотелось одну из толстых тетрадок, в которые он твердым, круглым почерком записывал свои стихи.

И вот нам самим стало двадцать лет: и мне, и Лене; и настала такая осень, когда мы не вернулись в город, а остались зимовать над озером, в соснах, потому что между финским местечком и Россией прошла граница и еще никому в голову не приходило перейти эту границу туда, а не оттуда. Снег очень скоро завалил нас совсем. В старом бревенчатом доме остались жители – словно четные цифры, нечетные были вынуты жизнью: отец Лены был

неизвестно где, осталась мачеха. Миша был убит, мы обе были живы; дворник ушел на заработки в Выборг, у нас осталась одна кухарка. Почему-то перебиты были обе собаки, и из всего живого, того, что многие годы здесь бежало, плодилось, подавало голос, осталась одна каурая Пенка, пожилая кобылка с розовой ноздрей.

Замотав голову толстым кухаркиным платком, надев тесную шубу, подпоясавшись багажным ремнем, сунув ноги в крепкие валенки, я рано утром в снежной темноте, белесой, зыбкой, шла запрягать Пенку в санную тележку. Выпив чаю и закусив булкой, мы уезжали за три версты в городок: сперва – на станцию, за газетой, за новостями, потом – в кооператив, где получали на день потребное количество сельдей, крупы и масла, потом – в лес за хворостом. И обратно мы приезжали, сидя высоко на срубленных, еще снежных ветвях, лихо правя профилем.

Перед вечером на лыжах мы шли на закат. И хотя и тут была цель: еловые шишки для самовара, но от молодости и беспечности нам казалось, что идем мы перед ужином любоваться заходом солнца, идем нагуливать аппетит, дышать морозной прелестью леса. Оттолкнувшись палками, чуть согнув колени, сохраняя руками равновесие, зорко глядя перед собой, мы вдруг пускались вниз по целому снегу, ныряли в долину и опять выносились вверх. Там мы останавливались, ели черный кооперативный шоколад и пробовали курить. И растрепанные, румяные, пьяные от папирос и воздуха, летели домой.

Соседние дачи были пусты, стояли заколоченные, глухие; та, на которой когда-то жил Корт, совсем осела в снег; другие продавались на слом. Весной, когда потекли ручьи, в молочном свете дня все они – розовые, голубые, белые – оказались черными. Говорили, что внутри них – вершок воды, что тес отсырел до того, что и на топливо не годится.

Помню утро, когда Лена одна поехала за провизией, а я осталась дома по случаю стирки. За зиму накопилось множество белья (зимой стирать не отваживались). Дом

был в пару от кипевшего котла, и сад был в пару от весеннего солнечного дня, и над оттаявшим прудом, где мы полоскали горячее белье в ледяной воде, тоже стоял пар.

– Я встретила... Угадай, кого я встретила, – кричала Лена, – сегодня из Петербурга, пешком, едва не застрелили в Белоострове... Корта! Корта! Какая ты недогадливая!

Он развел нас с ней очень скоро. Она уходила к нему после завтрака и возвращалась вечером, и он приходил с ней, сидел до ночи. Он поселился в станционном флигеле, где теперь сдавались комнаты, у него с собой были деньги, материнские тяжелые серьги, которые он ездил продавать ювелиру в Выборг. Борода его была все так же редка и длинна, рта не было видно вовсе. В глазах появилась какая-то масляная злоба.

– А что же стихи его? Акварели? Таланты? – спросила я однажды.

– Его очень ценили в Петербурге, – отвечала Лена, – он был знаком с Блоком, Есенин посвятил ему стихотворение.

– Что же, он печатался где-нибудь?

– Нет, он презирает это. Но ты не можешь себе представить, как он прям, как умен, как не похож ни на кого из тех, кого мы с тобой знаем.

Она, веселая, смелая, такая ладная во всем, что ни делала, и он, долговязый, волосатый, с впалой грудью и землистым лицом, с какой-то непристойной жадностью в движениях: взять под руку, схватить хлеб. И это была любовь.

– Прощать врагам? – говорил он, а мы все сидели, не зажигая света, белой майской ночью вокруг стола и слушали, слушали. – Нет, в этом есть что-то от половой патологии. Я не согласен прощать. – Пахло еловым дымком из жерла горячего самовара, с валенок натекали лужицы, тикали стоячие часы. – Они в меня целятся, здоровые парни, но я живой, я им и не прицел, чтобы в меня попасть. Между мертвым и живым больше разницы, чем между человеком и архангелом. А еще больше разницы между тем, чем ты хотел стать, и тем, чем стал. Видели ли вы когда-нибудь мать семейства, которую прочили в Са-

ру Бернар?.. Послушайте, скажите мне, будьте добры, кого это оплакивают здесь? Я сейчас шел и на разных углах, на разных улицах видел трех плачущих женщин. Что это, обычай какой-нибудь? А безногий какой-то полз и смеялся, можно было бы даже сказать: смеялся, как безногий. Вы заметили, что калеки очень много смеются? Особенно в дурную погоду. Впрочем, в ненастье всегда веселей: мы же любим кошек, сов, ночных бабочек, даже нечисть всякую, если она молода. Как же нам не любить темный, дождливый ноябрьский день?

И все в таком роде. Потом Лена запирала за ним калитку, возвращалась в нашу комнату. Я ложилась в постель, не спала, плакала, мучилась ожиданием, что она мне все, все скажет. Уже окно было раскрыто в благоуханный июньский мрак, уже шумели в саду соловьи, цвела жимолость, когда она заговорила. Не для того, чтобы поделиться со мной своим счастьем: счастьем не делятся, его держат при себе. Для того, чтобы поделиться гложущей ее заботой: «Я, кажется, беременна», – сказала она в темноте, и мы вдруг поймали друг друга за руки: кровати наши разделяла тумбочка.

Корт уехал в конце лета. Пенка отвезла его на станцию: Гельсингфорс – Штеттин, или Антверпен, или Гавр – такие вещи забываются прежде других. Во всяком случае, из Гельсингфорса он уехал на пароходе.

Я сидела на козлах, они – сзади, в маленькой нашей плетенке. Его длинные ноги не поместились, и он, попросив меня подвинуться, уперся ими в козлы. Я опять мешала ему.

– Какое милое гамсуновское время провел я с вами, мои душечки, – сказал он по дороге. – Одна была беленькая и добренькая, другая – черненькая и сердитая. И все, что было, было нарисовано перышком-тушкой на серой бумаге. Правда?

Она обняла его и поцеловала в губы, которых не видела, а только чувствовала, и когда в последний раз оторвалась от него, была так бледна и некрасива и держалась за меня.

– Скорей, скорей, – твердила она, и мы успели: у поворота на Перкиарви мелькнул его поезд, но никто не помахал нам из поезда. Остался дымок. Он держался в зеленом небе так долго, что когда мы приехали домой, можно было еще с нашего крыльца, с нашего балкона посмотреть на него в последний раз.

И вот нам стало тридцать лет, но мы уже были не вместе. Она осталась там, давала уроки, ходила по снегу, продала Пенку, отпустила кухарку. Мачеха ее состарилась, и они жили втроем в одной комнате, в людской, подле кухни, а дом разрушался вокруг них, зарастал дико и грозно сад. Она осталась там, а я была в Париже и получала от нее письма раз в год, не чаще. И в том письме, которое пришло этим летом, была фотография: у перил нашего балкона стояла девочка лет десяти, тоненькая-тоненькая, с тоненькой косичкой, с тоненьким носиком, с длинными, худыми руками (а в руках была большая соломенная шляпа). Она стояла, задумавшись, и смотрела вдаль, туда, где – я знала – сверкает озеро в июльский день. Она смотрела мимо аппарата, мимо меня, она будто ждала чего-то, как ждали когда-то и мы. Она уже ходила в школу, хорошо училась, понимала по-фински. Но жить было трудно, школа была далеко, мама занята целый день, бабушка – глухая. А зимы такие длинные-длинные...

Но где же был Корт? Куда девался? Неужели никто не слышал здесь про него? Ведь он писал когда-то стихи, ведь в Петербурге и Москве его многие знали. Неужели в портфелях наших редакций не застряла какая-нибудь его рукопись с адресом на обороте? Или на каком-нибудь собрании не записался он в ораторы? Или не устроил какой-нибудь лекции в провинции «по личным воспоминаниям»? Не издал книжки неплохих декадентских стихов? Десять лет о нем ничего не было слышно, и вдруг в газете мелькнула его фамилия, его имя и отчество – о чем с глубоким прискорбием сообщала жена.

Небольшая толпа, человек сорок, мне незнакомых людей провожала его гроб на кладбище в предместье Парижа.

Нина Берберова

Впереди, сейчас же за гробом, смотря, как обычно, в колеса колесницы, шла женщина в глубоком трауре, ведя за руку одетого в черный суконный костюм мальчика лет шести, востроносенького и бледного. Я прислушивалась к тому, что говорилось вокруг, но все, что говорилось, было либо о погоде, либо о неудобном часе похорон. Большинство шагавших были французы, чем-то друг на друга похожие, вероятно, служившие в одном и том же учреждении. Когда колесница остановилась у могилы, двое из бюро, тужась и кряхтя, сняли с колесницы большой венок с надписью на ленте: «Спи в мире, дорогой коллега». У открытой могилы была произнесена небольшая речь: администрация и служащие акционерного общества «Труд» прощались с Кортом и обещались не забыть его трудолюбия, его аккуратности, его стараний, его скромности, его пунктуальности, его усердия.

Все стояли, глядя в землю. Вдова тихо плакала за своей вуалью. Рядом стоял ее сын. Мальчик задумчиво смотрел в сторону, где за кладбищенской стеной – я знала – течет река, шумят деревья, проходят поезда. Он смотрел вдаль, будто ждал чего-то.... Да, ему никак нельзя было дать больше шести лет.

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

У него были длинные, косо посаженные светлые глаза в темных густых ресницах под широкими бровями. Волосы его были слишком блестящи, слишком длинны, они падали ему на лоб и на уши. В пять лет он умел помахивать кнутиком и взмахивать, глотая слова, наступая одной ногой на другую, читать наизусть «Птичку божью»; в одиннадцать он знал наизусть Виньи, а в восемнадцать вдруг замолк, стал бледен и малоподвижен, оброс курчавой нежной бородой и в позе рафаэлевского ангела, с недожеванным куском во рту, любил сидеть за столом, слушая, как разговаривают другие.

Разговаривали его две старшие сестры и мать – дородная, крепкая женщина-врач с твердым лицом и сильными руками. Она была умна, энергична, много и хорошо работала в госпиталях, любила Киплинга и пешие прогулки и за семейным столом всегда что-нибудь громко обсуждала, сама с собой спорила, сама себя разубеждала.

Две сестры его были девушки лет под тридцать, одна – темная, другая – светлая, одна тихая, другая пошумней. Тихая и черная носила скромные платья и серебряные очки, к ней ходили молодые люди, изучающие искусство, пугливые, лысоватые и худые. К той, что была повеселей, ходили и люди повеселей: без шапок, с граммофонными пластинками под мышкой, отличные гребцы, большие любители рубленых котлет.

Он сидел за столом, забывая поднять прядь, упавшую ему на глаза. Все ждали, когда он дожует. Считалось, что все в доме едят, кушает он один. Глаза его без уголков

смотрели вокруг близоруко и внимательно, длинные пальцы он переплетал и гнул. Вечером, когда столовая была пуста, он шел к пианино, садился боком, клал руки на клавиши и тихонько подбирал какие-то мелодии.

Он вставал поздно, до завтрака сидел над книгами, потом бродил по улицам, иногда под вечер шел встречать мать в госпиталь, где она работала. Иногда он приходил слишком рано, ждал в воротах громадного кирпичного здания, потом входил. Шел прямо в главные двери, оставив кого-нибудь и говорил:

– Где моя мама?

И его уже знали, считали за идиота и ничего не отвечали ему.

В праздники сестры наряжались и уходили, мать заседала в благотворительных обществах, прислуга отпускалась. Тогда и он шел куда-нибудь. Товарищей у него не было, был знакомый старик без ноги, бывший херсонский нотариус, которого он иногда навещал, познакомившись с ним на улице. Старик поил его хересом, говорил много и грозно, называл его «сударь вы мой». Старая нянька нотариусовых детей (давным-давно неизвестно где погибших), командовавшая барином, поила обоих чаем. Ночью он возвращался домой; таинственно и немолчаливо следили за ним громадные каменные дома, громадное небо в тучах и звездах. Огни над рекой, сон черной баржи у берега, встречающая женщина – все это был мир, которого он не знал и которого боялся.

Летом они жили у моря. В светлом фланелевом костюме, загоревший, он весь день сидел в песке или лежал, пересыпая песок и думая. Песок тек между пальцами, все сверкало и искрилось вокруг. Мимо него пробегали полуголые, пестрые, похожие на птиц девушки. Он закрывал глаза, переползал в тень купальной кабинки и слушал, как где-то далеко, в ресторане над морем, играет венгерский оркестр.

Одна из самых храбрых, в полосатой фуфайке, с лентой в волосах, однажды наступила ему на руку горячей

босой ногой и спросила, почему он не купается, и вдруг села с ним рядом, и тоже стала пересыпать песок, но не глядя, быстро, обсыпая себе колени. Он ответил, что ему купаться вредно.

– Ну так что ж, что вредно? – ответила она. – Мне многое вредно, однако я делаю. Мы тут все один раз ночью купались. Приходите сегодня ночью сюда и будете с нами купаться.

Он смотрел на нее во все глаза.

– Я люблю ходить вдоль моря, и совершенно один.

Она вдруг стала грустной, выронила себе в юбку весь песок и сказала:

– Пойдемте вместе куда-нибудь.

Медленно они пошли по берегу; она старалась делать крупные шаги с ним в ногу, сердце ее билось. Они шли, а лукавая стайка ее подруг, долго перешептываясь, крадась за ними в дюнах.

Потом они сидели за столиком в кафе, и она спрашивала его: есть ли у него автомобиль? есть ли невеста? играет ли он в гольф? любит ли танцевать? Он на все мотал головой, улыбался, рассказывал ей про мать, про сестер, про свою парижскую жизнь и даже про старого нотариуса. Обратно они шли еще медленнее, останавливаясь каждую минуту, вместе смотрели на море.

– Я передумала, – сказала она на прощанье, – я не приду сюда ночью купаться. Лучше завтра утром пойдем вместе в порт, посмотрим рыб.

После этого он два дня не выходил из дома. На третье утро пришла записка: «Вы видите, я узнала ваше имя и ваш адрес. Вы, вероятно, не поняли меня: я ждала вас, как было условлено. Приходите сегодня на берег».

Он пришел, и опять они пошли есть мороженое, и она говорила, что во всем виновато ее легкомыслие, что она что-то не так ему объяснила. Она, став серьезной, рассказала ему свою жизнь: она жила с родителями в белой вилле около казино, танцевала, играла в гольф, у нее был автомобиль, но жениха не было «и никогда не будет, – до-

Нина Берберова

бавила она поспешно, – если только не произойдет одного необыкновенного случая».

Они вместе дошли до белой виллы и у ворот встретили ее отца и маленького брата. Она сейчас же познакомила его с отцом, и тот пригласил его войти, но было уже поздно, в пансионе, где он жил, в этот час обедали, и он не мог остаться. Простясь, он быстро пошел домой. И после этого не выходил к морю четыре дня подряд, сидел в саду под яблоней.

Письмо пришло ему по городской почте.

Он прочел его два раза, и чувство удивления перед происходящим охватило его. На душе стало беспокойно. Он поднялся к себе в комнату. Лег на кровать и долго лежал с закрытыми глазами. Потом встал, пригладил волосы и отправился на берег.

На этот раз они ушли за скалы. И там, где кроме них не было никого и только вода шлифовала темные камни, успевавшие просохнуть от волны до волны, она в слезах, которые только дрожали в ней, но которые не падали из глаз, спросила: был ли он здоров в это время? не уезжал ли куда-нибудь? Он не сводил с ее милого тонкого лица своих длинных глаз и наконец сказал, что он сам не понимает, что с ним, но что он знает наверное, что ему надо уехать. Она вдруг встала и пошла, а он остался, не чувствуя ни жалости, ни восторга, а только все растущее удивление. А уже ночью два хирурга извлекли у нее пулю из легкого, обещая, что она останется жива.

Скоро он вернулся в Париж. В ту зиму ему исполнилось двадцать лет, и вечерами он стал исчезать из дому. Они жили на длинной прямой улице, на которой было номеров триста, и он из шестнадцатого бежал до двести семьдесят третьего; в руках у него была мисочка в узле салфетки. По дороге он забежал за хлебом и папиросами, бежал без оглядки, никого не видя. Возвращался он поздно и долго еще не ложился, сжимая руки, толкался по комнате, все думая, думая: что делать, как теперь быть, сказать ли матери? уехать ли из дому?

А ночи были сухие, серебряные; город звенел за окном, и бегала недвижною цепью фонарей и тенями своими бесконечная улица, в конце которой жило его счастье. Они встретились случайно, потому что иначе и быть не могло: его мать лечила ребенка этой женщины. Она пришла к ним однажды, гладко причесанная, в старых башмаках, в немодном черном пальто, выдавшем виды. Она пришла поблагодарить и докторшу, и ее благотворительные комитеты, а он был дома и после, как привороженный, вышел проводить ее.

На улице у нее было совсем другое лицо, испуганное, сосредоточенное. Она боялась улицы. «И как же вы это так, — спрашивал он, — совсем одна? И никого нет?» Она шила поденно. Она всегда была одна, всегда, всегда, — прозвучало это как-то особенно, словно по железу. И он понял, что это была правда, и не спросил о ребенке ничего. А на следующий день, часов в девять вечера, в канун Рождества, когда все вдруг затаяло, заструилось и непрочная зима расплзлась по швам, он пришел и принес ей цветы. У нее не было вазы, чтобы их поставить, но она, порозовев, сказала, что она потом найдет где-нибудь вазу, и он тоже вдруг порозовел, сел к столу и подпер щеку рукой.

Там теперь жило его счастье, в конце длинной скучной улицы, и он часто думал, что его надо закрепить и устроить, оградить и обдумать, но с чего начать, он не знал. Так же рассуждала за обедом его совсем уже чужая, крепкая и умная мать, по-прежнему спорили друг с другом его какие-то не всамоделишные, какие-то выдуманные сестры. И он, сидя среди них, был так далеко, так бесконечно далеко, что иногда сам себе улыбался долгой, казавшейся бессмысленной улыбкой, и тогда все замирали вокруг, переглядывались, осторожно выжидали, когда он опомнится.

Когда, задохнувшись от бега, он входил, в нищей комнате нищего отеля сверкала чистота, было светло и тихо (окна выводили куда-то во двор). Девочка уже лежала,

укрытая до подбородка, на широкой материнской кровати, и он сперва целовал ее в волосы, а потом уже здоровался и садился. Круглый будильник громко тикал, пестрые обои сверкали какими-то рожами и крыльями; она ходила вокруг, все что-то приводила в порядок. Он развязывал узелок, вынимал миску или котелок, он не знал, как эта посуда называется, и заставлял ее есть. Она тихонько ахала, ела и смеялась. Потом они курили: «Ты попробуй, это очень вкусно. Все всегда курят». Она курила, и кашляла, и обнимала его за шею, и шептала что-то, не на ухо, а как будто в самые его глаза, и они целовались, и целовали друг другу руки.

Им никуда не хотелось идти – ни гулять, ни в кино, никуда вообще, а хотелось всю жизнь быть вместе вот так, и чтобы ребенок спал рядом, и чтобы тикал будильник. Вместе есть, вместе смеяться, скучать, потом вместе засыпать и просыпаться вместе. И он все крепче прижимал к себе ее худенькое тело, такое хрупкое, что делалось страшно за нее, когда думалось: сколько ей еще предстоит страдать и мытариться.

Его отъезд в сентябре тридцать девятого года был неожидан и ужасен. Дома никогда не верили, что его могут признать годным и призвать. Если бы он действительно был годен к чему-нибудь (а не только чтобы любоваться им и жалеть его), если бы он к чему-нибудь был в жизни пригоден, неужели все это было бы так, а не как-нибудь иначе? Неужели сестры, мать не догадались бы об этом раньше? Разве носил бы он этот котелок в салфетном узле и отводил бы по утрам чью-то незаконную дочь в детский сад? Но он был признан годным, и спорить было не с кем, и он уехал тогда же, в сентябре, вероятно, сам не сознавая, куда и зачем его берут, и на какое дело, и вернется ли он.

А она говорила, провожая его:

– Ну вот и хорошо. А то наделал бы глупостей. Я на десять лет тебя старше, какая же я тебе жена? Глядишь – выйдешь в офицеры, краше всех будешь там. Перекрести

Аню, она к тебе привыкла, она скучать будет. Спасибо тебе за все. Я не плачу, видишь? И я не забуду тебя, это ты знаешь.

Он понял, что плакать она отложила на после. Времени у нее впереди будет много. А как будет у него?

И вот тяжелый поезд, где поют и орут в набитых вагонах, отходит от вокзальной платформы, длинный поезд, в который его впихнули в этот вечер. В окне уходит, удаляется, исчезает она. Он опять возвращается к тому, что было до встречи с ней. И вот уже ее нет, нет лица, нет глаз, только свистки, и грохот, и будущее, где будут гореть города.

АКТЕРЫ

Они собирались все вместе по воскресеньям в два часа. Собственно, в три начиналось уже представление. В этом городе они остались одни; почему так вышло, они и сами не знали. Не будем называть ни города, ни даже страны, в которой все это происходило. Скажем только, что страна была когда-то большая, когда-то прекрасная страна, теперь разрушенная, искалеченная, живущая впроголодь. Город был столицей этой страны, а герои рассказа были русские актеры.

Они остались одни. Говорят, что актеры – народ беззаботный, лежковерный, птичий, и это, должно быть, справедливо. Все кругом уехали. Иные прямо бросились к границам: швейцарской, итальянской, восточной. А они и не подумали, не успели. В большом, в громадном городском парке в день, когда... ну, словом, в самый страшный день, день забастовки, перестрелки, разрушения церквей, бомбы, взорвавшейся в парламенте, они кормили ланей бутербродами с ветчинной колбасой, нашпигованной фисташками.

А помните, как десять лет подряд они играли «Юлия Цезаря», «Мечту любви», «Женитьбу», «Джона Габриэля Боркмана» в маленьком нарядном зале на сто восемьдесят шесть мест? И мы, когда приезжали из Парижа, смотрели их, а не только кружевной собор, с открыток пересевший на площадь, не только старых испанцев в залах самого праздничного в мире музея, не только синюю-синюю, чем-то русскую реку, которая так навек и связалась с вальсом, которому скоро сто лет.

У них был меценат: как в сказке, богатый иностранец, женатый на старой русской актрисе, игравшей в театре Суворина – в самой ранней юности – комических старух и в старости уже ничего не игравшей. Что бы они ни ставили, они не знали провала: на премьере в зале бывало ровно сто восемьдесят шесть человек, на втором представлении – те семьдесят, которые не поместились. В третий раз пьеса уже не шла; через два года они ее возобновляли. Опять было то же. И только запомнилось, что в год эпидемии гриппа (двадцать девятый) на вторые представления вместо семидесяти человек приходило тридцать.

Теперь у них не осталось ни одного зрителя. Еще год тому назад их было восемнадцать, и для них играли уже не в театре, а в большой мастерской, где жили Королевич, вожатый труппы, Карл Моор, Подколесин и Михаил Крамер, а с ним – Баар, на все руки мастер, суфлер и бутафор в одном лице, умевший сочинять, малевать, греметь на рояле, знавший, как из двух стульев, стола и картонного окна сделать чеховский интерьер с ибсеновской далью, бравший в костюмерной четыре костюма эпохи Елизаветы Английской на пятерых.

Зеленая голландская печь была натоплена с утра, восемнадцать стульев расставлены в три ряда. Из подвала были принесены дрова и из них построена рампа, и там на шнурах зажигались две лампочки, голубая и белая. Днем (таков был обычай), в три часа, перед восемнадцатью зрителями, которые были оповещены о событии письменно, был разыгран водевиль «Теща в дом – все вверх дном», после чего занавес, сшитый из шести простынь Люлей, Люсей и Евгенией Меркурьевной, в последний раз сомкнулся под бурные аплодисменты зала.

Это было год назад, после чего опять подошло воскресенье, последнее воскресенье месяца, когда по обычаю они играли. Была зима. Город был весь в снегу, пустой и тихий, полный великолепных военных и побитых штатских, хорошо расчищенный от иностранцев. В большом государственном театре новые правители произно-

силы свои речи, театры поменьше были закрыты и перестраивались, в кинематографах показывались въезды и выезды, приемы и встречи знаменитых людей, перепоясанных ременными поясами, стройных, плотных и не старых. И так случилось, что никто не пришел смотреть очередное представление, и тогда они – о ветреный, о детский народ! – заиграли для самих себя одну из пьес своего репертуара.

Сначала не все были согласны играть перед рампой, сложенной из дров, за которой была пустота большого сумрачного чердака с покатым потолком и зеленой печкой. Но это представление можно было отчасти счесть за репетицию. В следующее воскресенье сыграли опять то же, по обычаю всегда все играть по два раза. Через месяц, собравшись, обновили два акта Островского, которого не возобновляли четыре года. Потом, уже в феврале, откровенно признались друг другу, что не играть не могут.

И правда: говорить им друг с другом было не о чем, всё друг о друге было давно узнано, но, не имея другого зрителя, они могли играть друг для друга. Нельзя сказать, что между всеми этими шестнадцатью людьми была дружба, товарищество или было согласие. Среди них было две пары, так сказать, законные – для отцов, матерей, пожилых добряков и интриганок, и две незаконные – для страстных сцен, коварства и любви. Были две недурненькие особы в возрасте тридцати лет, со схожими именами, одна смешливая, другая – посерьезнее; они когда-то учились в студиях юга России и что-то общее унесли с собой, какую-то бессмысленную загадочность и крайнюю податливость на чувства. Была, наконец, у Королевича пара – драматическая актриса Виолова, красивая пятидесятилетняя женщина, державшаяся на какой-то как будто жизненной грани – возраста, страстей, славы, и все казалось, один маленький шаг (ступня у нее была узкая, рука тонкая, таких когда-то воспевал Блок), один шажок, и вот все разрушится: здоровье даст трещину, грянет старость,

любовник уйдет к другой, и женщина эта сядет вышивать – сдельно или почасно – у окна одинокой комнаты в тридевятиом царстве, в полуразрушенном чужом государстве...

Но меценат их был еще в городе, тот белокурый, седой, толстый человек, что когда-то женился на русской. Он только никуда теперь не показывался, жил за городом и медленно, неслышно устраивал свои дела: переводил деньги из банка в банк, продавал дома, закрывал заводы, собирался уехать. К нему иногда ездили на розовом трамвайчике, в глубину темно-зеленой хвои, и вкусно, сытно у него обедали, пели ему здравицу, и жене его, и дочерям, подносили по-таборному, на одном колене.

Прошлой осенью кончилось и это, а они все продолжали собираться и играть для самих себя в пустой мансарде. В заклад были отнесены не только сережки и кольца, но и юбки, и жилеты. Кто был помоложе, работал и пил, женщины с отчаянной кротостью принялись собирать по прачешным белье и его гладить. У Королевича за перегородкой жило еще двое, а Виолова снималась статисткой в фильме, содержание которого так и не удалось ей узнать.

Был среди них старый, матерый актер, лет сорок игравший еще в русской провинции, он жил без печки и без воды, сломал свои искусственные зубы, разбил очки и теперь, стесняясь слепоты и дряхлости, держался в стороне от всех, сидел в дальнем углу и молчал. А недурненькие девицы, обе немножко влюбленные в Баара, пудря тальком красные руки и закусывая копченой рыбой, пьянели от горячего чая.

Рампа давно была сожжена. Королевич закидывал назад пышные волосы с волной и проседью, и, оглаживая бархатистое полное лицо (в *той* жизни ему не раз говорили: какая у вас артистическая внешность), Королевич, лишенный костюмов и вместо грима употреблявший теперь какое-то розовое сало, все прислонялся к печке, от которой несло блестящим кафельным холодом.

– Главное – есть нечего. Главное – играть некому. Главное – топить нечем. Главное – деваться некуда, – говорил он, а Баар, в длинных руках согревая свои ноги, слушал его.

– Куда ни ехать, всюду уже есть такие, как мы, или похожие, – сказал отец семейства.

– А ехать-то куда? Куда ехать прикажете? – заговорил державшийся на ампулу простакон, – ведь не тянуть же на узелки европейские столицы.

– Страшнее всего, что не помрем, а так, неизвестно как, просто кончимся, – прошамкал «настоящий» актер.

Баар вскочил, запрыгал, чтобы согреться.

– Говорите! Говорите! Очень это у вас хорошо выходит. Из всего этого можно было бы сделать роскошную пьесу, – он обеими руками рознял табуретку и понес ее в печь. – Первый акт: случайные люди сошлись вместе, счастливая жизнь на обломках крушения, на папанинской льдине. Соединились в труппу, живут не тужат. Даже скажем для убедительности, дети у них рождаются, кто-то в кого-то влюблен. Дни бегут, бегут, и так далее. Второй акт: происходит нечто, ну совершенно неважно, что именно, от чего они остаются одни. Ну там прозевали что-нибудь или на роду было им написано. Катастрофа. Не все ли равно какая! Где-то, мерещится им, города, большие и маленькие, полные зрителей, ходят и ходят там в театры, говорят между собой по-русски, аплодируют, беснуются... А дни все бегут. Третий акт... Да я лучше напишу все это... Ни грима, ни декораций, все – о натюрель. «Сцена изображает мансарду Королевича. Королевич у печки. Баар – в одних носках. Петр Иванович и Иван Петрович дуются в свои козыри, в отдалении Сергеев-Горский делает себе маникюр огромными ножницами».

К о р о л е в и ч. Это не театр. На меня будто наложили мое собственное подобие, негатив на позитив, получается реальность. Я этого играть не могу.

Б а а р. Вы уже играете. Кстати, нынче воскресенье. Вы помните, что это за день? Вы обязаны.

Сергеев-Горский. На плавучей доске в этот день давались представления.

Волова. Да вы послушайте только, поймите! Играю и сама не знаю, что именно. Спрашиваю: в чем содержание? Сюжет-то какой? Говорят: это вас не касается, да мы и сами его хорошенько не знаем. Дано название, дан метраж... Нет, вы послушайте, ведь это ужасно! Как же играть?

Бар. Господа, а ведь начнется с того, что нас всех арестуют за просрочку паспортов. Надо что-то решить, что делать дальше.

Люся. Я лягу спать. Королевич, можно на вашем диване?

Петр Иванович. Вы с чего пошли только что? С бубен?

Иван Петрович. Я не обязан, батенька, такого правила нет, чтобы отвечать вам на все вопросы.

Корольевич. Стойте! Прекратите это! Ведь это же гадость! Я не желаю участвовать в этой мерзости. Я сейчас Шекспира начну декламировать. Мне просто жутко от такой галиматьи.

Бар (*смотрит в тетрадку*). Все это вы говорите совершенно точно, по роли.

Корольевич (*становясь в позу*).

О, мощный Цезарь, ты лежишь во прахе!
 Пред славою твоих завоеваний,
 Триумфов и побед склонялся мир,
 И что ж ты стал теперь? Лишь горстью праха...
 Прости, прости!

Или мы актеры, или мы все сошли с ума? Освободите меня, пожалуйста, от всего этого.

Люся. Не размахивайте так руками, Королек. Когда я размахиваю, вы на меня кричите.

Евгения Меркурьевна. Что ж, коли нет костюмов, придется, значит, в своем собственном играть.

Нина Берберова

П о ж и л а я а к т р и с а (*тихо*). А собственное-то все в дырах.

А к т р и с а п о м о л о ж е. Мне сегодня письмо пришло из Белграда, сестра к себе зовет.

Б а а р. Господа, я опять призываю вас к благоразумию: довольно мы наделали глупостей. Давайте же что-нибудь решим, так дальше продолжаться не может.

К о р о л е в и ч. И это ваш третий акт? Да по какому праву? (*Срывает с окна бархатную занавеску и закутывается в нее, как в тогу.*)

Прости меня, кровоточащий прах,
Что ласков я и нежен с палачами.
Такого мужа мир еще не видел!
Проклятье тем, кто в прах его повергли!
Дух Цезаря о мщении взывает...

Все это произошло за месяц до Рождества, и это было их последнее представление.

Из шестнадцати человек сейчас в городе осталось всего пятеро: двое действительно были взяты при облаве и посажены в тюрьму за просрочку документов, их, вероятно, скоро вывезут на какую-нибудь границу. Виолова устроилась на съемках и пока кормит и себя, и Королеви-ча. Они поселились в маленькой гостинице, где раньше жили студенты, художники, натурщицы и музыканты. Сейчас они там одни. И на улице совсем темно и пусто, особенно вечерами. Баар – в больнице.

Остальные выехали кто куда. Трое получили визы во Францию. Сергеев-Горский умер.

АРХИВ КАМЫНИНОЙ

Камынину приснился странный сон – только через несколько дней выяснилось, что сон был самый обыкновенный. Он увидел себя крошечным, не больше мухи, в собственном раскрытом рту. Он узнавал свои громадные, еще крепкие зубы, по которым карабкался, как по скалам, с опаской поглядывая на покоящийся неподвижно и все-таки страшный язык, на высокое нёбо, до которого при всем старании он никак не мог достать рукой. Все это было самого будничного красноватого цвета, и только два полукруга зубов с их черными пломбами чернели скользко и влажно.

Мимо передних двух зубов, узких и тесно прижатых один к другому, по изнанке длинного клыка он прополз к первому коренному, широкому, желтому, с серебряной пломбой, и собрался присесть на его острый край, когда он увидел, что за пломбой зияет щель, из которой дует холодом. Он просунул голову. Это был ход, ведущий неизвестно куда. Камынин решил войти. С трудом пролез он на животе, цепляясь пиджаком за острые выступы, протянув вперед руки. В темноте был поворот, потом еще один. Проход становился все шире, уже можно было встать на четвереньки. Внезапно впереди блеснул свет, и через мгновение открылась даль с небом, озером, цветущими деревьями, с какой-то статуей над тихо журчащим фонтаном.

В ту же минуту он подумал: только бы не проснуться! Чувство радости охватило его, чувство покоя, свободы, странной поэзии, которая утром исчезла, и проснувшись,

он даже подумал, что пейзаж слегка смахивал на пейзаж конфетной коробки или открытки из тех, которые посылаются из горных местностей. Что-то в нем было слишком розово, слишком серебристо, слишком нежно смотрела статуя в голубую даль, и так чист был водоем, и такое вокруг было густое и сверкающее цветение.

Но во сне хотелось одного: не просыпаться. Погулять вокруг, посидеть на зеленой скамейке; может быть, встретить кого-нибудь, кто прибрел сюда тоже не совсем обыкновенным способом; вообще остаться здесь, не возвращаться. Но сон, конечно, кончился как-то очень скоро. Камынин зажег свет, посмотрел на часы, потрогал зуб, надавил. Было только немножко больно.

Через несколько дней зуб уже болел по-настоящему, и Камынину пришлось отправиться к врачу. Он давно не лечился, но помнил, что лет восемь тому назад был у одной дантистки, которая большими, нежными руками, влажно пахнущими мылом, что-то ковыряла в этом самом зубе. Она делала это так уютно, так медленно, была сама такая тихая, белая, так вяло и сонно звякали на стеклянном столе металлические инструменты, что Камынин решил пойти к ней: несмотря на то что принимала она его в холодном, выкрашенном масляной краской кабинете, ему тогда стало хорошо от ее молчания и скрытой силы.

– Пойди непременно, – сказала ему пожилая дама, с которой он жил и которая всегда уговаривала его сделать именно то, на что он уже сам был согласен. – От зуба бывают осложнения. Она тебе положит туда что-нибудь. Пойди непременно.

Он не помнил ни адреса, ни имени, но помнил улицу. Походив немного взад и вперед, он нашел дом и дощечку и уже по аптечному запаху на лестнице понял, что это здесь.

В приемной сидело трое, но сама приемная напомнила ему сразу все забытое, бывшее восемь лет тому назад. Все было то же, но он был другой. В этом самом кресле он сидел тогда, ежась от боли и страшно спеша, потому что та

женщина, с которой он теперь жил, ждала его в кафе на углу, обещала, так и быть, дождаться, если это не будет слишком долго и если она не соскучится. Он тогда еще не жил с ней, а только встречался, и она так капризничала, что он просто не знал, что делать, как ей угодить. Мысль о том, что она уйдет, рассердившись, и потом будет упрекать его, и боль, сверлящая под самым глазом, так мучили его, что он тихо ныл, не отрываясь смотря на дверь. А над дверью, под самым потолком, висела окантованная картинка: что-то отдаленно напоминающее «Хирургию» Чехова. На столе лежали журналы, иллюстрированные, затрепаные. Давно это было. Грустно вспоминать и немножко смешно сознавать, что все меняется, одна приемная зубного врача остается.

Тот же сумрак в окошке, тот же дом напротив, тот же рояль, на котором, может быть, за эти годы никто ничего не сыграл, те же люди ждут и, вероятно, та же милая, белая, кроткая и сильная женщина, если, конечно, не умерла, не продала, не уехала. И только он другой, и жизнь другая, и взбалмошная особа постарела, не ждет его больше и не носит ярких платьев, которые он так любил на ней. Как и восемь лет тому назад, на столе лежали журналы, книги, больше французские, но были и русские. Был четвертый том «Чтеца-декламатора», начинавшийся «Вороном» Эдгара По, роман «Погибшие струны», наверное, очень интересный, советский ежемесячник (книга десятая), печатающий всевозможные литературные и исторические документы. Камынин открыл его, прочел оглавление, и в нем вдруг все на мгновение остановилось.

В это время открылась дверь, и по-другому причесанная, с мягким лицом появилась дантистка, вопросительно взглянула на сидящих, поклонилась ему, не узнавая, и впустила какую-то барышню. Опять все стало тихо. Между тем Камынин опять перечел оглавление советского журнала, потому что в нем для него было что-то до того необычайное, до того невероятное, что надо было сейчас же выяснить, поймать, понять.

Между донесениями Бенкендорфа, перепиской Страхова, рассказом о последних днях профессора Павлова, неизданным восьмистишием Полежаева он прочел: «Из архива З.Н. Камыниной». З.Н. Камынина была его мать.

Восемьдесят вторая страница. Он перелистал книгу, нашел. В небольшом предисловии сообщалось, что в библиотеку имени Ленина в Москве недавно поступил чрезвычайной ценности архив, «еще ожидающий своего историка»; З.Н. Камынина, говорилось дальше, в течение одиннадцати лет была «подругой жизни» человека, каждая черточка жизни которого есть ныне достояние потомства (здесь была доставлена фамилия, от которой у Камынина сердце встало поперек груди). Архив этот состоял из трех частей: а) переписки Камыниной с этим человеком – 117 писем ее к нему и 93 письма его к ней; они частично печатаются ниже; б) подготовляющегося к печати ее дневника за годы 1907–1918, времени их близости; и в) воспоминаний дочери Камыниной, недавно умершей, о своей матери, «женщине весьма примечательной для своего времени». В конце сообщалось, что писатель Павликов в настоящее время готовит роман, где будет описана любовь Камыниной, роман, основанный на тщательном изучении опубликованных и еще не опубликованных документов.

Камынин шумно водил ногами под креслом и подбирал дыхание. Опять открылась дверь, но не та, другая, и в приемную вошел господин с мальчиком лет десяти. Долго выбирали они место, где сесть. Камынин увидел, что он второй на очереди, и, повернувшись спиной к сидящим, собрал в руку страницы книги, словно хотел их выдержать, но только слегка смял.

Оскорбительна была эта четкость печати, ведь письма наверное были неразборчивы, как все вообще письма, и наверное – все разные. Оскорбительна была эта четкость дат, поставленных в скобки, со звездочками, сносок у собственных имен и мелькание здесь и там такого невозможного, такого открытого «ты».

В эти годы он уже кончил училище, был призван, был, значит, взрослым, все понимал, все видел, а вот не увидел, не угадал. И даже теперь он не может выкопать из памяти того человека и свою мать, вместе, рядом, их не было. Дикий сад, вечерний сырой сумрак дачного поселка или городская квартира, он никогда не видел их наедине. Жили открыто, принимали, угощали, выезжали... Но где был он? Были фотографические снимки, в Симеизе, но *его* на них не было. И за границу она ездила, но не с ним! Разговор был у Камынина с ней однажды (захлебывался он в воспоминаниях): не кажется ли тебе, мама, что писатель часто бывает меньше своих книг, вот, например, как... Но что она ответила, он не запомнил.

– Ваша очередь, – и круглая рука пригласила его в белую дверь.

Он встал, бледный, растерянный, пошел на приглашение.

– На что жалуетесь? – спросила дантистка, моя руки за его спиной, а он усаживался в кресле, прилаживал голову.

– Я уже был. Давно. Вчера заболело. Я думаю, там дыра.

Она, наклоняя к нему лицо и налегая телом на ручку кресла, поймала зеркальцем дупло и тихонько запустила в него что-то острое. Он терпеливо смотрел на ее щеку в легком ровном пуху и пудре, на шею с двумя женственными складками.

– Придется закрыть, – сказала она со вздохом и грустно посмотрела на него.

– Пожалуйста, только чтобы не болело. Вы уже тогда говорили, что нужно закрыть, да как-то не вышло.

– Да, я помню, – неуверенно ответила она и искала что-то на полочке. – Теперь это необходимо, иначе зуб потеряете. Поставим красивую коронку. Но сперва лечим, нерв уберем.

И быстро, как будто стесняясь его и себя, нежной, но уверенной рукой она засверлила ему больной зуб.

Все было тут: стыд за свою слепоту и наивность, и какая-то пошлая гордость, и обида за отца, и страх, что он мог прожить и не узнать, и таким диким способом узна-

Нина Берберова

ная новость о смерти сестры Ани, а главное, ощущение полного одиночества, какое подступает к человеку не больше двух-трех раз в жизни, – некому сказать, не к кому пойти. Вот, значит, как прожила она свою жизнь и теперь принадлежит потомству...

– Мне больно, – сказал он невнятно.

Машина остановилась.

– На сегодня довольно, – сказала дантистка, – приходите во вторник. А на той неделе мы, может быть, его уже закроем.

Она положила в зуб лекарство, то самое, которым пахло на лестнице, и улыбнулась.

– У меня к вам просьба, – сказал он, уже вставая с кресла и смотря на вырез ее белого халата, заколотого английской булавкой, – до вторника, только до вторника, разрешите мне взять номер там одного у вас журнала, на столе лежит. Я непременно верну его, я всегда возвращаю книги.

– Возьмите лучше «Погибшие струны», – сказала она с убеждением, – а впрочем, возьмите журнал. Если у вас дома есть что-нибудь почитать, принесите мне, я очень люблю читать, и пациенты любят.

Он вышел и на углу, в том самом кафе, где когда-то сидела и поджидала его капризная дама (и кафе было то же, и хозяин тот же), сел за столик.

Когда мать умерла, он был в Крыму, был далеко, никого не видел, воевал, странствовал, болел после ранения, оторвался от дома. И вот теперь память подламывается под ним, сам по себе остается безмятежный, ложный в своей безмятежности облик матери: близорукими глазами она смотрит в нотный пюпитр, а руки ее тихонько что-то делают над клавишами; вот вокзал в облаке вечернего тумана и ее улыбка в окне; дальше – гром бальной музыки и дымчатое платье с шлейфом, первая дымчатая седина над виском – какая же ты молодая! Сам по себе остается этот образ, и сам по себе остается – и тоже движется – облик мужчины с твердым мужицким лицом, тонким голосом и русской лысиной, чье-то крыла-

тое слово дополняет его: «В самом свинстве его всегда был заметен талант».

Его письма показались Камынину тягостно-скучными, нравоучительными, слишком многословными. Мелькали в них имена его самого, сестры и даже его отца. Комментарий был сделан добросовестно. Ее письма были приведены в извлечениях, их было больно читать. Она любила его.

Во вторник он вернул книгу. Опять близко наклонялась чужая, молодая еще, равнодушная женщина, касалась его лица, заслоняла собой всех других. И ему казалось, что она говорит:

– Плотно закроем. Придавим. Заделаем. Наденем красивую коронку. Чтобы не снились сны.

СТРАШНЫЙ СУД

Как хороши, как свежи были розы!

– Я познакомился с Ланским двадцать лет тому назад, еще в России (в год, когда наш государь император отрекся от престола). Он только что вышел в офицеры, ему было лет двадцать пять. Это был молодой человек вполне комильфо, однако с примесью того, что называлось в нашем обществе авантюризмом. Кажется – страстный игрок и большой аматёр до женщин. С фронта он вернулся с Георгием, много шумел по Москве, но бывал всегда только в приличном обществе. Потом я встречал его на юге России, когда уже начались безобразия. Он ни в одном городе не мог ужиться, вероятно, по беззаботности своего характера, и во время гражданской войны я видел его и в Киеве, и в Крыму, и в Одессе. Одно время он, говорят, скупал какие-то земли в Херсонской губернии. Под Севастополем храбро дрался, как подобает кадровому офицеру. Позже я встретил его уже в Константинополе, он, если не ошибаюсь, держал там ночной ресторан, дела его шли блестяще. В Париже мне не довелось с ним столкнуться. Я слышал, что он одно время сильно нуждался, ночевал чуть ли не на улице. В конце концов он женился на этой вот даме, которую я сейчас вижу в первый раз. Мнение мое о нем, если позволено будет сказать, сложилось такое: в высшей степени порядочный человек, энергичный, но не очень умный...

– Благодарю вас, – прервал председатель, – ваше мнение суду совершенно не интересно.

– ...не очень умный, – заторопился свидетель, – неустойчивый.

– Я знал Ланского хорошо. Мы несколько лет прослужили с ним вместе в акционерном обществе «Арсэвита». На службе это был исполнительный, аккуратный человек. Ему даже доверяли иногда крупные суммы. Ни о какой принадлежности его к какому-либо тайному обществу я никогда не слышал. Жену его я видел несколько раз. Она иногда заходила за ним в контору. Мы никогда не слышали, чтобы он изменял ей; женщины, кажется, его совершенно не интересовали. По-моему, он был слегка равнодушен к спиртным напиткам. О политике мы говорили с ним редко, насколько я мог понять, он был умеренных взглядов. Потом он ушел из «Арсэвиты». Случилось это внезапно, он объяснил, что нашел другое место, в каком-то кинематографическом деле. Это было в ноябре. С тех пор я потерял его из виду.

– Я близко знала Ланского и его жену, потому что мы долгое время жили с ними на одной лестнице. Она иногда заходила к нам днем, когда муж бывал на службе. Мой брат и я часто бывали у них по вечерам. Они жили дружно. Он, конечно, был человек не совсем обыкновенный, с тягой к лучшей жизни, но мне кажется, в последнее время семейная жизнь понемногу переменяла его. Он бывал очень занят и иногда возвращался домой только к ночи. Мне никогда не приходило в голову, что у него могла быть вторая жизнь. Когда мой брат умер, я переехала и стала бывать у них реже. В последние месяцы мы почти не видались. Мне кажется, приблизительно с Рождества они стали жить очень уединенно. На предварительном следствии вышло так, будто я сказала, что мой брат перед смертью признался мне в том, что Ланской якобы хочет убить одного человека. Это было не совсем так, и в протоколе записано неверно. Брат сказал мне: Ланской странный человек: он мог бы убить и не дрогнуть. Вот и все. Но я все-таки никак не могу поверить...

Нина Берберова

– Благодарю вас, – сказал председатель и поставил перед собой руку веером.

– Нам доподлинно известно, – медным голосом прогремел прокурор, еще не старый, худой, с начесом на лоб сизых волос, – нам известно из показаний других свидетелей, – и он трахнул кулаком по лежавшим перед ним бумагам (но никто не поверил ни кулаку, ни голосу, и на минуту в воздухе сгустилась тень театрального представления), – нам совершенно ясно, что подсудимая была в интимных отношениях с вашим покойным братом. Что вы нам скажете по этому поводу?

– Нет, этого не было. Была только дружба, и с нею, и с ним, с Ланским. Брат мой был уже очень болен в это время. Я вообще считаю...

– Вы свободны, – сказал председатель и задвигал тяжелыми, негнушимися бровями.

Но Аллочка, нарядная, в белых перчатках и в нарочно для этого случая купленной новой шляпе, надушенная, большеглазая, не хотела уходить.

– Я хочу еще добавить, что когда Ланские только что поженились и он был без места, Ланская брала на дом шитье и несколько месяцев они жили на то, что она зарабатывала.

Председатель опять выставил перед собой руку веером. Маленький, с огромным носом фотограф подбежал к Аллочке, вспыхнул магний, и двенадцать присяжных (шесть усатых и шесть безусых) увидели в упор на них устремленные умоляющие, полные слез Аллочкины глаза. Она шархнула из-под магния и едва не упала на следующего, подходившего вразвалку, с черным пластырем на одном глазу. Этот глаз у него был глубоко вдавлен, а другой имел в себе что-то птичье.

– В десятом часу вечера, в тот самый четверг, только что мы с женой пообедали, в дверь постучали. Какой-то мосье спрашивал Ланского. Я сказал: четвертый этаж налево – и заметил, что на мосье было старое коверкотовое пальто. До того дня я никогда его не видел. Приблиз-

тельно через час, я еще не ложился, я услышал, как кто-то тяжело спускается с лестницы. Я увидел Ланского; он вел мадам, обняв ее за талию. Я нажал кнопку, чтобы открыть им дверь, мадам у лица держала платок и была без шляпы. Я подумал: а где же их гость? И куда они так поздно? В этот день, смею сказать, к нам приехала дочка с зятем. Дочка тогда ожидала младенца, и мы положили ее на нашу кровать, и зятя тоже, а сами с женой легли на полу, на матрасе, который для такого случая специально нами приобретен.

– Ближе к делу. Это никого кроме вас не касается.

– Прошу прощения. Я сейчас. О чем это я? Да, так вот легли мы и заснули, а утром я встал и пошел выносить золу во двор и вдруг вижу: в квартире Ланских свет горит. Девять часов утра, солнце, а у них зажжено электричество. Каждый час ходил я смотреть и звал соседей. Звонили, стучали, а к вечеру позвали полицию. Когда взломали дверь, то мосье в коверкотовом пальто лежал, как я уже имел честь докладывать, лицом вниз посреди спальни, а шляпа его была положена на стул. Радиоаппарат был опрокинут, револьвер валялся тут же, и кровь, когда его подняли, до того залепила ему все лицо, что в первую минуту я не узнал его и подумал, что это сам Ланской.

Медленно, спокойно, с барской самоуверенностью на широком бритом лице (которое его друзья и любовницы называли мордой) подходил к барьеру Калязин, поводя глазами и играя низким покашливанием.

– Да, она провела ночь у меня, – сказал он, в упор глядя на председателя, – она пришла часов около двенадцати, а ушла в семь. Мы оба не сомкнули глаз, конечно, потому что оба были взволнованы. Сперва она сказала, что потеряла мужа на улице, а домой боится идти, потому что у нее такое нервное состояние. Потом она плакала и говорила, что муж бросил ее. Поймите мое положение! Ведь мы, господин председатель, друзья с ней – только, ни-ни чтобы этого или там как-нибудь. Я ее знаю с юности. Ну там, в юности, может, и была какая-нибудь глу-

Нина Берберова

пость, да ведь это давно забылось. С тех пор я был три раза женат, да и она нескольких мужей переменяла.

Где-то дрогнул смехок. Председатель опять поднял руку веером.

– Войдите в мое положение, – повторил Васька Калязин, рисуясь и изображая из себя старинных кровей аристократа, друга детства Николая Второго, одним словом, де Калязина, – сидит у меня женщина и плачет. А утром, чуть рассвело, иду, говорит, в полицию. Ну, тут уж я отговаривать стал. Подожди, говорю, голуба, хоть до вечера. Может, с тебя сойдет, говорю, дурь. А то каково же мое положение? А она мне: мы, говорит, человека убили.

Прокурор, откидывая рукава черной мантии и простирая жилистые кулаки в пространство, вскочил со своего кресла. Все, что он ни делал, было фортиссимо, и рядом с ним, величественным трагиком, все остальные казались комедиантами любительской сцены.

– Я, кажется, услышал правильно? – загремел он. – Она сказала: «мы» убили?

Адвокаты заметались на своей скамье, и один из них выкрикнул фальцетом:

– Это было сказано фигурально. Притом она была на грани истерического припадка.

Васька Калязин дождал минуту, словно собираясь с мыслями, и с удовольствием повторил:

– Мы, говорит она, сейчас человека убили. И кто он, говорит, мне совершенно неизвестно. Муж мой, говорит, вывел меня из дому, завел на какой-то перекресток, против сада какого-то, сказал, чтобы я его ждала, а он только за папиросами сбегает. Я его ждала – сколько, не помню, может быть, час, а может быть, и пять минут, а потом пошла куда глаза глядят. И вот до тебя дошла. Не гони, говорит, дай мне передохнуть, я, говорит, утром постараюсь тот угол против сада найти, может быть, он меня еще там дожидается. А не найду, говорит, так еще в одном месте поищу...

Присяжные шевельнулись.

– И уж если в этом месте не найду, то тогда предамся в руки правосудия.

И Калязин низко поклонился.

– Господин Пшепетовский, – сказал председатель и уронил лицо в руки (у него была такая привычка, и залу каждый раз казалось, что он сейчас застонет от съедающей его скуки). – Господин Пшепетовский, спросите подсудимую, что она хотела сказать, когда хотела сказать, ну да, то есть, что она подразумевала, когда говорила, что встретит мужа в одном месте? Было ли это условленное у них место свидания, или квартира какая, и почему имелось такое место, для каких надобностей? Не скажет ли она нам адрес и не объяснит ли, почему в конце концов она никуда не пошла, а прямо отправилась от свидетеля в комиссариат полиции?

Маленький толстый человек быстро встал со своего места, облокотился о дубовую низкую загородку, за которой сидела Лена Ланская, и, нагибаясь к ней и смущаясь, спросил:

– Президент опрошают: где имеется «одно место»? Где оно такое есть? Они опрошают: было или не было свидания у вас и с супругом?

Он смущался оттого, что не знал русского языка, но русский переводчик был занят в этот день не то в Версале, не то в Мо, и Пшепетовскому пришлось заменить его, чем отчасти он был польщен.

Она сидела на длинной дубовой скамейке совершенно одна. За ее спиной стояли городовые. Но минутами ей начинало казаться, что тут же рядом с ней сидит он, которого нет. Только он сделан не из плотного вещества, из которого сделаны адвокаты и городовые, а из чего-то прозрачного и виден ей одной, и сквозь его бессмысленно улыбающееся лицо и грудь (жилет, галстук, булавка) сквозила зала: лицо пристава, румяное, с глазами, похожими на изюм, выпускающего и впускающего свидетелей, лица репортеров, среди которых был один русский, тихо сказавший ей, когда она вошла: «Держитесь. Могут

Нина Берберова

дать пять лет». Он сидел здесь, на лавке, очень бледный, смотрел на нее с милым и нахальным видом, словно только что соврал ей что-то. И опять его не было, и она старалась не поворачивать головы в ту сторону, чтобы только чувствовать, но не видеть его присутствия.

Русский репортер эмигрантской газеты крепкими пальцами с короткими широкими ногтями маленьким карандашным огрызком начал писать на листе бумаги:

«Один. Скобка. Точка. Почему он вывел ее из квартиры? Почему не убежал один? Она боялась остаться с трупом. Выиграть время. Хотела бежать в участок. Муж боялся, что она побежит в участок.

Два. Скобка. Точка. Почему он обещал ее встретить в условленном месте? Это все вранье, добра ей не принесет. Он знал, что не вернется в тот угол. Бежал. Куда?

Три. Скобка. Точка. Спросить маму, сколько стоит билет к тете Веке, и ехать в субботу, если меньше тридцати. В противном случае намекнуть, чтобы оплатила проезд туда и обратно».

Потом пошло столбиком:

$$\begin{array}{r} \text{«}27.50 \\ \quad 8.90 \\ \quad \underline{2.20} \\ \text{38.60}\text{»} \end{array}$$

Он посмотрел на Фемиду с весами, на большие часы и продолжал:

«Четыре. Скобка. Точка. Опознали убитого по документам в кармане немедленно. Месть? Старые счета? Сколько лет ждал? Ее – за соучастие. Хорошенькая.

38.60.

Если самому за билет – останется 8.60 и ждать до вторника.

Пять. Скобка. Точка. Скучно мне. Скучно. Ску. Очень ску. Как тому, направо, который выпустил слюну на подбородок, заснул. Сегодня – 220 строк, завтра 180

строк, послезавтра – приговор. Клише. Портрет. 38.60 и еще, может быть, 1.25. Туговато.

Туго.

Вата.

Тугов.

Дата.

Карачун.

Зарплата

Кременчуг.

маловата».

На все вопросы она отвечала через переводчика. Пшепетовский старался создать атмосферу доверия, наклонялся к ней отечески и смотрел ей в лицо большими серьезными карими глазами, в которых плавал ее взгляд, заплывал в них глубоко, и тогда она опускала веки. От Пшепетовского сильно пахло нафталином и окурками, и иногда ей опять на ум приходили какие-то странные подозрения, что Ланской здесь, но не на скамейке призраком самого себя, а в публике, живой, здоровый, отпустивший бороду, обритый наголо, стоит вон там, в глубине зала, стиснутый другими любопытными, стоит и слушает, свободный, легкомысленный, смешливый, издали смотрит на нее и старается не смеяться. Он велел ей никому никогда ничего не говорить больше того, что люди сами знают. Ах, какое интересное правило! Люди ничего не знают. И она научилась не говорить. Вот она с адвокатом в незнакомой пустой комнате. Адвокат говорит, что должен знать, на чем построить свою защиту. А ей хочется вылететь на крыльях в высокое окно, прямо в небо, по которому ходят трамваи. Адвокат был знаменитый, таких умных людей она никогда на своем веку не встречала, он выпытал у нее многое, а потом вдруг в один непохожий на другие день остановил ее, сказал, что ему довольно знать и большего он знать не хочет, что ему это только испортит всю музыку. Он так и сказал – «музыку», и она подумала тогда: не-

Нина Берберова

ужели это все только музыка и я часть этой музыки – тири-лири-там-там-там... И больше ничего.

Часовая стрелка над Феמידой дрогнула. И я, сидевшая рядом с русским репортером, вдруг увидела в высоком окне башню, на которой зажглось три огня. Три луны висели прямо передо мной: два циферблата башенных часов (повернутые ко мне боком) и настоящий круглый бледноватый месяц, похожий на эти одутловатые циферблаты, как брат. Три луны висели в небе, и сто лет тому назад эти три луны непременно предвещали бы что-нибудь недоброе.

– Но я принужден напомнить вам одно постановление, – продолжал чей-то голос, – одно постановление восьмьдесят седьмого года. – Это, кажется, был второй помощник защиты. – И это постановление...

Его голос не успел спуститься к концу фразы. Внезапно что-то произошло. Все головы повернулись вправо. Высокие двери с вырезанными на них мифологическими фигурами поплыли в разные стороны. Я думала о трех лунах и упустила мгновение, когда председатель сказал приставу с медной бляхой: «Впустите следующего». Двери поплыли, и в зал вошла жена убитого. Адвокаты торжественно взглянули на прокурора, по публике прошел ветерок, прошелестевший в молью траченных меховых воротниках.

«Шесть. Скобка. Точка. Два билета на “Отдайся мне!” – 5.90. Откуда взять. Занять? Магдалина, кто дал тебе такое имя? У меня еще не бывало Магдалины.

Роза
Елена
Тамара
Дезире
Жанна
Симонна
Надежда

а теперь будет Магдалина. Магдалина, отдайся мне!»

Три луны сто лет назад предвещали бы мировую катастрофу, падение царств, нашествие врага, пленение городов и весей, глад, мор, погибель, а сейчас у нас они горят и светят совершенно зря, никто не замечает их, кроме меня. И помощник адвоката грозитя прочитать одно постановление восемьдесят седьмого года. Одно постановление... Слева сидит человек с серьезным лицом, похожий на Тургенева, справа сидит другой – он тоже похож на Тургенева, но, как это ни странно, они вовсе не похожи один на другого. Мне хочется есть. Мне хочется домой. Я ничего не предугадываю, в голове моей плывут какие-то образы. А русский репортер все строчит. Часы показывают без десяти шесть, и скоро объявят перерыв.

– Я не знаю этой женщины, я никогда не видела ее. Я даже не знала, что она существует, – что-то дерзкое, слишком яркое и сильное начинает звучать в ее голосе. Она старше Лены Ланской, ей лет под сорок. – И по правде говоря, и знать не желаю, кто она...

– Я призываю вас к порядку.

– Ланской был шесть лет моим любовником. Он никогда не говорил мне, что он женат. Муж узнал об этом из анонимного письма, он решил убить Ланского. Я сказала об этом ему, он купил револьвер. Мы решили бежать, но, как видите, я – здесь...

– Свидетельница, ближе к делу.

– Ближе и быть нельзя... Мы решили бежать, но в последнюю минуту Ланской решил поступить иначе – он решил бежать один. Так я понимаю его поведение.

– Если он решил сбежать от жены и любовницы, – раздался шепот за моей спиной (это «Пари Суар» шептал «Таймсу»), – но зачем было убивать человека?

– Ш-ш-ш! Он убил защищаясь, теперь все ясно, сейчас конец. Ланскую выпустят.

Присяжные любят такие минуты. Усатые и безусые смотрят в упор на свидетельницу. Прокурор прикурнул. (Я, кажется, стараюсь острить?) Два Тургенева вдруг проснулись, один высморкался, другой откашлялся. Русский

Нина Берберова

репортер строчит: «...разорвалась бомба. Это было за пять минут до конца. Адвокаты выпустили под занавес жену убитого, и она заявила...»

Женщина поворачивается, и я вижу ее профиль с твердым подбородком, сверкающим глазом...

«...Где-то, когда-то, давно-давно я прочла одно постановление...»

1940

СУМАСШЕДШИЙ ЧИНОВНИК

Неделю тому назад к Ане Карцевой пришел вечером гость — ее родной дядя, брат ее матери, высокий седой человек с голубыми глазами и белым вздернутым носом. Он всю жизнь считал, что лицом похож на Скрябина. Аня вспомнила об этом сейчас же, как только его увидела.

В ней самой ничего не было от дымчато-пепельной, нежной и легкой породы матери, она вся была в отца: черные брови, черные глаза, широкая кость, тяжелые руки. Отец ее был прекрасным наездником, и сама она лет до двадцати говорила и думала только о лошадях. Но все это давно прошло и забылось. Теперь она служила в экспортной конторе, и жизнь ее была заведена как часы.

Прежде даже чем раздеться, дядя, окинув взглядом комнату, из которой дверь была открыта в кухню, объявил, что оставаться на ночь он не намерен, что приехал он вчера и остановился у одного знакомого повара, у которого есть свободный диван. Повара этого он разыскал... На этом он перебил сам себя, очевидно, решив не пускаться в длинные объяснения, где и как он имел случай подружиться с поваром. Дяде было лет шестьдесят, звали его Сергей Андреич, и жизнь свою он когда-то начал в Петербурге, на казенной службе. Аня едва успела вернуться со службы, как соседка ее по квартире, цыганская певица, стукнула в дверь: «Вас спрашивает какой-то господин». Ане на мгновение показалось, что наконец наступил час, которого она ждала больше трех лет: это пришел Гребис, человек, по которому она сходит с ума и который наконец понял, что ему надо сделать. И вдруг она услышала чужой

Нина Берберова

голос, немного скрипучий, немного манерный, но все еще приятный: «Я, может быть, не вовремя, Нюрочка? Ты, может быть, занята, Нюрочка? Да, это я, Нюрочка».

Аня выглянула в переднюю. Дядя Сережа стоял, худой и седой, в галстук с разводами и с черной сажей в углу голубого глаза.

– А! – сказала она, – откуда ты?

Он приехал из Антверпена, они не виделись лет двенадцать.

«Удивительное легкомыслие: ехать в чужую страну, в незнакомый город, имея в кармане два-три адреса поваров и конторщиц и, может быть, ночных сторожей, – думала Аня, – на что он надеется?»

– Дядя Сережа, я совершенно не понимаю, на что, собственно, ты надеешься?

Волосы у него были легкие, пышные, костюм сидел прекрасно, но был весь в штопке.

– Видишь ли, Нюрочка, – говорил он, играя лицом, голосом, покачивая носком перекинутой ноги, – видишь ли, дитя, самые лучшие наши поступки это те, которые мы сами, так сказать, объяснить себе не можем. Есть такие птицы, летят сами не знают куда. Я забыл, как они называются, но это все равно.

– Нет таких птиц, – сказала она уже из кухни, где старалась придумать, чем бы его накормить. – Всякая птица любит порядок и календарь. И я удивляюсь, что ты этого не знаешь.

Он шаловливо засмеялся и, пересев, перекинул другую ногу.

– Зачем же мне это знать, Нюрочка, если ты это знаешь? Я лучше буду знать что-нибудь другое. И тогда уж мы вместе... – он сбросил пепел с папиросы прямо на пол, улыбнувшись сам себе и весело посмотрев кругом. – Жизнь прекрасна, – он вздохнул, – даже для такого старого ветреника, как я.

Когда они закусили, она рассказала ему про экспортную контору, про блестящего, всеильного, всезнающего

Гребиса и как он ее ценит. У Сергея Андреича была привычка взмахивать рукой, точно он снимал воображаемый локон со своего плеча, когда он слушал. Потом заговорил и он. Аня узнала, что он приехал сюда, потому что в Париж переехала госпожа Колобова, вот уже двадцать два года, как он без нее жить не может, с самой Ялты.

– Да что ж ты не женишься на ней?

Он смутился, однако приосанился.

– Что ты, что ты, дитя, у нее есть муж, она его любит, он прекрасный человек, она его не оставит.

– Тогда давно пора плюнуть.

Он заерзал на стуле.

– Ах, какая ты, Нюлочка, ну как же так не понимать? Ведь это и в литературе бывало, живет, знаешь ли, такая женщина, необыкновенная женщина, красивая, властная, умная. Немножко иногда капризная, но особенная, нельзя не безумствовать, если ее узнаешь. Все вокруг как-то пресно в сравнении с ней. Ну и потеряешься совершенно, станешь за ней ездить по всем городам, стараться, чтобы ей покойно было, стараться, чтобы и мужу было хорошо. Каждый вечер всё к ней да к ней, поселишься где-нибудь поблизости. Муж ее, Федор Петрович, другой раз вечером уйдет, ну и сидишь с ней вдвоем, рассказываешь ей что-нибудь или пасьянс раскладываешь вместе, «Сумасшедший чиновник» называется, никогда не выходит. Или слушаешь ее, всякую мелочь женскую она мне рассказывает, и все так интересно. Советуется. Потом скажет «устала» и спать пойдет. А ты сидишь уже один у них в столовой, ждешь, когда Федор Петрович вернется, чтобы ее одну не оставлять. Сидишь, читаешь, дремлешь или так, смотришь на ее дверь, куришь, думаешь. И так счастливы ты в этой тишине, и так тебе хорошо, как нигде на свете.

Аня вдруг громко захохотала.

– И так двадцать два года? Все «Сумасшедшего чиновника» раскладываете?

Сергей Андреич подождал, пока она перестанет смеяться. Ее смех нисколько не обидел его.

– Какая ты, Нюлочка, странная. Ведь она своего мужа любит, и есть за что. Я тебя познакомлю с ними, ты увидишь, что он за человек, прелестный, широкий, все понимает. Работает как вол, только чтобы все ей было. Избаловал он ее ужасно, но ей это, представь, очень к лицу. И призы, конечно, немножко, но это ничего, даже мило.

– Да сколько ей лет?

– Под пятьдесят, – сказал он с маленькой запинкой, – но не выглядит. Да вот карточка ее, неудачная, она в действительности лучше.

Он вынул из старого бумажника фотографию и дал Ане в руки. На ней была изображена дама, очень полная, небольшого роста, с лицом правильным, но довольно сердитым. Одета она была в длинное платье и меховое боа. На голове ее сидела огромная шляпа.

Аня жадно рассмотрела карточку и сказала:

– У тебя старомодный вкус. Прости, ничего не нахожу особенного.

Он ласково улыбнулся.

– Я же говорил, что фотография неудачная. Такие лица, знаешь, очень трудно передать.

И он спрятал бумажник в карман.

Они замолчали, но ему казалось, что он продолжает рассказывать, во всяком случае в мыслях разматывается упоительный клубок воспоминаний, и изредка он даже шевелил губами, смахивая воображаемый локон со своего левого плеча. Он видел солнце, и море, и ее в белом платье с кружевным, круто выгнутым зонтиком. Она шла горделивой походкой мимо встречаемых мужчин, лорнетка играла у нее в руках, совсем как полагается, и даже белый шпиг был тот же самый, чеховский. Ялта. Он встретил ее, будто соскользнувшую с грустной страницы рассказа, и подумал тогда, глядя ей вслед, что только муж тут лишний, высокий смуглый военный с несколько плоским лицом.

Потом плыл корабль по Черному морю, и не было места лечь, можно было только сидеть или стоять – и так трое суток. Уже было два случая дизентерии, и воду дава-

ли раз в день, небольшую жестяную кружку каждому. Он отдал ей свою кружку на третий день плавания, и она, сделав несколько глотков, всыпала в воду какой-то душистый порошок, опустила туда розовые пальцы и сделала себе маникюр.

В бесконечных, трудных, сумбурных путешествиях оказывалось всегда, что в вагоне было всего одно незанятое купе, а в гостиницах – одна свободная комната. Он ехал сквозь всю Европу на откидной скамеечке в коридоре, а в городах спал в ваннах или стелили ему в тупике какого-нибудь прохода. Но всегда бывал он выбрит и благоухал, и все было зашито на нем, а иногда он даже ей пришивал (левой рукой и без наперстка) какую-нибудь петельку к перчатке.

Как-то само собой оказывалось, что деньги были у них общие, то есть он отдавал ей все, что зарабатывал, потому что считал себя у них «на пансионе». Когда не бывало прислуги (все чаще в последние годы), он приходил рано и готовил, очень вкусно и с веселым видом, так что Колобов просто в восторг приходил от его слоеных пирожков, а она говорила свое «недурно», которое тянула на «у» и от которого вся душа его переливалась через край счастья. В день ее рождения он вставал со светом, и шел на край города, к цветочному рынку, и покупал, покупал столько, сколько мог унести с собой, и потом, как муравей, шел домой, таща голубую гортензию в горшке, и белые гиацинты, и целый куст персидской сирени, и все ставил к дверям ее спальни, и ждал, замирая, когда она проснется, и в этот день не шел на службу, а отработывал сверхурочные потом всю неделю.

Бывало, в квартире тихо и полутемно. В столовой Колобов считает цифры в толстой книге, она лежит у себя, ей нездоровится, ей, кажется, хочется плакать, жизнь как-то так сложилась, могло быть иначе.... Он капают в рюмку лекарство, хочет бежать за доктором. Потом взбивает подушку, ставит лампу, читает ей вслух. Вот она засыпает, и он читает все тише, чтобы внезапной тишиной не раз-

будить ее, пока не наступает время, и он тихонько дает ей в руку термометр и уходит за чаем, за апельсинным соком, чтобы все было у нее под рукой.

Ему не часто приходилось вот так думать, вспоминать и воображать в целом свою судьбу, и сейчас, изнемогая от сознания прошлого блаженства, он видел, что жизнь его никогда не могла быть другой, что лучшего он не хотел, что нет человека, прекраснее, трогательнее и полнее прожившего свою жизнь, что вся эта жизнь была поклонением, радостью и тайной.

Он оторвался от себя и взглянул на Аню. Она сидела за столом, уставив на него большие черные глаза, и кусала себе губу, перекосив лицо.

– Ты меня принимаешь за дуру, – сказала она, отпустив губу, – я удивляюсь мужу, который это терпит. Признаться, я удивляюсь и тебе. Где же они сейчас?

Он ответил нехотя:

– В гостинице, недалеко отсюда. Они ищут за городом меблированную квартиру. И тогда я перееду к ним.

Она подперла щеку рукой и почувствовала усталость, скуку и еще что-то тоскливое, чему названия не было, но что раздражало ее с самого начала его рассказа. Положительно, она больше не желала слушать об этой Колобовой, немолодой и немодной, имевшей двух мужчин. Она думала о Гребисе, ни разу не посмотревшем в ее сторону.

Он понял, что пора уйти. И он ушел легкой своей походкой, поблагодарил ее за обед, за родственничный вечер и на прощание сказал, что ему совсем не плохо у приятеля, у которого есть лишний диван, старого приятеля, бывшего товарища министра иностранных дел, сослуживца, а теперь повара.

На углу улицы, у входа в метро, несмотря на поздний час, стоял продавец цветов, и Сергей Андреич купил у него пучок желтофиолей, растрепанных и, в общем, ненужных ни ему самому, ни повару.

Маленькая девочка

Пьеса в трех действиях, пяти картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Сергей Сомов
Агар-бен-Мосед
Ольга Сомова
Леда
До
Евгения
Патрикеев

Действие происходит в одной из европейских столиц
в наши дни. Антракты после второй и четвертой картины.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Сом. Налево — два
Большая комната, меблированная уютно и со вкусом, ведущая в маленькую широкую окна. Прямо, в середине, небольшая арка, дверь на лестницу. Кую переднюю, в задней стене которой видна дырочка в углублении —

Справа, ближе к рампе, дверь в столовую и в де

во внутренние комнаты. Дим ковром. Диван,

Левая часть пола покрыта поверх бобрика персидским — тоже диван, кресла, столики, радиоаппарат. В правой половине — глянцевый шкафчик, книжная полка, пианино, письменный стол, статуэтка Боннара с чайной посудой. Телефон. На стене — яркий рисунок в передней комнате. При поднятии занавеса на сцене темно, только за арками. Первое окно горит лампочка. Оба окна задернуты плотными занавесами, пропускает мерно пропускает света. Второе, закрытое более небрежно, дрожит от света, мерцающие цветные огни городских реклам. На потолке вечер.

но уличного шума не слышно. Позднее на лестницу поворачивается. Несколько секунд сцена остается пустой. В двери слышен стук. Сомов закрывает дверь, берет ключ. В переднюю входят Сомов и Дядя, в пальто и шляпе. Сомов за собой дверь. Дядя входит в комнату, Сомов за ней тусклый свет

Он поворачивает выключатель у арки. Зажигает:

у левого дивана. Дядя, До останавливает-

Остальная часть комнаты в полумраке. Едва войдя, Дядя идет к До. На ней слышен стук. Сомов бросает шляпу и пальто на кресло и под, бархатная юбка, старый дождевик, шарф, под дождевиком яркая, без каблуков. и черный джемпер. Она без шляпы, в туфлях на лице.

Длинные светлые волосы падают ей

С о м о в (*хочет обнять До, она отстраняется*). Вы здесь... у меня... Как мне благодарить вас за сегодняшний вечер? За то, что вы согласились прийти сюда? Маленькая девочка, снимите скорей ваш уродливый дождевик.

Д о (*руки в карманах*). Я сама.

С о м о в. Я помогу вам (*растегивает ей пояс*). Не шевелитесь, я буду играть с вами, как с куклой, хотите? (*Смеется, стаскивает с нее дождевик, вынимая ее руки из карманов.*) Скажите: «папа», «мама». Где вас заводят? А ну, покажите! (*Поворачивает ее во все стороны, хочет обнять, она отступает.*)

Д о. Сколько вам лет?

С о м о в. Пятьдесят. И пожалуйста, не накидывайте мне лишнего, как всегда делают. Я говорю правду.

Д о. Почему? (*Осматривается.*)

С о м о в. Почему я говорю правду? Не знаю. Так привык. Стараюсь, когда могу, не врать. А вы разве нет?

Д о. А вашей жене вы тоже всегда говорите правду?

С о м о в. До сих пор говорил. Моя жена – замечательная женщина, она все понимает. Иногда даже слишком хорошо.

Д о (*садится под лампу, на левый диван*). Примерное супружество.

С о м о в (*садится у ее ног на ковер*). Это вопрос? Когда вы задаете вопросы, у вас это так звучит, будто вы не спрашиваете, а утверждаете.

Д о. Я очень редко что-нибудь спрашиваю. Люди обыкновенно сами все мне рассказывают.

С о м о в. Я уже столько сегодня вечером рассказал вам о себе. Вам не было скучно? Вам понравился ресторан? А музыка?

До молча кивает.

С о м о в. Не отнимайте рук. У вас совсем детские руки, До, детские пальцы. И ножки детские. И маленькая грудь. И все это – молодость. Вы даже не подозреваете, что это за сила: человек не может жить без нее.

Нина Берберова

Д о. Сколько раз в жизни вы уже это говорили другим?

С о м о в. Никому и никогда. Вы верите мне? Впрочем, вы, конечно, не верите. Вы думаете, что я напал на вас, точно враг, из-за угла, заранее рассчитав свое нападение. Что у меня есть план, опыт...

Д о. Я ничего не думаю.

С о м о в. У меня нет опыта. Я никогда, с тех пор как перестал быть молодым, не держал в объятиях молодость. *(Обнимает ее.)*

Д о *(неподвижна)*. Вы выпили за ужином.

С о м о в. Да, а вы разве нет?

Д о. Я могу много выпить, мне ничего не делается.

С о м о в *(не слушает ее)*. Вы, кажется, только что хотели посмеяться надо мной, над Ольгой и нашей жизнью? Вы правы, впрочем, все это может показаться смешным: за восемнадцать лет моей жизни с Ольгой я никогда не искал другой женщины. И она тоже... другого мужчину.

Д о. Никогда не говорите за других.

С о м о в. Смешная маленькая девочка! Между нами была большая любовь.

Д о. Была?

С о м о в. Была и есть. Все это трудно объяснить, да и надо ли? Зачем вам знать? Давайте лучше поговорим о вас.

Д о. Обо мне говорить нечего. Я живу на свете – вот и все.

С о м о в. Когда я увидел вас в первый раз у ван Дайнов, я подумал: с таким лицом, с такой красотой и чистотой какая здесь должна быть душа.

Д о. Это вам теперь так кажется. Ничего этого вы тогда не думали.

С о м о в. Я даже Ольге сказал...

Д о. Проболтались?

С о м о в *(нежно смотрит на нее)*. Скажите мне, как вы попали к ним? Вы часто к ним ходите?

Д о. Была один раз и не думаю, что еще пойду: я никого там не знаю. Я и их почти не знаю. Все было так случайно.

С о м о в. В вас есть что-то ангельское в облике. Помните, есть такая картина итальянская: хор ангелов поет вокруг святой Цецилии, которая играет на каком-то инструменте. Там есть один ангел слева... *(Обнимает ее.)* От вас пахнет молодостью, дайте мне подышать... вами... *(Осторожно пытается притянуть ее с кресла на ковер. Она слегка сопротивляется, волосы закрывают ей лицо.)*

Д о. Значит, до сих пор Ольга все еще прекрасна? Как это интересно.

С о м о в. Интересно?.. Но время шло. Я даже не знаю теперь, когда я начал... Может быть, в ту минуту, когда я встретил вас.

Д о *(с любопытством)*. Вы почувствовали, как будто надвигается какая-то катастрофа?

Сомов, медленно перетянувший До с дивана на ковер,
целует ее волосы.

Д о. Это персидский ковер или турецкий?

С о м о в. Я расскажу вам целую историю про этот ковер, но сначала я поцелую вас. *(Целует ее.)*

Д о. Теперь расскажите историю.

С о м о в *(держит ее в объятиях)*. Этот ковер персидский. Когда-то дети ткали в Персии эти ковры. Чем тоньше пальцы, тем сложнее и пестрее узор. Четырехлетние дети ткали, и шестилетние, и восьмилетние. Ткали, пока не слепли. Теперь это запрещено. Они целыми днями сидели на маленьких табуретах и перебирали пальцами узелки. Больше двух лет они не выдерживали. Теперь там новое законодательство и больше нет слепых детей.

Д о *(зевает)*. Уж поздно. Мне пора домой.

С о м о в. Нет, я не пушу вас... Мы сейчас будем пить кофе. Вы еще ничего не рассказали мне о себе. Где вы живете? Одна?

Д о *(лежит в его объятиях)*. Я живу одна и совсем не похожа на то, как тут.

С о м о в. Как же тут?

Нина Берберова

Д о. У вас на стене Боннар, а у меня совсем другие картины.

С о м о в. Какие же?

Д о. Такие, какие я люблю. Знакомых художников. Я им позирую.

С о м о в. Когда я вас слушаю, я чувствую, что никогда уж не смогу забыть вашего голоса.

Д о. Я когда-нибудь вам спою.

С о м о в. Спойте сейчас! Я и не знал, что вы поете. Радость моя, каким вы меня делаете счастливым. До!

Д о. Я здесь.

С о м о в. Как мне благодарить вас за то, что вы пришли? Сегодня, когда Ольга уехала и я позвонил вам – каких хитростей мне стоило узнать вашу фамилию у ван Дайнов! – когда я наконец добился вас, я уже знал, что вы сделаете меня счастливым.

Д о. Когда она уехала?

С о м о в. В шесть часов.

Д о (*играя своими волосами*). Надолго?

С о м о в. До понедельника. Так, значит, вас рисуют художники. И вот эти глаза, и вот эти волосы.

Д о. Всю меня. Я люблю позировать.

С о м о в. А где же ваши родители? Почему вы одна?

Д о. Потому что мне так нравится. (*Освобождается из его объятий*.) А что, если я прожгу папиросой этот ковер?

С о м о в. Зачем?

Д о. Я иногда люблю портить красивые вещи.

С о м о в. Прожигайте, если хотите.

До встает, закуривает и медленно идет по комнате. Останавливается у книг. Сомов следит за ней.

С о м о в. Хорошо на вас смотреть, когда вы двигаетесь.

Д о. Какие у вас странные книги. Они достались вам по наследству?

С о м о в. Нет, это наши... мои книги. Почему?

Д о. Так. Я никогда не думала, что приду в гости к человеку, который читает такие книги.

С о м о в. Я и пишу книги сам тоже. И тоже странные.

Д о. О чем?

С о м о в. О португальском средневековье.

Д о (*равнодушно*). А!

С о м о в. Если вы любите портить иногда красивые вещи, то не изорвете ли вон тот журнал на столике: там моя статья с чудными репродукциями реставрированной часовни XIII века?

Д о. Спасибо. Я сама выбираю, что мне портить. (*Сомов подходит к ней.*)

С о м о в. Маленькая девочка может портить и ломать все, что ей хочется, пока она здесь. Никаких запретов.

Д о. Зеленый свет? Можно проехать?

С о м о в. Ну конечно. (*Страстно целует ее. Она не сопротивляется.*)

Д о. Сережа.

С о м о в. Назовите меня еще раз так.

Д о. Сережа. (*Поцелуй.*)

С о м о в. Теперь я не отпущу вас больше от себя.

Д о (*насмешливо*). До понедельника? (*Отходит от него. Подходит к двери, ведущей во внутренние комнаты.*) А что там?

С о м о в. Там комнаты... А вы ведь очень скоро забудете меня, завтра забудете. Ведь так?

Д о. Я вообще стараюсь как можно меньше помнить. Один раз я забыла, как звали моего отца.

С о м о в. А как его звали?

Д о. Зачем вам знать?

С о м о в. Он жив?

Д о (*не отвечает, берет в руки хрустальную пепельницу*). Я никогда в жизни не видела такого безобразного предмета. Вот уж его я, наверное, никогда не сломаю. (*Включает радио. Тихая музыка.*) Вы любите Александра Корта?

Нина Берберова

С о м о в. Кто это?

Д о. Вы не знаете Корта? Это гениальный писатель, новый, страшно талантливый. О нем все теперь говорят. Он написал роман, который сочинил, пока плавал в Тихом океане. И записал его. И ни одного слова не изменил потом.

С о м о в. Если он записал его, пока плавал, то каким образом рукопись не вымокла? Она должна была ужасно вымокнуть.

Д о. Вы не поняли меня: он записал роман в голове, а потом уже во второй раз – на берегу, по-настоящему.

С о м о в. Чудная, необыкновенная история! Расскажите мне еще что-нибудь, расскажите этот роман. Или про самого автора. Или про Тихий океан. Если бы вы знали, как вас весело слушать.

Д о (*обойдя комнату, подходит к первому окну. Прислушивается*). Мне вдруг стало страшно грустно почему-то. (*Тушит папиросу, вынимает из кармана другую.*) Дайте мне спичку.

С о м о в (*подает ей*). Отчего вам стало грустно? Маленькая девочка, почему?

Д о. Я сама не знаю. Со мной это бывает иногда. (*Сомов опять уводит ее на диван.*)

С о м о в. Вам никогда не должно быть грустно. Посмотрите на меня: вам не смешно, что я так счастлив?

Д о. Оставайтесь со мной рядом. Не уходите. Теперь прошло. Около вас не страшно.

С о м о в. Вам бывает страшно?

Д о. Как здесь хорошо. Как тихо. (*Сидят обнявшись.*)

С о м о в (*целует ее волосы и руки*). Не думайте ни о чем печальном. Это, может быть, музыка виновата? Хотите, я закрою радио?

Д о. Мне все равно. Нет, не уходите. Так, значит, вы ученый? Археолог?

С о м о в. Да, что-то вроде этого. Я долго жил в Португалии перед войной.

Д о. Совсем один?

С о м о в. Нет, я никогда не расставался с Ольгой. Мы жили вместе и вместе работали в маленькой заброшенной часовне. А вокруг – каменщики, штукатуры, художники, фотографы... Они теперь продолжают, но уже в другом месте. И я поеду скоро. И, может быть, вы поедете со мной?

Д о. Вам никогда не бывает скучно?

С о м о в. Если бы вы знали Ольгу, вы бы поняли, что с ней никогда не может быть скучно.

Д о. Поцелуйте меня. (Он целует ее.) Еще. (Целует.) Теперь идите и готовьте кофе.

С о м о в. Мне расхотелось готовить кофе. (Обнимает ее.)

Д о. Сережа, пожалуйста, дайте мне кофе. Мне холодно.

С о м о в. А что мне за это будет?

Д о. А что бы вы хотели?

С о м о в. Чтобы вы меня когда-нибудь позвали к себе в гости, посмотреть, как и где вы живете.

Д о. Нет, я не думаю, чтобы это было возможно.

С о м о в. Так я приду без приглашения.

Д о. Уходите. Нет, подождите... Скажите мне что-нибудь. Вы любите меня?

С о м о в. Я люблю вашу молодость. Я две недели ждал этого вечера. Больше я ничего не могу вам сказать.

Уходит. До остается сидеть на диване. Курит медленно и думает. Несколько секунд До одна. Внезапно занавес первого окна осторожно раздвигается, и из-за него выходит О л ь г а в пальто.

До, окаменев, смотрит на нее, но не делает ни одного движения.

Ольга быстро подходит к ней.

О л ь г а (торопясь). Не пугайтесь. Не бойтесь меня. Я не уехала. Я осталась, чтобы быть здесь. Я знала, что он приведет вас, я не вполне была уверена, что это будете непременно вы, но я знала, что кто-то здесь сегодня будет. Мы слишком долго были близки и чувствуем каждую мысль другого. Нам почти невозможно скрыть что-либо друг от

Нина Берберова

друга. *(Делает несколько шагов к двери, на пути машинально выключает радиоаппарат.)* Не бойтесь. Вы нравитесь мне. Нет времени объяснять вам, что такое наша общая с ним жизнь. Я должна торопиться, он может войти. Я хочу сказать вам, чтобы вы ни на что не надеялись. Мне не хочется, чтобы вы обманулись: он никогда не оставит меня. Никогда не будет такой минуты, когда бы он вас предпочел мне. Ему нужна ваша молодость, не вы сами. Вы сами не знаете, как вы прелестны, но этого недостаточно, чтобы разрушить то, что есть между мною и им. Прелестное не может разрушить прекрасное. *(Идет к арке в переднюю. До следит за ней глазами.)* Я могла бы остановить все это, но я не мешаю судьбе. Помните: не вам будет жаль меня, а мне будет жаль вас. *(Выходит через арку и дверь на лестницу. Неслышно закрывает дверь. Долгая пауза. До неподвижна.)*

С о м о в входит с подносом в руках. На подносе две чашки, ликер, рюмки, бисквиты.

С о м о в *(весело)*. Почему прекратилась музыка?

Д о *(с трудом)*. Не знаю.

С о м о в *(ставит поднос на столик перед До)*. Что с вами?

Д о *(медленно)*. Ничего.

С о м о в. Почему у вас такое лицо?

Д о. У меня самое обыкновенное лицо.

С о м о в. Маленькая девочка, когда я был маленьким мальчиком – потому что я им когда-то был, – мой отецставлял меня говорить ему три желания, из которых он по своему выбору исполнял одно. Скажите мне три желания, и я исполню все три.

Д о. Я хочу идти домой.

С о м о в *(садясь рядом с ней)*. Нет, До, я не пущу вас... Вы останетесь со мной... Здесь пахнет гарью... Здесь что-то горит!

Д о *(спокойно)*. Это, вероятно, горит ваш ковер. Я уронила папиросу.

Сомов достает из-за дивана окурки.
До равнодушно смотрит на него.

С о м о в. Что случилось?

Д о. Ровно ничего. В мире давно уже ничего не случается.

С о м о в. В мире все время случаются катастрофы.

Д о. Вы их видели? Вы в них участвовали?

С о м о в. Я...

Д о. Катастрофы случаются где-то далеко-далеко, куда нас не приглашают.

С о м о в. А вы были бы рады принять участие в какой-нибудь катастрофе?

Д о. Я уже много лет ничему не радуюсь.

С о м о в. Хотите, я научу вас радоваться? Пойдем к зеркалу, посмотрите на себя: глядя на вас, нельзя не радоваться.

Д о. Я действительно лучше выпью кофе. *(Пьет.)*

С о м о в *(кладет голову на ее колени)*. Довольно разговаривать, пить, есть, слушать радио и гулять по комнате.

Д о *(закрывает лицо волосами)*. Нет, оставьте меня. Я хочу уйти отсюда. Я хочу быть дома у себя и закрыть дверь на ключ.

С о м о в *(нежно)*. Почему?

Д о. Я сама не знаю. *(Встает, идет к первому окну, раздвигает занавес, смотрит, что за ним. Идет ко второму окну, убеждается, что и там никого нет. Смотрит в окно.)* Как тут высоко. Только крыши, небо и огни. А днем, верно, бывают и ласточки.

С о м о в. Какие в городе ласточки! *(Идет к ней.)* Одни воробьи. *(Хочет обнять ее, она отстраняется.)*

Д о. Где мой дождевик?

С о м о в. Я не отдам его вам. Вы не уйдете. Вы просто капризная маленькая девочка. Вам нравится огорчать меня.

Д о *(хочет идти к арке)*. Оставьте мой дождевик у себя на память. Я уйду без него. *(Выходит в переднюю, Сомов бросается к ней.)*

Нина Берберова

С о м о в. Зачем вы делаете это, До? Что случилось? Неужели боитесь меня? Все будет так, как вы сами захотите, только не уходите. Я люблю вас, не уходите от меня.

Д о (*трогает его лицо*). Бояться вас? Нет, этого мне в голову не приходило, вы совсем не страшный. Но мне больше не хочется быть здесь с вами.

С о м о в. Никогда больше?

Д о. Я не знаю, что будет потом. Сейчас я хочу уйти.

Сомов молча подает ей дождевик.

Она надевает его и накидывает капюшон.

С о м о в (*растерянно*). Разве идет дождь?

Д о (*туго перевязывает пояс*). Прощайте, Сергей Сергеевич. Хорошая страна Португалия.

С о м о в (*хочет ее поцеловать*). Один последний, очень мирный.

Д о. Нет. (*Открывает дверь*.) Простите меня за то, что я прожгла ваш ковер. (*Уходит*.)

Картина вторая

Та же комната. Понедельник, пять часов дня. В окна видны сумерки.

Л е д а, женщина лет пятидесяти, увешанная драгоценностями, одетая не по возрасту, и С о м о в сидят справа, пьют и курят.

Л е д а. Несчастье людей в том, что они ничего больше не хотят. Ни жить, ни умирать, ни пить, ни есть, ни любить... Впрочем, пить они хотят... Налейте мне еще.

С о м о в (*наливает ей*). Я думаю, вы неправы. Одни хотят строить, другие разрушать. А если есть это, то продолжается жизнь.

Л е д а. Милый мой, я говорю о мужчинах, не о женщинах. У женщин колоссальный аппетит к жизни, они так давно живут. Но у мужчин постепенно на наших глазах пропадает аппетит. Я бросила четырех мужей.

У всех четырех мало-помалу совершенно пропал аппетит ко мне.

С о м о в. Можно вам сказать дерзость? Вина была, может быть, в вас?

Л е д а. Я иногда сама задаю себе этот вопрос. Со всех сторон смотрю на себя и не вижу, в чем я могла быть виновата. Поверьте мне, я делала все, что могла, чтобы привлечь их внимание к себе. Как витрина галстучного магазина, как автомобильная фирма, я целый день занималась, если хотите, саморекламой. Не говоря уже о ночи. Но им приедался автомобиль, они теряли вкус к галстукам. И несмотря на все мои усилия и страшные расходы, они теряли интерес ко мне. Тогда я бросала их, и они бывали мне ужасно благодарны. Нет ничего хуже на свете, чем когда ты чувствуешь, что ты тот товар, которому не может помочь никакая реклама. Убыточный товар. Ну подумайте только, я – убыточный товар. На что это похоже?

С о м о в. Вам не кажется, что в мире...

Л е д а. Мне никакого дела нет до мира. Мир – это я. Умру, и его больше не будет.

С о м о в. Но ведь он был до нас?

Л е д а. Сомневаюсь. Может быть, и не был. Впрочем, вам, как археологу, этого говорить нельзя: от археологии тогда ничего не останется.

С о м о в. И от истории. И от многого другого.

Л е д а. Все это меня совершенно не касается.

С о м о в. Итак, все четыре раза было одно и то же?

Л е д а. Люди все ужасно похожи друг на друга. Просто удивительно. Теперь я предпочитаю поменьше заниматься ими. Занимаюсь собой и нахожу, что это куда интереснее.

С о м о в. А сами себе вы никогда не надоедаете?

Л е д а. Никогда. Мне все кажется важным, что меня касается: моя душа, мое тело, моя меховая шуба.

С о м о в. До известной степени.

Л е д а. Подумайте сами: ну неужели же интереснее заниматься душой, телом и шубой другого человека?

Нина Берберова

С о м о в. Шубой – нет.

Л е д а. Но шуба непременно тут как тут, если вы хотите душу и тело.

С о м о в. Может быть.

Л е д а. Я уверена, что все думают, как я, и только при-
творяются. Мои волосы, мои браслеты – скажите по сове-
сти, что может быть важнее для меня?

С о м о в (с иронией). Международное положение.

Л е д а. Да ведь оно всегда одно и то же. Есть война,
нет ее – разница очень маленькая. И жизнь между второй
мировой войной и третьей, ей-богу, ничем не отличает-
ся от жизни между шестой и седьмой.

С о м о в. Ольга опаздывает. Она должна была бы быть
уже дома.

Л е д а. Она будет здесь сейчас, нетерпеливый вы чело-
век! Можно подумать, что вы женаты восемнадцать дней,
а не восемнадцать лет.

Сомов молча ходит по комнате.

Л е д а. Хотела бы я знать, что чувствуют друг к другу
люди, прожившие вместе восемнадцать лет?

С о м о в. Любовь.

Л е д а. На что она похожа?

С о м о в. Иногда она еще довольно сильно похожа на
ту, которая была восемнадцать лет тому назад.

Л е д а. Bravo! Вы знаете, мой милый, что я всегда ду-
мала про вас, что вы умный человек, милый человек и чуд-
ный муж. И продолжаю думать это и восхищаюсь вами.

С о м о в. Восхищаться надо Ольгой. Нисколько не уди-
вительно, что я ей верен.

Л е д а. Я восхищаюсь вами и нахожу все это ужасно
оригинальным. (*Пьет. Смотрит на него. Насмешливо.*)
И вам никогда не хочется другой женщины?

С о м о в. Никогда.

Л е д а. Молодого лица? Молодого тела?

С о м о в. У Ольги молодое лицо и молодое тело.

Л е д а. Это не ответ. Вам никогда не хочется...

С о м о в. Почему вы задаете мне эти вопросы?

Л е д а. Вы на них ответили. Мне больше ничего не надо. Вы ответили на них утвердительно. Что же вы делаете, когда вам хочется видеть рядом с собой молодое лицо?

С о м о в. Я ничего не ответил вам. Напрасно вы что-то стараетесь вывести из моего молчания.

Л е д а. Я полагаю, что вы идете к ней на какой-нибудь чердак с окнами на грязный двор, где иногда весной так дурно пахнет, но где именно живут такие, каких вам надо: молоденькие, умненькие, умеющие хранить тайны и хорошо понимающие, что вам нужно. Или вы приводите ее сюда, когда Ольги нет, и она оставляет длинный золотой волос вон на тех подушках.

С о м о в. Мне следовало бы на вас рассердиться, но мне почему-то смешно. (*Смеется.*)

Л е д а. Милый мой, дайте мне еще этой божественной влаги. (*Сомов наливает.*) А что делает Евгения?

С о м о в. Все хорошеет. Заходила на прошлой неделе.

Л е д а. Мне кажется, ей за сорок?

С о м о в (*смотрит на часы*). Может быть... Вот она!

Дверь открывается, и входит О л ь г а. Она в пальто и с чемоданом в руке. Сомов идет ей навстречу.

С о м о в. Наконец-то. Почему так поздно?

О л ь г а. Здравствуй, Сергей. Леда, как я рада! Разве поздно?

Л е д а. Он уже полчаса места себе не находит.

О л ь г а. Как вы поживаете, Леда? Как поживает Вольтер?

Л е д а. Вольтер уже два дня как в ветеринарной клинике. У него болит ухо. Что до меня, то я весела, как колибри.

О л ь г а. Я тоже весела, как колибри. А ты, Сергей?

С о м о в. Я рад, что ты дома.

О л ь г а. Правда? Я рада, что ты рад.

Нина Берберова

Л е д а. Я сейчас оставлю вас вдвоем. Я зашла проститься: уезжаю завтра к моему Гри-Гришеньке. Он, бедный, совсем плох.

О л ь г а. Это муж номер два?

Л е д а. Да, это мой второй. Когда ему, голубчику, невмоготу, он вызывает меня к себе. Впрочем, все четверо они такие: считают, что изредка и в небольшой дозе я хорошо на них действую.

О л ь г а. Но ведь вы вернетесь к Рождеству? Я хочу в этом году устроить елку. Сто лет елки не было. Хочу, чтобы были свечи, хлопушки, подарки, все как у людей.

С о м о в. Елку для взрослых?

О л ь г а. Просто елку. А для кого – это мы еще посмотрим. Может быть, будут и дети.

Л е д а. Мне от детей всегда бывает ужасно скучно, особенно когда их много и они маленькие.

О л ь г а. Я, может быть, приглашу таких, от которых не будет скучно, их будет немного, и они не будут очень маленькие. Хочешь, Сергей?

С о м о в. Дочку Габерманов?

О л ь г а. Может быть, и ее... Впрочем, она уж слишком мала.

Л е д а. Я вернусь через три недели. До того Вольтер будет жить в собачьем санатории. Их там кормят говяжьей и развлекают всякими играми. Чтобы им не было скучно.

С о м о в. Счастливый пес!

Л е д а *(встает)*. Прощайте, друзья, живите счастливо. *(Сомов подает ей шубу под аркой. Она возвращается к столику, допивает свой стакан. Уходит. Ольга молча стоит посреди комнаты.)*

С о м о в. Ну, как все было?

О л ь г а. Все было, как и следовало ему быть. Все здоровы, кланяются тебе. Все жалели, что ты не приехал, особенно папа. *(Пауза.)* Отчего ты не поехал со мной?

С о м о в. Ты же знаешь, что я сейчас не могу отлучиться ни на один день. Альвар может приехать, не предупредив.

див, такая у него привычка. Мы тут с Патрикеевым сидим как на горячих углях. На две телеграммы ответа не было, и я предчувствую, что он свалится как кирпич на темя.

О л ь г а. Писем мне не было? Никто не звонил?

С о м о в. Звонила Женя. Кроме Леды, никого не было... Она непременно должна сказать, что Жене за сорок. Без этого она не может.

О л ь г а. Мне тоже за сорок.

С о м о в. Леда сидела долго и говорила без конца. И такие глупости... Ты не голодна?

О л ь г а. Нет, я завтракала в поезде. (*Уютно усаживается в угол дивана.*)

С о м о в (*садится подле нее*). Ты не устала?

О л ь г а. Нет. Но мне почему-то не хочется разговаривать. (*Пауза.*)

С о м о в (*слегка дотрагивается до нее*). Ты не хочешь переодеться с дороги?

О л ь г а (*отстраняется*). Я уже не успею. У нас сегодня к чаю гости.

С о м о в. Какие гости?

О л ь г а. Сергей, я не успела предупредить тебя: я сегодня пригласила к нам ту девочку, помнишь?

С о м о в. Какую девочку?

О л ь г а. Ту, которую мы встретили у ван Дайнов. Хорошенькую. Которая нам с тобой понравилась тогда.

С о м о в. Когда ты пригласила ее?

О л ь г а. Я позвонила ей вчера по телефону от папы.

С о м о в. Вчера? Зачем?

О л ь г а. Мне захотелось ее позвать к нам.

С о м о в. Как ты узнала ее телефон?

О л ь г а. Очень просто, я вспомнила, как ее зовут, и нашла в телефонной книге. (*Пауза. Сомов молчит.*) Ты как будто недоволен? Разве ты не провел с ней целый вечер?

С о м о в. Я? Когда?!

О л ь г а. Да тогда же, у ван Дайнов. Она прелестная и, кажется, умненькая. И я слышала, что она музыкантша.

С о м о в. Не знаю... Я не помню даже ее лица.

Нина Берберова

О л ь г а. Ее зовут не то Фа, не то Ре. Словом, какая-то нота. Она, конечно, не Фа и не Ре, а просто Маша или Клаша, но так она себя называет.

С о м о в. Зачем же тебе понадобилась эта Клаша?

О л ь г а. Мне? Мне показалось, что в нашей жизни чего-то не хватает. Все как будто есть, а чего-то нет. Не хватает молодости. Тебе не кажется?

С о м о в. Я никогда об этом не думал.

О л ь г а. Я уверена, что ты тоже это чувствуешь. Мы оба счастливы, мы даже как будто во многом остались прежними, но одного у нас нет больше – молодости. Молодости, которая бы дала аромат, свет и радость нашей жизни. Вообрази себе на минуту, как было бы хорошо иметь около себя существо, у которого столько надежд впереди и столько веры в свою судьбу.

С о м о в. Если я правильно тебя понял, то ты хочешь использовать чью-то молодость себе на пользу, не думая о том, как это отзовется на самой этой молодости?

О л ь г а (*удивленно*). Ты подозреваешь во мне дурные намерения? Нет, у меня не такая черная душа: я постараюсь дать ей больше, чем взять у нее.

С о м о в. Значит, у тебя потребность не только взять, но и дать?

О л ь г а. Это само собой придет.

С о м о в. А вдруг ты что-нибудь испортишь в человеке?

О л ь г а. А разве ты всегда думаешь о том, чтобы чего-нибудь не испортить в человеке?

С о м о в (*после паузы*). Я отвечу тебе на это так: если я на мгновение забываю об этом, то всегда потом раскаиваюсь. Ты же... мне кажется, Ольга, ты из тех людей, которые никогда ни в чем не раскаиваются.

О л ь г а. Неужели не все равно: раскаиваться или не раскаиваться? Испортив что-нибудь – разницы нет. Для меня, во всяком случае, нет.

С о м о в. Разница есть, и очень большая.

О л ь г а. Если ты сам испортил что-то, то жалеть или не жалеть об этом – результат один.

С о м о в. Лучше жалеть. *(Пауза.)* Тут между нами большая разница: мы, мужчины, всегда чувствуем себя хозяевами положения...

О л ь г а. Но ты не хозяин положения.

С о м о в *(не понимает ее намека)*. В душе я уверен, что да.

О л ь г а *(продолжая намекать)*. Ты себя обманываешь.

С о м о в *(продолжая не понимать)*. И будучи хозяином положения, я не могу допустить мысли, что...

Звонок у входной двери. Ольга идет открывать.

С о м о в быстро уходит в дверь столовой. Входит Д о.

О л ь г а. У меня были сомнения, что вы придете. Я вас очень плохо слышала в телефон. Я рада, что вы здесь. Садитесь.

Д о *(раздеваясь)*. Я тоже вас плохо слышала. Вы звали меня к пяти?

О л ь г а. Да. Мы сейчас выпьем чаю. Дайте мне рассмотреть вас. Я вас так мало видела тогда.

Д о *(садится у пианино)*. А я хорошо видела вас. Я на вас во все глаза смотрела.

О л ь г а. Какие у вас волосы! Что вы делаете с ними, что они такие красивые? Или они сами по себе такие? У нас здесь стало светлей от них. *(До смотрит на Ольгу, не отпуская глаз. Ольга немного смущается.)* Мы сейчас будем пить чай. Я только что вернулась. *(Вынимает из стеклянного шкафчика чашки, электрический чайник, сахарницу.)* Из окна вагона я видела снег. Настоящий глубокий снег. Вы бегаєте на лыжах?

Д о. Конечно, бегаю.

О л ь г а. Как хорошо было бы поехать на неделю куда-нибудь в горы, целый день бегать по снегу, вечером у камина книжки читать. Мне сказали ван Дайны, что вы играете на рояле?

Д о. Очень плохо. И плохо пою.

Нина Берберова

О л ь г а. Зачем вы так говорите? Никогда не надо говорить, что вы делаете что-нибудь плохо.

Д о. Я очень плохо пою и очень плохо бегаю на лыжах. (*Ольга смеется.*) Туся и Ян говорят, что я все делаю плохо.

О л ь г а. Кто это?

Д о. Они живут в доме, где и я. Он – художник.

О л ь г а. Талантливый?

Д о (*кивает головой*). Только ему ничего не удается. Он все делает хорошо, но ничего из этого не получается.

О л ь г а. У вас квартира?

Д о. Комната.

О л ь г а. Что же они говорят?

Д о (*хмуро*). Ничего. Я с ними теперь меньше дружу. Я сама по себе.

О л ь г а (*ласково*). И вы, конечно, никого и ничего не боитесь?

Д о. Конечно.

О л ь г а. И вы всегда говорите правду?

Д о. А вы сами?

О л ь г а. Я часто молчу. Иногда мне не хочется говорить неправду, а правду я сказать не могу.

Д о. Я бы хотела вам всегда говорить правду.

О л ь г а (*проходит мимо До, идет к двери*). Сергей, иди к нам. Давай чай пить. (*Ольга смотрит на До. До неподвижно смотрит на дверь.*) Но вы тоже часто молчите. (*Входит С о м о в. Ольга разливает чай и ставит чашки на столик, вокруг которого постепенно все трое и садятся.*)

С о м о в. Здравствуйте.

Д о. Здравствуйте, господин Сомов.

О л ь г а. До, идите к нам, идите поближе. Вы любите пирожные?

С о м о в (*стараясь быть непринужденным*). А я и не знал, что у нас сегодня гости. (*До переходит от пианино к дивану.*)

О л ь г а. До – не гости, правда, До?.. Я говорила сейчас... что я говорила? Да, что из окна вагона все было бе-

лое от снега. Выпал снег... Зима... Так что же вы делаете в жизни, До?

Д о. Ян обещал мне роль.

О л ь г а (*Сомову*). Ян – это сосед, живет с женой в ее доме. (*К До.*) Он режиссер?

Д о. Нет, он художник, но он получит работу в театре. Он абстрактный и будет скоро очень знаменит. Сейчас он еще не устроен.

О л ь г а. А Туся?

Д о. Туся хочет выставлять в будущем году. Она тоже абстрактная. Она сейчас пишет мой портрет, только, конечно, не в этом духе (*показывает на Боннара*). Портрет в абстрактном плане. Это теперь многие делают.

О л ь г а. Вы – натурщица?

Д о. Я позирую, когда кто-нибудь просит. У них денег нет платить.

О л ь г а. У вас есть мать?

Д о. Я поссорилась со всеми и ушла из дому. (*Пауза.*) Мне кажется, настает такой момент, когда надо начинать жить самостоятельно, жить, а не прозябать.

О л ь г а. Главное в жизни, конечно, жить.

Д о. Я не люблю мещанства. Семья – в этом есть что-то старомодное. Я переросла свою семью.

О л ь г а. Вы хотите быть актрисой?

Д о. Да. Все говорят, что у меня талант.

О л ь г а. А пока?

Д о. Пока...

С о м о в (*искусственно оживляясь*). Я хорошо представляю себе вашу жизнь: вы, наверное, очень счастливы, вам всегда весело, целый день – гости, пишут картины, читают стихи, никаких обязанностей, в настоящем – проекты, полная свобода, в будущем – театр, слава.

О л ь г а. А если не выйдет?

Д о. Не выходит только у дураков (*закуривает*).

О л ь г а. И иначе вы бы не хотели жить?

Д о. Как иначе?

Нина Берберова

О л ь г а. Не знаю, например... не одна, чтобы кто-нибудь заботился о вас, дал бы вам возможность учиться дальше, охранял бы вас от трудностей жизни, пока крылышки не держат; давал бы читать хорошие книги, защищал бы от разочарований, баловал бы, любил.

Д о. Вы хотите знать, хотела бы я благополучия и уверенности в завтрашнем дне? Но благополучие скучно, и если есть уверенность в завтрашнем дне, он становится похожим на вчерашний. *(Заученно.)* Мы живем в мире, в котором не может быть благополучия. Мое поколение это понимает.

О л ь г а. Бедная девочка! *(До, пораженная, молчит.)* Бедная маленькая девочка! Но люди могут все же быть очень счастливы, и прочно счастливы в этом мире – в разных концах его по-разному.

С о м о в *(передавая пирожные)*. Возьмите еще что-нибудь. *(До берет.)* Значит, надо совсем иначе представить себе вашу жизнь? В комнате, наверное, холодно зимой и жарко летом, не очень чисто, не очень светло. С утра до вечера приходят – собственно, даже неизвестно кто. Просто так себе, неудачники, полужнакомые лентяи и болтуны, никому не нужные личности и самим себе опротивевшие недоучки. И нам от них ни жарко, ни холодно.

Д о *(гордо)*. Свободные люди.

О л ь г а. Мы тоже свободные люди.

С о м о в. Вы все питаетесь крохами со стола какого-нибудь гения, который в двадцать лет ходит среди вас королем, а в тридцать вы его никогда не видите: он становится недосыгаем и когда встречает вас, то не узнает. Он уже не помнит своих слов и мыслей, оброненных когда-то и вами подобранных, которые вы будете жевать до конца ваших дней.

О л ь г а *(обнимает До)*. Почему ты так жесток с ней? Она еще ребенок.

С о м о в. Она не ребенок.

Д о. В том, что сейчас сказал господин Сомов, есть правда. *(Пауза.)*

О л ь г а. Если вы не торопитесь, то я пойду переоденусь. Я еще не успела с дороги... Оставляю вас на несколько минут вдвоем.

Д о (*встает*). Мне пора.

О л ь г а (*твердо смотрит на нее*). Нет, посидите здесь с Сергеем. Я скоро вернусь.

О л ь г а уходит. Пауза.

С о м о в (*смотрит на До, взволнован*). Маленькая девочка здесь опять со мной, в этой комнате, со мной вдвоем.

Д о. Вы смущены? Вы не в первый раз в вашей жизни не знаете, как вам быть; не решили: хорошо это для вас или дурно?

С о м о в. Я так рад вас видеть опять, что у меня в голове никаких мыслей нет. Я только боюсь, что Ольга о чем-то догадывается. Вы здесь, вы опять со мной... Вы должны были отказаться от ее приглашения. Вы не должны были приходить. Это все страшно запутывает... И теперь вам лучше уйти, как можно скорее.

Д о. Я не понимаю, о чем вы говорите, господин Сомов. Мне очень нравится быть здесь, и мне очень нравится ваша жена. Я очень рада, что она пригласила меня. И я рада, что я пришла.

С о м о в. Но поймите, что я совсем не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Я сам могу жить, без чужой помощи. Она ставит меня в глупое положение. Самое лучшее будет, если вы уйдете и никогда больше...

Д о. Сережа, поцелуйте меня.

С о м о в (*быстро целует ее*). До, не слушайте меня. Оставайтесь. Оставайтесь здесь у нас как можно дольше.

Д о. Сережа, вы любите меня?

С о м о в. Вы знаете, что вы нравитесь мне и что я хотел бы...

Д о. Не бойтесь, она ни о чем не догадывается. Почему она могла догадаться? Не гоните меня: смотрите, я еще не кончила есть пирожное. Это пирожное похоже

Нина Берберова

на мою будущую жизнь... У вас тут хорошо, господин Сомов, тепло, светло... Как вы сказали: не очень чисто? Да, не очень чисто, скучно и страшно.

С о м о в. Скучно? Вам?

Д о. Бывает иногда. Когда чувствуешь, что жизнь бежит мимо, как поезд. А ты стоишь на платформе; он, оказываясь, тут вообще не останавливается, это курьерский, не досмотрела чего-то в расписании... Он летит, и никто даже не выглянул из окна, чтобы посмотреть на тебя. Зря расчесала волосы, зря надела новые сапожки...

С о м о в. Не будем говорить о том, что было. Теперь будет все иначе.

Д о. Как иначе?

С о м о в. Будет так, как мы захотим, вы и я.

Д о (*качает головой*). Нет, господин Сомов, ошибаетесь вы. Будет-то оно будет иначе, только совсем не так, как вы предполагаете.

Входит О л ь г а.

О л ь г а (*в новом платье*). Вам нравится мое новое платье, До? Его сегодня утром прислали из магазина, и я никак не могу решить: идет оно мне или нет?

Д о. Какая вы красивая! Какая молодая!

О л ь г а. Не молодая. Маленькая девочка, не говорите мне комплиментов. Мне, наверно, в два раза больше, чем вам.

Д о. Мне девятнадцать.

О л ь г а. Сергей, ты слышишь, ей девятнадцать лет. Хорошо быть с кем-то, кому девятнадцать лет, я еще не знала Сергея, интересовалась всем, всем, всем на свете, но не португальским средневековьем.

Д о. Мне пора идти.

О л ь г а. Как вам понравилось у нас?

Д о. Очень.

О л ь г а. Вас ждут дома?

Д о (неуверенно). Д-да.

О л ь г а. Маленькая девочка, оставайтесь у нас. Мы с вами вместе сейчас соорудим обед. Правда, Сергей, пусть До остается?

С о м о в (хмуро). Конечно.

О л ь г а. И вообще, До, зачем вам куда-то уходить? Вон какая ужасная погода (показывает на окно, там падает мокрый снег). Это что? Ваше летнее пальто? (Показывает на дождевик, лежащий на кресле.) Послушайте, вы умеете тонко-тонко нарезать помидор? (Берет ее за плечи.) Так тонко, что его даже на тарелке не видно? Призрак помидора, привидение, (шепчет) томатный дух – не больше! Для этого нужен острый нож и большой фартук. Я дам вам большой фартук, и вы увидите, как будет весело. Все дело в фартуке.

Д о. И в ноже.

О л ь г а. И в ноже. Особенно если хотите кого-нибудь зарезать или пырнуть. Все в жизни бывает. (Увлекает До к дверям в кухню.)

Д о (упираясь). А что, если я вдруг что-нибудь разобью? Какую-нибудь красивую чашку?

О л ь г а (весело). Ну так что ж? Посуда для того и делается, чтобы ее бить. Эка беда!

Д о (в первый раз весело смеется). Посуда сделана для того, чтобы ее бить! А вы знаете, что я отлично умею жарить картошку?

О л ь г а. Идем скорее. Будем жарить картошку. Будем делать все, что вам нравится. (Выходят обе на кухню.)

Минуты две Сомов один на сцене. Он сначала прислушивается к голосам из кухни. Потом ходит по комнате, смотрит на натюрморт, потом крутит радио. Затем идет и садится налево, в угол дивана. Замечает на подушке светлый длинный волос, снимает его. Звонок у двери.

Сомов открывает. Входит А г а р - б е н - М о с е д.

А г а р. Это я. Можно выкурить сигару в вашем обществе? (Медленно идет к креслу, садится.)

Нина Берберова

С о м о в. Садитесь, Агар; как живете? (*Вглядывается в него.*) Опять опухли?

А г а р. Опух. Доктор говорит, что природа моя такая. Опухаем. А я думаю, это все нервы.

С о м о в. Инш Алла! Какие могут быть у вас нервы?

А г а р. Мне кажется, что вы в плохом настроении сегодня? И я тоже.

С о м о в. Я – в отличном настроении. А вы почему в плохом?

А г а р. Надоели женщины, Сомов, просто не знаю, как развязаться с обеими.

С о м о в. Почему вдруг сразу с обеими?

А г а р. Потому что не сегодня-завтра одна другую пристрелит.

С о м о в. Ну и пусть пристрелит.

А г а р. Не люблю стрельбы. С детства.

С о м о в. Так ведь не пушечная же стрельба, револьверная.

А г а р. Шуму все равно много. Что может быть в жизни хуже шума?

С о м о в. Очень многое: обман, заговор...

А г а р. Все это тот же шум. И от двух женщин, Сомов, в жизни поднимается невыносимый шум. Хорошо было только тогда, когда они друг о друге не знали.

С о м о в. Чего не испытал, того не знаю.

А г а р. Надо бы, собственно, сбежать, но это совершенно против моих принципов.

С о м о в. А у вас есть принципы? Не думал.

А г а р. Больше, чем у вас.

С о м о в. У меня их нет больше вовсе.

Агар громко смеется.

С о м о в. Это смешно?

А г а р. Нет, это я смеялся своим мыслям.

Входит О л ь г а.

О л ь г а (*ходит по комнате, собирает чайную посуду, замечает Агара*). Агар, ну как у вас сегодня в Египте, все спокойно?

А г а р. Вчера вечером убили губернатора.

О л ь г а. Это ничего, не отчаивайтесь, будет другой. (*Выходит с посудой.*)

А г а р. Разговоры наши с вами похожи на какие-то сигналы в межзвездном пространстве. Мы понимаем друг друга, но кто нас подслушает – ничего не поймет. Заметьте, что за столько лет мы никогда не посмели дать друг другу совета.

С о м о в. У меня всегда есть моя Португалия, в которую я могу в крайнем случае убежать. У вас ее нет. (*Смеется.*)

А г а р. Зачем вам куда-то бежать? Вы знаете, на востоке, когда богатый человек строит себе дом, он в конце своего сада ставит особую калитку, всегда запертую, ключ от которой хранит день и ночь при себе. Это та лазейка, через которую он бежит от бедствий... незаметно уходит от всего. У меня нет такой калитки, забыл построить. Впрочем, если бы она и была, то ключ от нее я бы все равно потерял. (*Пауза.*)

С о м о в. Я сижу и думаю, сказать вам или нет одну новость?

А г а р. А почему бы и нет?

С о м о в. Ольга собирается усыновить ребенка.

А г а р. Неужели? Вот это неожиданно.

С о м о в. Девочку. От неизвестных родителей.

А г а р. Это сильно изменит вашу жизнь. Но в этом есть удовольствие... А почему же не мальчика?

С о м о в. Спросите ее сами об этом.

Входит О л ь г а.

О л ь г а. Агар, вы закусите с нами? Скоро все будет готово.

А г а р. Спасибо. Мне рано обедать, я только недавно встал. (*Берет газету.*)

Нина Берберова

С о м о в (*подходя к Ольге, тихо*). Мне хочется провести вечер с тобой вдвоем, так давно этого не было.

О л ь г а. Что ты! На прошлой неделе мы только и делали, что сидели вдвоем дома.

С о м о в. Не уговаривай ее остаться, она очень милая, но все-таки совершенно нам чужая.

О л ь г а. Она не чужая, уже не чужая, Сергей. Разве ты не чувствуешь, что она совсем своя? Я тебе сейчас что-то скажу, и ты страшно удивишься.

С о м о в (*хмуро*). Лучше не говори.

О л ь г а. Как ты иногда можешь обрезать всякую радость. У тебя нет желания сделать что-то и посмотреть, что из этого получится?

С о м о в. Зачем?

О л ь г а. Ах, Сергей, каким ты иногда притворяешься каменным. Ты ведь совсем не такой.

С о м о в. Я никогда с тобой не притворяюсь. Если я тебе кажусь каменным, значит, я такой и есть.

О л ь г а. Сделать что-то не совсем обыкновенное, попробовать что-то, чего не делают другие... И потом...

С о м о в. Но мы с тобой никогда не жили «как другие». Мы жили по-своему.

О л ь г а. У тебя всегда была эта привычка: быть в стороне от судьбы.

С о м о в. Я не понимаю, что это значит.

О л ь г а. А мне всегда хотелось помогать судьбе, мешать судьбе, вмешиваться в ее тайны.

С о м о в. Я никогда не вмешивался ни в чьи тайны.

О л ь г а. Нет, ты просто не понимаешь, о чем я говорю.

Голос До из кухни: «Скорей, скорей, здесь что-то кипит!»

О л ь г а убегает.

С о м о в (*опускаясь в кресло*). О чем мы с вами говорили?

А г а р (*опуская газету*). Вчера я проиграл Бергману четырехста. Собираюсь сегодня отыграться.

С о м о в (*не слушая его*). Мы говорили об усыновлении детей бездетными родителями.

А г а р. Я люблю игру, потому что в ней по большей части все делается очень тихо. Без всякого шума.

С о м о в. Бездетным родителям ничего другого не остается, как усыновлять детей. Закон им в этом помогает.

Входит Д о в большом переднике.

Д о. Я ничего не разбила и очень вкусно заправила салат.

А г а р (*встает*). Кто это?

С о м о в. Это – До. Новая игрушка Ольги.

Д о. А какие игрушки были до меня?

С о м о в. До вас? Не помню. Никаких не было.

Д о. Почему же вы говорите «новая», чтобы меня уколоть?

С о м о в. Прошу простить меня, Агар, это До, первая и последняя игрушка Ольги.

Агар кланяется, До протягивает ему руку.

А г а р. Если вы когда-нибудь захотите выйти замуж, скажите мне об этом.

Д о. Об этом не говорят. Это держат в секрете.

А г а р. Пусть это будет секрет для всех, кроме меня.

Д о. Вы давно знаете господина Сомова?

А г а р. Очень давно и очень хорошо.

Д о. Он хороший человек?

А г а р. Он очень хороший человек.

Д о. А мне больше нравится его жена.

Входит О л ь г а.

О л ь г а. Господа, идемте в столовую. До, вы познакомились с Агаром? (*До кивает.*) У него в Египте сегодня все совершенно спокойно.

Нина Берберова

До смеется и остается с Агаром. Ольга и Сомов на авансцене.

О л ь г а. Сергей, поди сюда. (*Сомов медленно подходит к ней.*) У меня для тебя сюрприз. Она согласна.

С о м о в. На что?

О л ь г а. Остаться до завтра. Ты рад? (*Сомов молчит, Ольга смотрит на него пристально.*) Что ж ты молчишь?

До подходит к ним и обнимает Ольгу.

О л ь г а. Маленькая девочка, наверное, давно проголодалась? Идемте, господа, обед на столе.

Д о (*заглядывая в глаза Ольге*). Вы любите меня?

О л ь г а. Ну конечно, я люблю вас. Мы все любим вас. Кто может вас не любить?

Идут к дверям в столовую.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина третья

Та же комната. Вечер. Зажжены лампы. После второй картины прошло пять дней. С о м о в сидит у письменного стола, заваленного корректурами. Читает. О л ь г а на диване, тоже заваленном бумагами, с карандашом в руке, выбирает репродукции.

О л ь г а. Я бы взяла еще вот эту. *(Протягивает ему фотографию.)*

С о м о в. Положи ее сюда.

О л ь г а *(встает, кладет фотографию на стол, возвращается на свое место.)* Ты даже не посмотрел, что я выбрала.

С о м о в *(правит корректуры)*. Сейчас... Дай дочитать.

О л ь г а *(берется за правку листов)*. Ты на этот раз пропустил довольно много ошибок.

С о м о в *(взглядывает на часы)*. Возьми еще вот эту гранку – две последние у меня.

Ольга идет и берет лист.

О л ь г а. Она сказала, что вернется к десяти.

С о м о в. Я совсем не о ней. Патрикеев должен прийти за корректурами.

О л ь г а. Я говорю, что еще совсем не поздно. Ее первый приход туда с тех пор, как она переехала к нам, ей-богу же, Сергей, это не так страшно. Нельзя же ее держать

Нина Берберова

взаперти. Всегда только с нами – она соскучится. Пять дней, как она тут, и только сегодня пошла навестить своих друзей, этого художника, который, наверное, никогда не прославится, и его жену.

С о м о в. Я не собираюсь держать ее взаперти. Я только того мнения, что она могла бы подождать неделю. Что ей, плохо здесь? Воображаю всю эту тамошнюю публику. Лодыри.

О л ь г а. Она сказала, что вернется рано. И нет оснований ей не верить.

С о м о в. Они небось немедленно начнут восстанавливать ее против нас.

О л ь г а. Почему? Что мы им сделали?

С о м о в. Что же ты, не знаешь теперешних молодых? Им все в нас противно, и кварталы, в которых мы живем, и картины, которые на стены вешаем, и вся наша жизненная установка.

О л ь г а. Ты рассуждаешь так, будто ты буржуа, будто у тебя капитал в банке и собственный завод... В конце концов, ты ученый, живешь своим трудом.

С о м о в. Но живу в кругу буржуа. И вкусы у меня как у буржуа, и подход к жизни буржуазный.

О л ь г а. Ну и что ж? Собираешься все это менять?

С о м о в. Нисколько. Но с тех пор, как она появилась – человек другой среды, – я стал понимать, что не мы одни живем на свете.

О л ь г а. Конечно, не мы одни. Но ты же сам только что назвал всех этих неудавшихся гениев лодырями.

С о м о в. Вот это-то меня и смущает. Я знаю, что они нас не стоят, но они мне мешают.

О л ь г а. Почему?

С о м о в. Не знаю. И знать не хочу.

О л ь г а. Они тебе мешают потому, что занимают место в ее жизни.

С о м о в. Мы ее пригтели, а она все туда смотрит.

О л ь г а. Ты хотел бы, чтобы она смотрела только на нас с тобой?

С о м о в. Ты ставишь вопрос неверно. Не то, чтобы она смотрела только на нас с тобой, а чтобы она полюбила эту нашу жизнь больше той.

О л ь г а. Она ее полюбит, и очень скоро.

С о м о в. Ты так думаешь?

О л ь г а. А ты сомневаешься? У нее тут есть все, а там — ничего.

С о м о в. Кроме чего-то, чего здесь нет.

О л ь г а. Богемы? Сегодня — с одним, завтра — с другим, без обеда спать легли, с квартиры сбежали — платить нечем, зависть к тем, кто вырвался к славе, оригинальничанье, безделье.

С о м о в (*смотрит на часы*). Без двадцати десять.

О л ь г а. Ну и что ж?

С о м о в. Да я же тебе сказал, что Патрикеев придет за корректурами.

О л ь г а. А! Я забыла. Я думала...

С о м о в. Оригинальничанье, безделье. Но при этом возможность всегда говорить правду. Жить, так сказать, по прямой линии. Понимаешь?

О л ь г а. А мы с тобой разве живем не по прямой линии?

С о м о в. Не знаю. Может быть, нет. Но у нас всегда есть этому оправдание: так делают все кругом, так мы приучены.

О л ь г а. Ну нет. Оправданий мне не надо. Если я живу, как ты говоришь, не по прямой, то оправдываться в этом не собираюсь.

С о м о в. С тех пор, как она здесь, у меня тысяча вопросов в голове. И самый главный из них: благодетели мы или погубители?

О л ь г а (*смеется*). Ну какая тебе разница? Вероятно, и то, и другое.

С о м о в. Но я не хочу этого.

О л ь г а. Чего же ты хочешь? (*Пауза. Оба читают корректуры.*) Ты знаешь, учитель пения мне сказал, что он очень доволен ею, и она так старается.

Нина Берберова

С о м о в. Я давно хотел сказать тебе одну вещь: я заметил, что, кроме старого дождевика, у нее нет пальто.

О л ь г а. Я сама об этом думала. Знаешь, я видела недалеко от нас в окне мехового магазина беличью шубку. Ей так пойдет.

С о м о в. Надо купить на этих же днях. А то еще простудится.

О л ь г а. И маленький беличий капор. Как ты думаешь?

С о м о в. Ну конечно.

О л ь г а. Ей все идет. Вчера днем, когда тебя не было, мы играли с ней, одевались в мои старые платья, перерыли все сундуки. Нашли мое старое розовое, ты, наверное, и не помнишь его, лет пятнадцать тому назад шитое. Мода была такая (*показывает*). Она его надела. Оно было так красиво на ней. Я заказала его, когда мы поехали после нашей свадьбы во Флоренцию. Так давно... так невероятно давно это было.

С о м о в. Как было бы хорошо опять поехать туда, показать ей Перуджию, Сиену.

О л ь г а. Да, Сергей, ты представляешь себе, какая это будет всем нам троим радость? И как весело будет смотреть на нее, когда она будет восхищаться где-нибудь в Лукке...

С о м о в. Надо все это обдумать. Может быть, мы могли бы пожить в Милане и найти ей учителя пения.

О л ь г а (*смеется*). Интересно, кем мы будем тогда: благодетелями или погубителями?

Сомов молчит и поглядывает на часы.

О л ь г а. Ты не отвечаешь? Я скажу тебе: не все ли равно?

С о м о в. Ты это серьезно думаешь?

О л ь г а. Иногда.

С о м о в. Мне кажется в эту минуту, что я тебя мало знаю. Живу рядом с тобой столько лет и не знаю.

О л ь г а. Какие глупости! Мы знаем друг друга хорошо.

С о м о в. Ты так думаешь?

О л ь г а. Я совершенно уверена, что знаю тебя очень хорошо.

С о м о в. А себя?

Ольга, пораженная, молчит.

С о м о в. С собой ты ведь живешь еще дольше.

О л ь г а. Если я за столько лет не смогла узнать себя, тогда грош мне цена. *(Берется за корректуры.)*

С о м о в *(передает ей гранку)*. У меня осталась одна последняя.

Оба читают. Сомов опять смотрит на часы. Внезапно в дверь раздается едва слышный стук. Сомов поднимает голову, прислушивается.

Продолжает читать. Стук чуть слышнее раздается во второй раз.

Сомов встает и идет к двери. Входит Д о.

С о м о в. Почему вы стучите? Почему не звоните? Разве мы не дали вам ключа?

Д о *(смущенно)*. От робости. Я не знала, хотите ли вы вправду, чтобы я вернулась. Я не очень поздно пришла?

О л ь г а. Нисколько. Мы тебя не ждали так рано.

Д о. Как хорошо прийти домой. *(Оглядывается.)* Там было не очень интересно. *(Раздевается, идет к Ольге.)* Скучно было. Здесь никогда не скучно, около вас. *(Ольга целует ее.)* Я не буду больше туда ходить. *(Садится на ковер.)*

С о м о в. Успели повидать своих друзей?

Д о. Они мне показались какими-то другими. Я обедала с Тусей. Ян опять без работы. Я сказала им, что учусь петь. Они смеялись надо мной.

С о м о в. Почему?

Д о. Не знаю. Мне показалось, что они разлюбили меня. И тот фотограф, который живет под крышей, тоже разлюбил. И даже индус, который статистом в кино, и вообще все.

Нина Берберова

О л ь г а. Но тебе не грустно, что тебя разлюбили фотограф и индус?

Д о (*грустно*). Нет, мне не грустно. Я знаю, что вы любите меня.

О л ь г а. Тебе хорошо у нас?

До кивает. Сомов пристально смотрит на нее.

С о м о в (*после паузы*). Нечего было ходить туда.

О л ь г а (*меняя разговор*). Твой учитель мне сказал сегодня, что особенно надо обращать внимание на низкие ноты. Ты сколько сегодня занималась?

Д о. Утром полтора часа и после завтрака около часу.

О л ь г а. Умница. Тебе нравится учиться пению?

Д о. Очень. Но теперь я устала. Я хотела бы, чтобы Сергей Сергеевич нам почитал вслух какой-нибудь рассказ (*вытягивается на ковре*).

О л ь г а. По-моему, пора уже тебе называть его Сережей.

Д о. Сережей? Сережа, почитайте нам что-нибудь. Ольга, что ему почитать?

С о м о в. Может быть, Корта?

О л ь г а. Да, прочитай нам маленький рассказ Корта, из того сборника, что До принесла с собой. Вчерашний мне так понравился.

С о м о в. Но До их, наверное, все наизусть знает?

Д о. Это ничего. Я люблю слушать, как вы читаете, и люблю смотреть, как слушает Ольга.

О л ь г а. Сядь ко мне сюда. (*До садится у ее ног*.)

С о м о в (*берет книгу со стола, листает*). Вот тут один рассказ, называется «Гвоздь, который превратился в гвоздику».

Д о (*к Ольге*). Так, значит, завтра?

О л ь г а. Да, завтра.

С о м о в. Что завтра?

О л ь г а. Завтра мы едем с До выбирать ей новое платье. Скоро Рождество – и ей нужно платье.

С о м о в. А мне нельзя с вами? (*Обе смеются*.)

О л ь г а. Конечно, можно.

С о м о в. А какого цвета будет платье?

Д о. Может быть – белое. Ольга, можно белое?

О л ь г а. Конечно, можно.

С о м о в. А туфли?

Д о. А туфли будут золотые.

С о м о в. Почему не белые тоже?

Д о. Туфли должны быть золотые.

О л ь г а. Можно те и другие.

Д о. И белые, и золотые, и серебряные, и голубые...

С о м о в. Белые.

Д о. Золотые.

О л ь г а. Подождите, я сейчас что-то принесу. Пусть До примерит мои золотые сандалии.

Д о. А как с гвоздикой, которая превратилась в гвоздь?

О л ь г а (*смеется*). Подождет. (*Выходит.*)

С о м о в. До! (*Очень тихо.*) Я люблю вас. Взгляните на меня хоть раз подольше. До, вы слышите меня?

Д о. Нет, Сережа, я ничего не слышу.

С о м о в. Теперь я знаю, что такое счастье: это видеть вас каждый день и целый день, ночью чувствовать вас где-то совсем близко, за стеной. Иногда вас касаться, дышать вами. Надеяться.

Д о. Надеяться не на что.

С о м о в. Не говорите так. Не разрушайте этого удивительного, этого волшебного состояния, в котором я живу. Счастье мое! Я люблю вас.

Д о. Я не хочу, чтобы вы говорили так со мной.

С о м о в. Когда вы остались ночевать, в тот первый вечер, я еще ничего не понимал: хорошо это или плохо? Минутами мне казалось, что какая-то беда надвигается на меня. Я не хотел, чтобы вы остались, и хотел этого одновременно. Я боялся того, что будет. Я не привык, чтобы кто-то распоряжался моей жизнью. Но теперь... мне смешно все это. Какое мне дело до всего этого? (*Целует ее руки.*) Моя девочка, моя маленькая девочка.

Нина Берберова

Д о. Нет, Сергей Сергеевич, никаких поцелуев, пожалуйста. Я здесь не для того, чтобы вы любили меня. Я сюда пришла не для того, чтобы обманывать Ольгу. Я здесь потому, что нам втроем хорошо друг с другом, и все, что я делаю и говорю, – правда. И совесть у меня такая чистая, будто ее вымыли щелоком... Я даже не знала, что у меня есть совесть, и теперь я еще многое другое знаю. И мне так легко, так легко...

С о м о в. Если вы поверите моей любви, вам будет еще лучше (*хочет ее поцеловать*).

Д о. Я не хочу, чтобы вы целовали меня. Я слишком люблю Ольгу.

С о м о в. Вы можете продолжать ее любить, это ничему не мешает.

Д о. Это мешает мне. Раньше вы были честнее, Сергей Сергеевич. Не такой грубый.

С о м о в. Когда человек любит, он всегда грубый, он говорит нежные слова и слушает соловьев, но на самом деле хочет грубого счастья. Вы еще этого не знаете.

Д о. Раньше...

С о м о в. Не все ли равно, каким я был? Не делайте меня несчастным. Вам так легко сделать меня счастливым.

Д о. Нет, совсем не легко.

С о м о в. Не говорите словами. Только взгляните на меня, и я пойму.

Д о (*отворачивается*). Нет, Сергей Сергеевич.

С о м о в. Никогда?

Д о. Я уже сказала: никогда.

Сомов хочет поцеловать ее колени, но она отодвигается,
и он целует ее платье.

О л ь г а входит, улыбаясь, держа в руках две пары золотых сандалий.

О л ь г а. Примерь эти туфли. Я думаю, что-нибудь в этом роде надо будет тебе купить к новому платью.

Д о. У меня, наверное, ноги больше ваших.

О л ь г а. А я думаю – одинаковые.

Д о (*примеряет сандалии и остается с них*). Как красиво! Почему нельзя носить такие туфли каждый день? (*Танцует по комнате.*)

О л ь г а. Почему нельзя? Если нравится – носи на здоровье.

Д о. С утра до вечера? Вы мне их дарите?

О л ь г а. Конечно. Кому же мне делать подарки, как не тебе.

Д о (*опять садится у ее ног*). Да. Расскажите мне что-нибудь, вы всегда так интересно рассказываете.

О л ь г а. Но ведь Сережа, кажется, хотел нам что-то прочесть вслух?

С о м о в (*садится у лампы, спокойно*). Это называется «Гвоздь, который превратился в гвоздику».

Резкий звонок у двери. До вскакивает, Ольга встает.

Д о. Кто это?

С о м о в. Это Патрикеев за корректурами.

О л ь г а. Уйдем скорее, До. С этим господином нам не о чем разговаривать.

Берут каждая в руку по золотой сандалиии, оставляют посреди комнаты туфли До, уходят в дверь направо.

Сомов открывает дверь. Входит П а т р и к е е в, человек сухой, без юмора, с длинным лицом. Под пальто у него надет смокинг.

П а т р и к е е в. Это что ж? Вы не одеты?

С о м о в. А почему, собственно, я должен быть в бальном платье?

П а т р и к е е в. Мы едем на обед.

С о м о в. Я уже обедал. Мы никуда не едем (*собирает корректуры и фотографии*). Вот вам. Все готово. И репродукции отобраны.

П а т р и к е е в. Идите одеваться. Нас ждут.

С о м о в. Все это – на полное ваше усмотрение. Промомотрите, если хотите, и пошлите куда следует.

Нина Берберова

П а т р и к е е в. Вы знаете, куда я вас тащу?

С о м о в. Понятия не имею.

П а т р и к е е в. Сегодня утром прилетел Альвар.

С о м о в (*иронически*). Ура! Ну и что же?

П а т р и к е е в. Летит назад в конце недели и хочет, чтобы вы летели с ним.

С о м о в. Послушайте, мой бриллиантовый, я сейчас скажу вам что-то, и вы сильно удивитесь: я болен и ехать никуда не могу. Доктор предписал мне полный покой. И я ехать никуда не хочу – вот вам сушая правда. Не хочу и не поеду.

П а т р и к е е в. Это вы про что говорите?

С о м о в. А вот про этот самый сегодняшний обед. Сюрпризы Альвара – я привык к ним, не хочу, чтобы мне падал кирпич на темечко. Он уже звонил мне два раза – и на меня это не произвело никакого впечатления. «Бежим туда», «летим сюда». Я болен и увижусь с ним завтра.

П а т р и к е е в. Не понимаю вас. (*Видит туфли До посреди комнаты.*) Не понимаю. Сочувствую, но не понимаю. Дело есть дело. Алтарь кончают реставрировать, фрески полностью вышли наружу. А вы, значит, в туфлях и халате развлекаетесь по-домашнему. Другие, значит, пожнут то, что вы посеяли.

С о м о в. Как вы сказали? Пожнут? Это от какого же глагола?

П а т р и к е е в. Это русский глагол совершенного вида: пожать.

С о м о в. Но от «пожать» будет «пожмут».

П а т р и к е е в. Значит, не от пожать, а от пожнуть.

С о м о в. Такого слова по-русски нет.

П а т р и к е е в. Может быть, пожмать.

С о м о в. Не думаю. А какой же это будет залог?

П а т р и к е е в. Этого, простите, я не знаю.

С о м о в. Тем хуже для вас. (*Пауза. Патрикеев смущен.*) Спасибо вам, мой алмазный, за то что приехали. Забирайте корректуры. Последнюю гранку просмотрите особо: в ней, наверное, остались опечатки, объяснять

долго почему, Альвару скажите, что завтра утром я в его распоряжении, а сегодня не могу. У меня жар.

П а т р и к е е в. Вид у вас совершенно здоровый.

С о м о в (*теснит его к арке*). Доктор запретил.

П а т р и к е е в. Они будут так разочарованы все, когда я сейчас появлюсь один.

С о м о в (*отпирая дверь на лестницу*). Завтра в любой час... Хоть затемно. Так ему и скажите.

П а т р и к е е в выходит. Сомов запирает за ним дверь.

Из столовой с хохотом выбегают О л ь г а и Д о.

Д о (*прыгая вокруг Сомова*). Скорей, скорей! Где черный галстук? Где чистая рубашка? Одеваться! Одеваться!

О л ь г а (*бросается на диван, хохоча*). Неси ему черные носки. Мы его сейчас оденем с ног до головы и спровадим.

С о м о в. Вы подслушивали?

Д о. Ну, конечно! (*Тащит с него пиджак*.) Извольте убираться отсюда вон! Довольно праздновали! Пора за работу! Альвар Альварыч ждет!

С о м о в (*хватает ее в объятье и бросает на другой диван. Посреди комнаты собирается произнести речь*). Вы одни во всем виноваты. Вы обе поощряете во мне лень. Вот плоды вашего воспитания: «Почитай нам вслух!» «Расскажи что-нибудь!» «Посиди с нами!..»

Ольга и До хохочут.

О л ь г а. Ну где тебе может быть веселей?

Д о (*вскакивает с дивана*). Дома так хорошо!

С о м о в (*смотрит на нее*). Вот потому-то я и сижу дома.

Ольга опять садится на прежнее место, Сомов – под лампой, у стола.

До смотрит то на одного, то на другого.

С о м о в (*хмуро*). Они, конечно, будут требовать, чтобы я летел к черту на кулички в конце недели.

Нина Берберова

О л ь г а. А тебе не хочется?

Д о. Если вы уедете, кто же нам будет читать вслух по вечерам?

С о м о в. Вот именно. Потому я никуда и не поеду (*смотрит на нее*).

О л ь г а. Люблю в тебе решительность и твердость.

Д о (*подносит Сомову раскрытую книгу*). Вам светло так? Или вы пересядете туда?

С о м о в. Мне очень хорошо. Лучше быть не может. (*Берет книгу и одновременно руку До. Она осторожно отнимает ее*).

О л ь г а. Я бы тоже сейчас никуда не полетела.

Д о. Люди говорят о себе теперь, как если бы они были ласточками. (*Сомов неподвижно смотрит на нее*.) Ну, что ж вы не начинаете? (*Садится у ног Ольги*.)

С о м о в (*читает*). «Несколько лет тому назад в одной из старых улиц нашего города еще стоял дом с огромным чугунным ангелом у входа (*занавес начинает медленно падать*), и каждый раз, когда я проходил мимо него, я думал о том, что эти чугунные крылья когда-нибудь дрогнут...»

Картина четвертая

Та же комната. Сочельник. Мебель передвинута, потому что между окнами слева стоит большая рождественская елка, крашенная, в огнях. Все лампы зажжены, пианино открыто. На столах – цветы, бутылки, стаканы. Под елкой – завернутые в бумагу подарки. Час ночи. Дверь в столовую открыта, оттуда слышны голоса гостей. Д о и А г а р-б е н-М о с е д выходят из двери в столовую. Чувствуется, что До много выпила.

Д о (*садится в кресло. Лицо у нее счастливое*). Какие сегодня все милые, какие веселые! Правда?

А г а р. Не знаю, не заметил.

Д о. И вы тоже. Какие вы интересные истории рассказывали за столом. Может быть, это были сказки?

А г а р. Я знаю еще тысячу разных историй, которые я вам расскажу, когда мы ближе познакомимся.

Д о. Мне нельзя с вами ближе познакомиться.

А г а р. Почему? *(До смеется.)* Почему вы смеетесь?

Д о. От счастья.

А г а р. Вы помните, что я сказал вам: надо всегда следить за тем, чтобы кончики ваших ушей были одинаково теплые или одинаково холодные.

Д о *(трогает себя за уши)*. По-моему, одно ухо у меня горячее другого.

А г а р. Дайте я попробую. *(Трогает ее уши.)* Да, и это значит, что вы серьезно больны.

Д о. Чем я больна?

А г а р. Это решит доктор.

Д о *(лукаво)*. Вы бы хотели быть моим доктором?

А г а р. Нет, зачем?

Д о. Чтобы вылечить меня.

А г а р *(несколько секунд думает)*. Хотите выйти за меня замуж?

Д о. Нет, не хочу, благодарю вас.

Из столовой выходят Ольга, Сомов, Леда, Евгения и Патрикеев. Все рассаживаются вокруг елки, кроме Сомова, который остается стоять среди комнаты, и Ольги, которая идет к елке.

Е в г е н и я. А который сейчас час? Верно уже очень поздно. Никогда еще не было у вас так весело, Сережа, это моя самая веселая елка за много лет. И все сегодня в ударе, правда?

Л е д а. Нет ли подходящей музыки? Только без меланхолии, пожалуйста.

Е в г е н и я. Да, нет ли подходящей музыки? Я хочу танцевать.

А г а р. Танцевать буду я, и непременно с До, и под любую музыку. *(Хочет взять До за талию.)*

О л ь г а. Оставьте До в покое, и пусть никто не говорит, что поздно и что пора домой. Сейчас я буду разда-

Нина Берберова

вать подарки как полагается на елках. Пусть все сядут.
(Сомов садится поодаль.)

Л е д а. Как интересно! Будут подарки.

С о м о в. Ольга под большим секретом от нас устроила все это. Мы с До не были допущены к елке ближе, чем на десять шагов.

Д о. Мы с Сережей были даже изгнаны из комнаты, и чтобы мы не подглядывали, она нас выставила из квартиры.

А г а р. И вы пошли в кино?

Д о. Я пошла в кино, а Сережа пошел гулять по улицам, как всегда.

Е в г е н и я. С каких это пор вы ходите по улицам? Это еще что за новая привычка?

Л е д а. Это надо понимать метафорически.

А г а р. То есть символически.

П а т р и к е е в. Я тоже иногда люблю бродить по улицам, особенно когда...

О л ь г а. По крайней мере мне никто не мешал, и я могла все устроить так, как мне хотелось.

Д о. И вы все так чудесно устроили! (Любуется елкой.)

О л ь г а. Внимание! Я начинаю раздавать подарки. Первый – До. От меня. (Дает До маленький сверток.)

Д о. Мне? Что это? (Раскрывает сверток, вынимает футляр, в нем – золотой браслет.) Ольга! (Бежит к Ольге, обнимает ее.) Наденьте мне его на руку сами. Мне всегда так хотелось иметь браслет! (Ольга надевает ей браслет, Сомов подходит и смотрит.)

Л е д а (Евгении, тихо). Роль этой блондинки в этом семействе мне не совсем понятна.

Е в г е н и я. У меня такое впечатление, что она живет с Агаром.

А г а р (подошел к До). Покажите мне тоже. (Смотрит на браслет, целует До руку.)

Д о. Ах, как я счастлива! (Агару.) А вы?

О л ь г а. А это вам, Леда. (Дает ей сверток.) А это тебе, Женечка, а это вам, а это вам... (Раздает Евгении, Агару)

и Патрикееву свертки.) Ты, Женя, понюхай, как пахнет. (Евгения нюхает духи, все разворачивают свертки, возгласы). Сережа, тебя чуть не забыли. *(Дает сверток и Сомову, он разворачивает его, это – книга о Лукке.)* Напоминание о том, что ты собирался везти нас обеих в Италию.

Все переглядываются.

П а т р и к е е в. Вот я тоже собираюсь в Италию, и представьте...

С о м о в. Как хорошо ты все придумала, Оленька, каждому то, что ему подходит.

Д о. А у меня – лучше всех. *(Ложится на диван.)*

А г а р. С детства не помню, чтобы мне кто-нибудь что-нибудь дарил.

Д о *(кладя обе ноги на подушку).* Это все потому, что я тут. *(Смущение.)*

О л ь г а. Ну, конечно. Я устроила елку для тебя.

Д о. Ах, как хорошо жить на свете! *(Все смеются.)*

С о м о в. По-моему, она слишком много выпила.

Д о. Я еще хочу.

О л ь г а. Полежи спокойно, а то завтра будет болеть животик. *(Ольга садится с гостями. До лежит несколько вдалеке и сама себе улыбается.)*

С о м о в *(закуривая).* Я не договорил вам, но возможно, что в будущем году мне придется отправиться на время на Ближний Восток. Там начинается совершенно новое дело: обследование в Аравии старых колодцев; в одном недавно нашли каменную плиту с надписью, и сейчас Британский музей работает над расшифровкой. Я видел снимки. И мне сделали одно очень интересное предложение...

Д о. Лучше откапывать мамонтов. Мы недавно с Ольгой читали одну книжку про мамонтов, как одного откопали в Сибири.

А г а р. Неужели? Когда? Теперь?

Д о. Нет, перед войной, не перед этой, а перед той, я не знаю, перед какой, их столько было. Одним словом,

Нина Берберова

перед какой-то войной откопали в Сибири мамонта, и когда он весь вышел наружу, один ученый так волновался, что умер. Умер от мамонта. *(Все смеются.)*

С о м о в. Не умер, а упал в обморок от волнения. Это известный случай.

Д о. Умер, раз я говорю! А от каменной плиты еще никто не умер. *(Протягивает руку к столику, хочет достать стакан и выпить.)*

С о м о в *(идет к ней и отнимает стакан)*. Пожалуйста, поставьте стакан на место.

Д о. Ольга, мне довольно пить?

О л ь г а. Довольно, моя девочка.

Д о *(отдает стакан)*. Ах, как хорошо жить на свете! *(Сомов возвращается на свое место.)*

Е в г е н и я. Ближний Восток мне всегда казался удивительным местом, это смешение народов, языков, политических влияний... Я не помню, как называется этот город на берегу Персидского залива, где, говорят, небо иногда бывает лиловое, а солнце зеленое и вообще краски в природе как на картинах кубистов.

Д о. Не кубистов, а сюрреалистов.

О л ь г а *(стараясь замять)*. На картинах модных художников. Если Сережа поедет в Аравию, то мы с До будем жить в Каире или в Сицилии. Правда, Сережа?

С о м о в. Да, конечно.

О л ь г а. Или поедет в Грецию. До, ты хочешь в Грецию?

Д о *(сонно)*. А вдруг я там потеряюсь?

С о м о в. Хотите, я покажу вам, как реставрировали алтарь? И фотографии фресок тоже получены. Их привез Альвар.

П а т р и к е е в. Вот, вот, я всегда говорил: представляют чрезвычайный интерес и отчасти восполняют...

Е в г е н и я. Покажите, я не знала, что они там все закончили. Почему же вы не там?

С о м о в *(идя с ней и с Патрикеевым в столовую)*. Это длинная история...

Все трое уходят.

Ольга подходит к До, лежащей на диване, гладит ее по голове, наклоняется к ней и что-то тихо спрашивает.

До (*громко*). Совершенно счастлива.

Ольга что-то шепчет.

До. Ничего не болит... Ничего не хочу.

Леда (*тихо Агару*). Роль этой блондинки в этом семействе мне не совсем ясна. Мне кажется, Ольга делает большую глупость.

Агар (*спокойно*). Они ее усыновили.

Леда. Вы с ума сошли! Кто вам сказал?

Агар. Никто. Впрочем, сам Сергей мне как-то намекнул на это. У Ольги проснулся материнский инстинкт.

Леда. Вы притворяетесь дураком.

Агар. Благодарю вас.

Леда. Все дело в Сергее. И это все, по-моему, большая гадость. Лучше в таких случаях немедленный развод. Вас, как мусульманина, это, конечно, не коробит.

Агар. Позвольте вам сказать, что вы на совершенно ложном пути. (*Пауза.*)

Леда. Всякая путаница в жизни меня всегда ужасно раздражает.

Агар. Мне казалось до сих пор, что вы совершенно равнодушно относились к драмам, которые вас прямым образом не касались.

Леда. А разве тут уже драма?

Агар. Я этого не сказал.

Леда. Евгения считает... впрочем, это все равно, что Евгения считает. Вы будете, конечно, отрицать. Меня раздражает... что меня раздражает? Я забыла, о чем мы говорили.

До (*из глубины сцены*). Жила-была на свете маленькая девочка, и однажды раздвинулся занавес (*показывает на первое окно*) и представление началось.

Нина Берберова

А г а р. И что же это было за представление?

Д о. Это было чудное представление, и у маленькой девочки была самая большая, самая главная роль. В этой роли от одного неверного слова могли произойти мировые катастрофы. (Пауза.)

Д о. Но маленькая девочка, которая до того так тихо жила на свете, знала, как ей вести эту самую главную, самую важную роль. Она знала все слова... она умела их говорить. (Пауза.)

А г а р (хочет остановить ее). До, вы любите Леду?

Д о. Я всех люблю.

А г а р. И меня?

Д о. И вас. И ее. И швейцара, который каждое утро говорит мне, что хорошая погода, и Эмилию, которая приходит по субботам и спрашивает меня, как я поживаю.

Начинает что-то напевать. Входят С о м о в и П а т р и к е е в.

С о м о в. Налить вам чего-нибудь, Леда?

Л е д а. Шампанского, конечно.

Сомов наливает ей и Патрикееву, который сидит в углу и смотрит на До, До напевает что-то про себя. Леда говорит тихо, чтобы она не слышала.

Л е д а. Скажите, друг мой, у вас еще долго будет гостить эта девочка?

С о м о в. Ничего не могу вам ответить на это, я и сам не знаю.

Л е д а. Она не стесняет вас?

С о м о в. Нет,нисколько. Сначала немного непривычно было – быть всегда втроем, вместо того чтобы быть вдвоем, но сейчас все уладилось... она меня больше не раздражает, я вполне примирился... И потом, Ольга так привязалась к ней.

А г а р. Ее нужно выдать замуж.

С о м о в. Как это просто! Да, вы правы.

П а т р и к е е в. Когда я выдавал замуж мою Ирочку, мы устроили завтрак на двести персон, и представьте, кто приехал? Вы никогда не отгадаете! Приехал сам Флинт. Я думал: ну телеграмму пришлет, ну там цветы, может быть, а он взял, да и приехал. Прямо с Крита.

А г а р. Ее нужно выдать замуж.

О л ь г а и Е в г е н и я возвращаются.

Е в г е н и я. Вы знаете, что сейчас, оказывается, будет? До будет петь.

А г а р. До будет петь?

О л ь г а. Да, я хочу, чтобы она нам спела что-нибудь. Вы знаете, она берет уроки пения, у нее чудный голосок, и она делает огромные успехи.

С о м о в. Оставьте ее в покое. Она спит.

Д о. *(лежа на диване)*. Я не сплю. Я просто решила молчать, чтобы не принимать участия в ваших скучных разговорах. Теперь вы хотите, чтобы я веселила вас? Хотите, чтобы я вам спела? Без меня вы совершенно не знаете, чем вам занять себя. *(Встает с дивана. Общее смущение.)*

С о м о в. Спойте, вы всем нам доставите этим удовольствие.

Д о. Всем, но не вам. Потому что вы относитесь ко мне критически.

С о м о в. Я вовсе не отношусь к вам критически, откуда вы это взяли? Я просто не прихожу в восторг от всего, что вы говорите и делаете.

А г а р *(стараясь замять)*. Напрасно, напрасно.

О л ь г а. До, ты прекрасно знаешь, что Сережа тебя очень любит. Пожалуйста, господа, не ссорьтесь.

Д о. Я не ссорюсь, я тоже Сережу люблю, но он делает мне замечания.

О л ь г а. Ну, будет, будет. Пожалуйста, помиритесь, поцелуйтесь, и будем петь.

Нина Берберова

До подходит к Сомову и после некоторого колебания целует воздух у его щеки.

О л ь г а (*идет к пианино*). Что же мы будем петь?

Д о. Все, что вы хотите. Я буду петь все, что вы скажете.

Л е д а. Люблю семейное начало. У меня в доме его никогда не было.

Е в г е н и я (*тихо Леде*). Мне кажется, я была неправа, когда сказала вам, что она живет с Агаром. Она с ним не живет.

Ольга и До у пианино.

А г а р. Если она еще и поет хорошо, то у нее все качества.

С о м о в. Она поет очень мило, но, конечно, у них у всех одна цель: любой ценой на сцену. С этим следует бороться.

Д о. Вы слышите, что он сказал? Он все время хочет со мной бороться! А сначала этого не было... Но все это пустяки. Простите меня за то, что я только что сказала вам какую-то дерзость, пожалуйста, не думайте обо мне плохо. Любите меня... Такой чудный день, и такой чудный подарок (*смотрит на браслет*), и Сережа такой милый, и все вы тоже. Я счастлива! И я вам буду петь, и вам, Агар-бен-Мосед, мне ничего ни для кого не жалко.

С о м о в. Она, кажется, опять выпила.

Д о. Когда я молчу, вы говорите, что я сплю, а когда я говорю, вы думаете, что я пьяная. Какие вы несправедливые. Какие злые. (*Закрывает лицо руками.*)

О л ь г а. Мы будем петь «Ласточку».

Д о (*ко всем*). Да, мы будем петь «Ласточку». Слушайте все! И пожалуйста, будьте немножко добрее, а то я чувствую иногда, как холодный ветер бежит по этой комнате. Как будто зимой дует из окна. (*Оглядывается.*) Эта комната. Я была в этой комнате когда-то... И мне теперь так хорошо здесь. И я люблю эти высокие окна с их тяжелыми

плотными занавесями. Сережа, там никто не стоит? (*Показывает на первое окно.*) Там, кажется, кто-то спрятался?

О л ь г а. Ну, довольно, довольно. (*Играет интродукцию.*)

До поет.

Е в г е н и я (*хлопает*). Очень мило.

А г а р. В ней действительно все качества.

Л е д а. Сергей, bravo, вы выбрали себе талантливую дочку.

С о м о в. Какую дочку?

Л е д а (*насмешливо*). Я слышала, что вы удочеряете До.

С о м о в. Простите, Леда, но ваши шутки неуместны.

Л е д а. Значит, мне сказали неправду.

Патрикеев встает, нервно ходит по комнате, потирает руки.

О л ь г а (*подходя к гостям вместе с До*). О чем вы здесь говорите?

Агар наливает До шампанского, и она выпивает бокал.

Сомов укоризненно на нее смотрит.

Д о (*возвращая бокал Агару*). Что вы так смотрите на меня, Сережа? Я всегда знала, что хорошо и что дурно. Я знаю, что здесь хорошо, а там дурно. (*Ольге.*) Вы не прогоните меня туда? Жизнь без вчера и без завтра, что может быть страшнее? И никого кругом. Они говорят: мир гибнет, так давайте погибнем вместе с ним, но здесь мир не гибнет, правда, он еще стоит в целости? И я тоже здесь в целости?.. Я останусь здесь, ведь так, Ольга? Когда я в первый раз увидела вас, я сразу ясно поняла, что есть мне место на свете... Что вы так смотрите на меня, Сергей Сергеевич? Разве вы не рады, что я здесь? Разве вы не говорили, что вам не хватает молодости? Вот она, молодость! Берите ее, кто хочет!

Нина Берберова

О л ь г а. Сумасшедшая маленькая девочка! Нельзя столько разговаривать, дай поговорить другим.

А г а р. Я бы хотел жениться на ней.

Д о. Мало ли кто хочет жениться на мне! Но мне и так хорошо.

Л е д а (*почти громко*). Она меня раздражает тем, что когда она здесь, все видят только ее одну.

Д о. Потому что она прелестна. (*Все смеются.*) Но прелестное не может разрушить прекрасное... (*Пауза.*) Вам теперь всем пора идти домой. (*У нее спадает с одного плеча платье.*)

С о м о в. Прошу вас не разгонять моих гостей. У вас с плеча падает платье. Поправьтесь, это неприлично.

Д о (*поправляя платье*). Мне нечего скрывать, я всюду красивая. И я говорю и делаю что хочу. А вы нет.

С о м о в. Оставьте меня в покое.

Е в г е н и я. Она совершенно права, нам всем давно пора домой. (*Встает, за ней Леда.*) Спасибо за все. И за духи.

Все, прощаясь друг с другом, идут под арку, в переднюю. Агар и Сомов подают женщинам шубы. Патрикеев остается один с До на авансцене.

Он подходит к ней. Остальные постепенно выходят.

П а т р и к е е в. Это был сам Флинт. Он приехал с Крита, бросил все.

Д о (*смотрит на него, словно в первый раз его видит*). Кто это?

П а т р и к е е в. Величайший ум. Корифей! Колосс! Он был на Ирочкиной свадьбе.

До, испуганная, начинает отходить от него. П а т р и к е е в смущается, кланяется, идет к выходным дверям и, накидывая пальто, выходит вместе со всеми. С о м о в подходит к До. Они оба слева на авансцене.

О л ь г а на мгновение остается стоять под аркой, глядя на них, и как только Сомов начинает говорить, тихо и медленно уходит во внутренние комнаты.

С о м о в. Я хочу, чтобы вы мне, наконец, сказали, долго ли еще будет продолжаться этот кошмар?

Д о. Что, собственно, вы называете кошмаром?

С о м о в. То, что началось почти в шутку, а теперь грозит всей моей жизни?

Д о. А, так это были шутки в тот вечер, когда я прожгла ваш ковер?

С о м о в. Тише. Я дошел до того, что готов все ей сказать.

Д о. Но что же именно? Что сказать? Разве что-нибудь было между нами?

С о м о в. Уходите отсюда. Завтра утром уходите к себе домой.

Д о. Нет, я никуда не уйду.

С о м о в. У вас не будет никаких забот, все будет сделано... завтра же. Я позабочусь обо всем. Только уйдите от нас, уйдите. Дайте нам жить, как раньше.

Д о. Вы так говорите, Сергей Сергеевич, потому что я не стала вашей любовницей. Если бы я была ею, счастливее вас не было бы человека на свете. Но этого никогда не будет. И я все-таки останусь здесь.

С о м о в. Вы, очевидно, забыли маленькую подробность: этот дом мой.

Д о. Мне это совершенно все равно.

С о м о в. То есть как все равно? Я здесь хозяин.

Д о. Разве дело в квартире? Если дело дойдет до выбора, то Ольга выберет меня.

С о м о в. Вы пьяны. Этого никогда не будет.

Д о. Не волнуйтесь так. Посмотрите на себя, на кого вы похожи? Вам лучше примириться с тем, что я здесь, и не ставить Ольге никаких ультиматумов. Вы проиграете. Все это одно ваше самолюбие.

С о м о в. Я, кажется, схожу с ума. Моя жена приглашает гостить в дом знакомую. Я хочу, чтобы она уехала, и эта особа говорит, что ее предпочтут мне.

Д о (лукаво). Но ведь это не совсем обыкновенная гостья.

С о м о в. Да, но ведь Ольга этого не знает.

Д о. Она, вероятно, предполагает, что ничего не было.

Нина Берберова

С о м о в. То есть как это? Я не понимаю вас... До, ведь вы тоже страдаете от всего этого, неужели не лучше уйти туда, откуда вы пришли?

Д о. Я уже сказала вам, что мне здесь хорошо, как в раю, и мне некуда уходить. А страдания, господин Сомов, они только ваши. Мне уготовлены здесь одни радости.

О л ь г а входит в калате и туфлях.

С о м о в (*кидаясь к ней*). Ольга!

О л ь г а (*спокойно*). Что, Сергей, что, мой милый?

С о м о в. Я хочу, чтобы она уехала от нас. Мне кажется, что в этой жизни втроем есть что-то неестественное.

О л ь г а. Что с тобой? Куда ты хочешь выгнать маленькую девочку? Мы же обещали ей, что она будет наша собственная.

С о м о в. Ольга, мы счастливо жили с тобой вдвоем, я опять хочу жить вдвоем, как прежде. Я ничего больше не хочу.

О л ь г а (*слегка играя*). Я не понимаю тебя. Сережа, от До – одна радость и мне, и тебе. Как она мило пела сегодня, все были в таком восторге от нее. Вся наша жизнь приняла какой-то новый смысл с тех пор, как она с нами. Я сама помолодела от нее, и даже ты...

С о м о в. Я не хочу молодости. Я доволен тем, какой я есть.

О л ь г а. Прекратим этот разговор. Я думаю, нам выпало на долю огромное счастье – дать человеку часть самих себя, полюбить его, пригреть, самим радоваться на него. Неужели тебе непонятно это?

С о м о в. Я хочу, чтобы она уехала.

О л ь г а. Об этом не может быть и речи. До, ты хочешь от нас уйти?

Д о. Я всегда хотела бы быть около вас. Мне так хорошо с вами.

С о м о в. Ты погубишь все, что было между нами.

О л ь г а. Ты, кажется, собираешься быть смешным?

С о м о в. Да, если бы кому-нибудь рассказать, что здесь происходит, то это может показаться смешным. Но мне не смешно. Есть еще время спасти все. Прогони ее!

О л ь г а. Этого никогда не будет.

С о м о в. Я не могу больше жить втроем. Я не могу ее видеть. Если она не уйдет, то уйду я.

О л ь г а. Как хочешь.

С о м о в. Что ты сказала? Ты выбираешь ее?

О л ь г а. Я не выбираю ее, но неужели ты думаешь, что я могу ее прогнать – нашу маленькую девочку? Она ни в чем не виновата.

С о м о в. Но ведь я люблю тебя.

О л ь г а. Я тоже люблю тебя, но почему нам не быть всем вместе?

С о м о в. И ты считаешь, что все это естественно?

Д о. Конечно, так и надо жить. Люди, живущие вместе, не два кула с мукой, а два динамитных патрона.

С о м о в. Убирайтесь отсюда с вашими гнилыми теориями!

О л ь г а. Зачем ты оскорбляешь ее? Что она тебе сделала?

С о м о в. Она разрушила мою жизнь. Она ослепила тебя.

О л ь г а. Слушай, Сергей, теперь я скажу тебе что-то очень важное, чего я тебе никогда не говорила. Я полюбила ее за то, что при нашей первой встрече я смогла что-то изменить в ней, пробудить в ней что-то честное, человеческое, что могло и не проснуться.

С о м о в. Что же это было?

О л ь г а. Это заведет нас слишком далеко. Но случилось так, что один мой поступок, и такой неожиданный для нее, изменил в ней все.

С о м о в. Ты обольщаешься. Она просто поняла, что может сыграть роль и без театра, и вот она здесь.

О л ь г а. Нет, случилось однажды так, что она могла разбить, сломать драгоценную вещь, и она не сломала ее.

Нина Берберова

С о м о в. Она сделала хуже: она пришла сюда и испортила нам существование. И теперь ей доставляет удовольствие слушать нас. Смотри на нее.

О л ь г а. Как ты болезненно все преувеличиваешь.

С о м о в. Я не желаю больше доставлять ей это удовольствие. Я ухожу.

О л ь г а. Не будь смешным. Ты придешь обратно завтра, и тебе будет стыдно.

С о м о в. Я приду, если ее здесь больше не будет.

Д о (*бросаясь к Ольге*). Оставьте его, пусть уходит! Мы проживем и без него.

С о м о в (*бросаясь на До*). Вон отсюда! (*Ольга заслоняет ее.*)

О л ь г а. Сергей, я не узнаю тебя. Успокойся ради Бога. До, не говори ему таких слов, они обижают его.

С о м о в. Я ухожу.

О л ь г а. Ты сходишь с ума. Я люблю тебя и ни на кого не променяю.

С о м о в. Ты ее любишь больше меня!

О л ь г а. Но, Сережа, какое же может быть сравнение! Ведь это безумие, ставить себя на одну доску с ней. Ты — мой муж, мой друг, товарищ моей жизни. А она — просто маленькая девочка, которую я люблю и жалею, которой я больше всего на свете желаю счастья.

С о м о в. Ты не видишь, что у нее на душе. Она в эти минуты переживает такое наслаждение, какого ей никогда не удавалось переживать. Она участвует, наконец, в жизни, она не только коснеет на своем чердаке, между самоубийцами, бездарностями, наркоманами, никому не нужными людьми, как она сама. Она живет! Смотри, все гланды у нее работают!

Д о (*бросается на него, метя ногтями в глаза, кричит*). А...

О л ь г а (*опять становится между ними*). Мне страшно, мне стыдно тебя слушать. Я хотела бы... Сергей после того, что ты сказал... Я никого не выбираю, я не хочу выбирать... Разве не ты первый захотел, чтобы она была здесь?

С о м о в. Когда?

О л ь г а (*как будто решившись на что-то*). С самого начала.

С о м о в. Что ты называешь самым началом?

О л ь г а (*отступая*). Ах, не все ли равно, когда это было! Считай, что я привела ее к тебе... Я даю ее тебе. Вот тебе молодость, которую ты так хотел. Играй с ней, бери ее! А я буду смотреть на вас.

С о м о в. Успокойся. Давай решим, что нам делать.

О л ь г а (*возвращаясь к прежнему тону*). Мне нечего решать. Я знаю, что мне надо делать. Я делаю только то, что считаю нужным делать. В тот вечер, когда...

Д о (*испуганно*). Молчите! Не говорите ему ничего больше!

С о м о в. В какой вечер?

Д о. Ольга! Не надо!

О л ь г а (*приходя в себя*). Вот видишь, в какое состояние приводят ее наши ссоры.

С о м о в. Я ненавижу ее. Я хотел бы быть за сто верст отсюда.

До успокоилась совершенно, с улыбкой насмешливо хочет приоткрыть входную дверь, другой рукой делая знак Сомову, что он может уйти.

С о м о в (*опять хочет броситься на нее*). Не смейте меня гнать из моего дома. (*Поворачивается и уходит во внутренние комнаты.*)

Ольга бросается в кресло. До подле нее.

Д о. Мы никогда не расстанемся, правда? Я буду делать все, что вы скажете.

О л ь г а. Неужели он уйдет? Нет, он только грозит, что уйдет.

Д о. А если и уйдет, то вернется завтра. Зачем он вам?

О л ь г а. Если бы я хотела отдать его, то не стояла бы за портьерой в тот вечер.

Нина Берберова

Д о. Он всегда злился, когда нам с вами бывало весело без него.

О л ь г а. Ты преувеличиваешь.

Д о. Вы заметили, как он часто обижался в последнее время, без всякой причины? Он не любит вас.

О л ь г а. Да, иногда мне тоже это казалось.

Д о. Бог с ним! Не думайте о нем. Есть столько вещей, о которых интересно думать. Я буду думать о моем браслете.

О л ь г а. А ты и не посмотрела, что выгравировано внутри.

Д о. Нет, а что там? *(Снимает браслет, читает.)* Моей маленькой девочке на ее первую елку. *(Бросается на шею Ольге.)*

О л ь г а. До, как хорошо, что ты здесь. Ты знаешь, я дорожу моим чувством к тебе.

Д о. Я знаю.

О л ь г а. Ты знаешь, почему в ту первую ночь я ушла и оставила вас вдвоем?

Д о. Конечно, знаю. Если бы вы остались, чтобы сделать сцену ревности, вы были бы как все.

О л ь г а. А ты знаешь, чего мне это стоило?

Д о *(лукаво)*. Да, но вы получили награду.

О л ь г а. Вышло, что я оказалась сильнее судьбы.

Д о. А я? *(Пауза.)*

О л ь г а. Как ты пела сегодня. *(Пауза. Обе молча сидят рядом, До положила голову на плечо Ольге.)*

Входит С о м о в в пальто.

О л ь г а *(вскакивая)*. Сергей, одумайся. Мы могли бы быть так счастливы троим. Ну помирись с ней, попроси у нее прощения за все грубые слова.

С о м о в *(с отвращением смотря на обеих)*. Я не могу тебе сказать всего, но она не то, что ты думаешь.

О л ь г а. Она не то? Что ты хочешь этим сказать?

Д о. Не слушайте его! Он теперь будет клеветать на меня.

С о м о в (*показывая на Ольгу, к До*). И она не то, что вы думаете о ней. Не бойтесь, больше я ничего не скажу вам друг о друге. Ты заметила, как она испугалась? Я хотел бы никогда больше не видеть ее. (*Уходит.*)

О л ь г а. Сережа, не уходи. Сережа, я люблю тебя... Сережа... (*Некоторое время остается у двери, потом идет, не глядя, к книжной полке и стоит там неподвижно.*) До, что я сделала? Что случилось?

Д о (*тушит елку*). Елке конец.

О л ь г а. Надо было не так... Надо было... Зачем я встала тогда за этот занавес?

Д о (*насмешливо*). Вы хотели быть сильнее судьбы. На что вы жалуетесь? Ведь вам это удалось?

О л ь г а. Но я себя не знала.

Д о. Познакомьтесь. Никогда не поздно... А я в тот вечер ваш ковер прожгла. Папироской.

О л ь г а (*равнодушно*). Да? Отчего ты тогда весь дом не спалила?

Д о (*смеется*). Это будет в следующий раз.

О л ь г а (*пристально глядя на нее*). Как ты жила раньше? До нас? Кого ты мучила?

Д о (*небрежно*). Одного котенка.

До потушила елку и лампы, в комнате полумрак.

О л ь г а. Неужели день кончился? Что я сделала, До? А если он не вернется?

Д о (*говорит, как ребенку*). Пора спать. Спокойной ночи. Завтра будет другой день.

Поворачивает Ольгу лицом к двери во внутренние комнаты, берет за плечи и ведет перед собой к этой двери. О л ь г а идет машинально. До возвращается к елке, осматривается, видит свой стакан, собирается допить из него шампанское, но, раздумав, выплескивает вино на ковер.

Потом медленно подходит к вазе с цветами, обрывает у роз лепестки

и обеими руками бросает их в воздух. Занавес начинает падать,

а она все обрывает лепестки и бросает, они падают на пол.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина пятая

Та же комната спустя два дня. Елка вынесена. Позднее утро. Солнце. На стене вместо натюрморта Боннара – абстрактный набросок маслом. Д о в брюках и рубашке навывпуск лежит на животе посреди комнаты и читает книгу. Она курит и сыплет пепел вокруг себя, куда придется. Волосы ее подобраны в узел. При поднятии занавеса звонит телефон, но Д о не двигается, перелистывает книгу и стряхивает папиросу. Телефон звонит долго, потом умолкает.

Когда телефон стихает, Д о переворачивается на спину, задирает ноги и продолжает читать и курить. У входной двери звонок. Она не двигается. Берет конфету из коробки рядом с собой. Второй звонок более продолжительный. Д о наконец нехотя встает, идет к двери, открывает ее.

Входит Е в г е н и я.

Е в г е н и я. Вы что, спали? Я уж думала, никого дома нет.

Д о (*хмуро*). Никого и нет.

Е в г е н и я. Ольга ушла?

Д о (*ложась на диван с книгой*). Угу.

Е в г е н и я. Когда она вернется?

Д о. Угу. (*Читает.*)

Е в г е н и я. Разве мы не условились с ней идти сегодня за билетами в оперу? На улице мороз... (*Садится.*) Погреюсь немножко. (*Пауза.*) Что вы читаете?

Д о. Книгу.

Е в г е н и я. Я вижу, что книгу. А где Сергей?

До молчит и читает.

Е в г е н и я. Я спрашиваю вас: где Сергей Сергеевич?

До. Уехал.

Е в г е н и я. Уехал из города?

До (*продолжает читать*). Угу.

Е в г е н и я. Что так внезапно? Позавчера и разговору об этом не было... Надолго? (*Снимает туфлю и что-то в ней разглядывает.*)

До пожимает плечами.

Е в г е н и я. А елку уже убрали? Что так скоро? (*До молчит.*) Обыкновенно оставляют елки до Нового года, а иногда и дольше. Когда я была маленькая, у нас были маленькие елки, а как я стала подрастать, так и елки сделались больше. Это мой отец придумал. Он всегда что-нибудь придумывал, и однажды он придумал бросить нас с мамой. И я его больше никогда не видела. (*Задумывается, пауза.*) А у вас были елки, когда вы жили дома?

До. Нет, не было.

Е в г е н и я (*мягко*). Подойдите ко мне сюда. Вы позавчера были такая злая, наговорили всем дерзости, обидели Сергея, отказали Агару, когда он сделал вам предложение. Но ведь вы не плохая?

До (*подойдя к ней*). Это была моя первая елка.

Е в г е н и я. Какое событие!.. Что ж, родители ваши разве не баловали вас?

До (*мягко и доверчиво*). Папа умер, когда мне было шесть лет. А мама очень часто жила не дома.

Е в г е н и я. Как не дома? Где же она жила?

До. В больнице.

Е в г е н и я. А кто же за вами смотрел?

До. Сестра. Она была папина дочь, не мамина. Потом она вышла замуж и уехала.

Нина Берберова

Е в г е н и я. Послушайте, да ведь это очень грустная история.

Д о. У многих так бывает.

Е в г е н и я. И что же было потом?

Д о (*внезапно меняя тон*). Потом я сняла хорошую квартиру с окнами в парк, наняла двух лакеев, шофера и повара, завела пекинских собачек, и когда я гуляла с ними в этом парке...

Е в г е н и я. Не надо так разговаривать со мной. Не хотите – не говорите ничего. Давайте молчать.

До идет и ложится с книгой на диван. Пауза.

Е в г е н и я (*замечает картину на стене*). Это что изображает? Балерину?

Д о. Что?

Е в г е н и я. Я спрашиваю, что там нарисовано?

Д о. Берег моря.

Е в г е н и я (*насмешливо*). Это вы нарисовали?

Д о (*не замечая насмешки*). Я не рисую.

Е в г е н и я. А что же вы здесь делаете? Учитесь?

Д о. Я читаю, как вы видите. (*Пауза.*)

Е в г е н и я. Так откуда же вы, собственно, появились?

Д о. Кто? Я?

Е в г е н и я. Да, вы.

Д о. Я появилась из мест, куда таких, как вы, не пускают.

Е в г е н и я. Почему?

Д о. Потому что туда пускают только особенных.

Е в г е н и я. Если там так хорошо, то почему вы ушли оттуда?

Д о. Меня оттуда выманили. Обещали, что будет еще лучше.

Е в г е н и я. И вы поверили? И вас обманули? (*До молчит.*) Что ж вы молчите? Отвечайте: вас обманули? (*До молчит.*) Молчать самое легкое. В первый раз, когда я увидела вас, вы объявили мне довольно дерзко, что в жиз-

ни самое трудное и есть самое интересное. Помните? Вы еще сказали тогда, что все легкое и простое вам всегда скучно. Это были только слова.

Д о. Нет. Я никогда не говорю только слова (*бросает книгу*).

Е в г е н и я. Если вас отучить от всех этих парадоксов, спустить вам штанишки и хорошенько выпороть вас, а потом сделать соответствующее внушение, то из вас выйдет очень хорошая девочка.

Д о. Собирающая цветы и плетущая венки? Или вышивающая по канве?

Е в г е н и я. Будет вам! Меня этим не проймешь. Я не Ольга.

Д о (*смотрит на нее серьезно, пристально*). Да, меня обманули.

Е в г е н и я (*мягко*). Подойдите сюда. (*До встает и осторожно подходит.*) Вы что, боитесь меня? Я вас не съем. Мне хочется сказать вам что-то доброе, но я совершенно не умею говорить, я так давно ничего никому доброго не говорила... я... сядьте рядом (*До садится.*) Я... Нет, не знаю, как сказать.

Д о (*мягко*). Скажите! Придумайте что-нибудь!

Е в г е н и я. Чувствую прямо какую-то стену между мной и другими людьми и не нахожу слов подходящих, понимаете?

До грустно встает и отходит. Пауза.

Е в г е н и я. У вас были любовники?

Д о. Не смейте издеваться надо мной.

Е в г е н и я. Я уверена, что вы переехали сюда после какой-нибудь сногшибательной авантюры.

Д о. Что это такое? Я не понимаю.

Е в г е н и я. Это значит: потрясающего романа.

Д о. Я стараюсь не понимать ваших пошлостей.

Е в г е н и я. Скажите, пожалуйста! Что я, не знаю, с какими целями вы поселились в этом доме?

Нина Берберова

До решает уйти из комнаты, но, видимо, не знает, куда.

Е в г е н и я. Не вышло с одним, выйдет с другим...
Благодарства в вас во всяком случае не было, не делайте оскорбленного лица.

До решает уйти в дверь столовой.

Е в г е н и я. А когда вам говорят что-нибудь, что вам не нравится, то вы хотите благополучно улизнуть.

До (*возвращается к Евгении*). Замолчите, пожалуйста.

Е в г е н и я. По-моему, вы собираетесь заплакать?

До затыкает уши, уходит к окнам.

Е в г е н и я (*обиженно*). Скажите Ольге, что я зайду попозже. Пусть подождет меня. (*До молчит. Евгения уходит.*)

До опять ложится на пол, но не читает, а кладет голову на руку и думает. Из двери справа выходит О л ь г а в халате.

О л ь г а. Что ты так смотришь на меня?

До. Я думала, вас нет дома.

О л ь г а. Здесь никого не было?

До. Угу.

О л ь г а. А кто звонил?

До. Приходила Евгения.

О л ь г а. Ну и что же?

До. Я думала, вас нет. Она ушла.

О л ь г а. Я же сказала тебе, что иду купаться.

До. Я забыла... Но не беспокойтесь, она придет опять. (*Ольга садится к письменному столу и что-то пишет. До смотрит на нее насмешливо.*) Вы со вчерашнего дня стали вести дневник?

О л ь г а. Нет, почему ты спрашиваешь? Я не веду дневника.

Д о. Все пожилые дамы, которые ничего не делают, ведут дневники.

О л ь г а (*спокойно*). Я пишу письмо.

Д о. «Милый Сережа, вернись! Я не могу без тебя жить».

О л ь г а. До, оставь меня в покое.

Д о (*после паузы*). Мадам Сомова рассердилась.

О л ь г а. Ты опять начинаешь свое.

Д о. У вас за эти два дня испортился характер.

Ольга не отвечает и продолжает писать.

Д о. Мадам Сомова надулась. (*Молчание.*) Да ведь вы даже не знаете его адреса!

О л ь г а. Но я вовсе не ему пишу... Может быть, ты знаешь его адрес?

Д о (*насмешливо*). Я не успела записать его, когда он мне его шепнул, уходя.

О л ь г а (*кладет перо, смотрит на До*). Я сегодня всю ночь думала: почему его нет, а ты – здесь? И мне все, что произошло позавчера, кажется таким бессмысленным.

Д о. Я здесь потому, что вы этого хотели.

О л ь г а. Я теперь спрашиваю себя: хочу ли я этого еще?

Д о. А, так я, оказывается, была капризом мадам Сомовой!

О л ь г а. Почему ты меня так называешь?

Д о. Потому, что вы брошенная супруга господина Сомова.

О л ь г а. Спасибо тебе за эти слова. (*Пауза.*) Сегодня очень рано звонил бен-Мосед. Он был очень осторожен и деликатен, но мне кажется, он все знает.

Д о. Бен-Моседу хочется спать со мной.

О л ь г а. Это его дело.

Д о. Сереже тоже хотелось спать со мной.

О л ь г а. Я это знаю.

Д о. Почему вы тогда вышли из-за занавеса? Если бы вы остались стоять за ним, вы бы теперь наверное знали, что между нами ничего не было.

Нина Берберова

О л ь г а. Я и теперь это знаю. Давай об этом больше не говорить.

Д о. Сейчас вы притворяетесь доброй и милой, но настоящей вы были там, в тот вечер (*показывает на окно*), когда следили за нами.

О л ь г а. Разве тогда я была дурная? Если бы я была дурная, я бы не вышла оттуда или вышла бы иначе.

Д о. Сознайтесь, что вы жалеете теперь, что не достояли там до конца?

О л ь г а (*задумавшись*). Да, вот сейчас, в это самое мгновение, я пожалела об этом в первый раз. Потому что если бы я осталась до конца, то тебя бы сейчас здесь не было. Со мной был бы Сергей, которому бы я давно все простила.

Д о. Так простите его сейчас!

О л ь г а. Сейчас мне ему прощать нечего.

Д о. Вы уверены в этом?

О л ь г а. Оставь меня в покое.

Д о. Вы тогда боялись опасности, вы вышли ко мне из трусости.

О л ь г а. Мне становится все равно, как ты судишь меня и что думаешь обо мне.

Д о. Вы, может быть, презираете меня с высоты вашей добродетели?

О л ь г а (*тихо и зло*). Я никогда не ходила ночью в дом к чужому человеку.

Д о (*все более разгораясь*). Вам страшно обидно, что Сергей едва не обманул вас.

О л ь г а. И это ты говоришь мне?

До молчит и читает.

О л ь г а. Мне не это больно. Я не знаю, поймешь ли ты меня: мне больно, что между тобой и мной все разрушилось. И это случилось в одну ночь: в тот час, когда он ушел отсюда. Он ушел, оставив нас вдвоем, и этим самым он сделал твое присутствие в доме бессмысленным. При

нем мне казалось – был смысл в тебе. Теперь его нет. И вот выходит, что Сергей был и есть хозяин моей жизни.

Д о. Я – хозяин вашей жизни. Вот уже месяц, как я хозяин вашей жизни.

О л ь г а (*холодно смотрит на нее*). Может быть, уже нет.

До бросает книгу, включает радио. Громкий джаз. Ольга встает, идет к радио, закрывает его.

О л ь г а. Я не оказалась сильней судьбы, а ты – просто моя ошибка.

Д о. Это относится к категории громких слов, которые у нас презируют.

О л ь г а. У нас? Это где же? Там, откуда ты сбежала сюда?

Д о. Там, где мучают людей по-другому.

О л ь г а (*холодно смотрит на нее*). На этот раз это будут совсем тихие слова: ты мне больше не нужна. В тебе был смысл, пока он был здесь.

Д о. Не собираетесь ли вы выгнать меня из дому?

О л ь г а. Я собираюсь просить тебя уехать отсюда.

Д о (*пораженная*). Вы меня выставляете на улицу? (*Пауза. Ольга молчит.*) А если я не хочу уходить? Если мне здесь нравится? (*Пауза. Ольга молчит.*) А если я не уйду? Вы слышите, что я говорю? Я спрашиваю вас: есть ли на свете такое право, чтобы гнать людей из дому после того, как их взяли в дом?

О л ь г а. Успокойся, До.

Д о (*разгораясь*). Маленькую девочку приголубили, обласкали, а теперь – довольно! Она надоела, маленькая девочка, она больше не нужна. С ней поиграли, и будет. Ее задарили, захвалили, ей наобещали, а потом сказали: вон! Мы лучше заведем собачку или канарейку... Но маленькая девочка не уйдет, ей некуда уйти. И не к кому.

О л ь г а. Но, До... (*Хочет дотронуться до нее.*)

Д о. Не трогайте меня... Я теперь знаю, что было у вас на уме, когда вы хотели, чтобы я жила с вами. Вы хотели

Нина Берберова

продолжать следить за ним и за мной, как уже следили (*показывает на окно*). Вы хотели все видеть своими глазами, вы не могли примириться с мыслью, что что-то случится за вашей спиной. Но ничего не случилось. И убеждаясь в этом, вы делались счастливой. Вы убеждались каждый день и целый день, что ничего не было и нет. Вы видели, как страдало его самолюбие, когда я привязывалась к вам, и вам это нравилось. Этим вы мстили ему за то, что он привел меня в ту ночь к себе. А теперь вы решили мстить мне... Больше всего вы боялись быть обманутой. Но обманутой оказалась я. Я поверила, что вы можете дать мне все, чего я лишена в жизни (*голос ее дрожит, слышны слезы*). Я приняла вас за судьбу мою. Но без него я не нужна вам. Я нужна была только для сведения счетов между супругами Сомовыми.

О л ь г а. Замолчи! Все это совершенно не так.

Д о. Нет, это именно так. (*Внезапно голос ее падает.*)

И теперь я должна идти не знаю куда.

О л ь г а (*сухо*). Как ты дурнееешь, когда злишься.

Д о. Неправда, я всегда хорошенькая.

О л ь г а. Ты делаешься некрасивой и вульгарной.

Д о. Посмейте еще раз сказать это. (*Хватает хрустальную пепельницу.*)

О л ь г а. ...и вульгарной. (*До бросает пепельницу в Ольгу, но не попадает. Пепельница не разбивается. У двери раздается звонок.*)

До бросается к двери. Ольга останавливает ее. Борьба. Обе у входа в переднюю.

О л ь г а (*шепотом*). Ты меня хотела убить, гадина!

Д о (*шепотом*). Зовите полицию! Она защитит вас от меня!

Ольга наконец отталкивает До от входа в переднюю и берется за ручку двери. До убегает во внутренние комнаты в слезах, Ольга открывает дверь. Входит Е в г е н и я.

Евгения (*входя*). Здравствуй, Ольга. Ты знаешь, я уже была сегодня. Что ж ты не одета? Мы же условились.

Ольга. Здравствуй, Женя.

Евгения. Ты чем-то расстроена.

Ольга. Не спрашивай меня ни о чем. Посиди со мной. Это сейчас пройдет.

Евгения. Иди, одевайся скорей. Я тут без тебя сидела с До.

Ольга. Женя, милая, я сяду здесь, и ты сядь рядом (*салятся обе на диван*). Никуда я с тобой не пойду. Иди одна.

Евгения поднимает пепельницу с пола.

Ольга. Ты, конечно, знаешь про Сергея.

Евгения. Что случилось?

Ольга. Он ушел от меня позавчера ночью, после того, как вы все ушли.

Евгения (*пораженная*). Почему?

Ольга. Он меня больше не любит.

Евгения. Ты сошла с ума! Кого же он любит, потвоему?

Ольга. Не знаю, ничего не знаю. Я даже не знаю, где он. Я сама во всем виновата.

Евгения. А где сейчас До?

Ольга. До... еще здесь.

Евгения. Пора тебе разделаться с ней, она стала ужасно нахальной.

Ольга. Что ты! Когда ты заметила?

Евгения. Пусть возвращается на свой чердак. Ей совершенно не место здесь. У нее свои вкусы (*смотрит на картину*), свои привычки. И потом, что у тебя за идея держать при себе молоденькую девушку? У Сергея от нее, наверное, завелись всякие мысли.

Ольга. Нет, ты ошибаешься, тут совсем другое.

Евгения. Это очень опасно. Еще, чего доброго, ее могут принять за твою дочь. Хорошенькое положение! А Сергея надо вернуть.

Нина Берберова

О л ь г а. Нет, Женя, не делай этого. Он вернется сам.

Е в г е н и я. Держу пари, что он у бен-Моседа. Где же ему еще быть? Ты Моседу звонила?

О л ь г а. Он сам сегодня рано-рано звонил мне, но он ничего не сказал, а я, конечно, не спросила. Никто еще ничего не знает, но скоро, я думаю, всем все будет известно.

Е в г е н и я. Я не так умна, как ты, но, ей-богу же, во мне больше здравого смысла. Разве можно без всякой причины все ломать? Что вы, разве в первый раз за восемнадцать лет поссорились?

О л ь г а. Так — да.

Е в г е н и я. Как это «так»?

О л ь г а. Чтобы это объяснить, надо долго думать и многое распутать для самой себя, да и то неизвестно, станет ли ясно. (*Кричит.*) Я до сих пор не знаю, кто виноват во всем, но кто-то же виноват? Неужели действительно я? Когда была сделана ошибка? Я просчиталась? Я...

Е в г е н и я. Успокойся, не волнуйся так.

О л ь г а. Понимаешь, это как в преступлении, когда все так тщательно обдуманно и вдруг пустяк, забытый клочок вчерашней газеты все выдает, рушится весь расчет, вся хитроумная постройка...

Е в г е н и я. Виновата во всем наверное эта девчонка. Как это было неосторожно поселять ее здесь!

О л ь г а. У меня не было другого выхода. (*Волнуется.*) Это был мой единственный способ борьбы и попытка совершить чудо, которое сделало бы всех нас счастливыми. Это оказалось невозможным.

Е в г е н и я. Но ты уверена, что они не видятся сейчас где-нибудь в другом месте, за твоей спиной?

О л ь г а. Нет, Женя, они не видятся. Но ей нет смысла больше здесь жить, когда распалось все.

Е в г е н и я. Что ты говоришь! Какие нелепости!

О л ь г а. Я думала, она станет центром, смыслом нашей жизни, но этого не случилось. Она любит все разрушать вокруг себя.

Евгения. Пусть идет разрушать в другое место. У меня с самого начала были подозрения... Но все это слишком сложно для меня. Гони ее и возвращай его. Вот и все.

Ольга. Женя, я все потеряла. *(Прячет лицо.)*

Евгения. Ты хочешь сказать, что ты потеряла Сергея? Не беспокойся, он вернется к тебе.

Ольга. Не только Сергея. Я теперь сожалею о поступке, которым еще неделю тому назад тайно гордилась перед самой собой.

Евгения. Вся эта история не стоит выеденного яйца. Прогони девчонку, верни Сергея, и уезжайте куда-нибудь на месяц.

Ольга *(не слушая ее)*. Я жалею о поступке, который еще совсем недавно казался мне каким-то особенным, сильным, прямым.

Евгения. Ольга, милая, мне больно видеть тебя такой расстроенной.

Ольга. Уходи лучше, Женя. Я позвоню тебе завтра. Мне хочется остаться одной.

Евгения *(встает)*. Прощай. Уверю тебя, что это маленькая ссора, о которой вы оба через месяц забудете. Только одно: постарайся, чтобы он, когда вернется, не виделся бы больше с ней.

Обе идут к входной двери.

Ольга. Ее здесь тогда уже не будет.

Евгения. Ты не поняла меня. Чтобы он не ходил к ней на ее романтический чердак. Поняла теперь? Пусть он третьего дня при всех ругал ее и они ссорились, это еще не значит, что он не побежит к ней от тебя через день после того, как вернется.

Ольга слушает ее с ужасом. Дверь входит и тихо остается стоять у двери.

Евгения. Да не расстраивайся так. Ну на что это похоже? Я тебе говорю про жизнь... Ты хотела не то облег-

Нина Берберова

чить им что-то, не то помешать им в чем-то. Но это им совсем не важно. Они сами уладят свои дела без тебя. (*Берется за ручку двери, уже выходя на лестницу.*) Они сами... без тебя... без твоего согласия или несогласия... (*Выходит.*)

О л ь г а (*замечает До у двери*). Ты уложила свои вещи?
Д о. Я... У меня нет вещей... Все вещи ваши.

О л ь г а. Они тебе будут посланы завтра же. На твою старую квартиру. Теперь уходи. (*До не двигается.*) Последнее, что я хочу сказать тебе, это что я жалею, что не осталась там (*показывает на окно*) до утра. Ты права: надо было остаться. Но я не подглядываю и не подслушиваю.

Д о. Вы только самой себе кажется благородной. Дружные могут быть о вас иного мнения. Вы и подглядывали, и подслушивали.

О л ь г а. Ты еще здесь? Почему ты не уходишь?

Д о (*испуганно*). Куда?

О л ь г а. Уходи, До. Совсем, навсегда уходи отсюда. То, чего мне хотелось, – не вышло. Тебе не к чему больше оставаться здесь.

Д о. Вы пошутили. Вы не прогоняете меня всерьез?

О л ь г а. Я прошу тебя уйти всерьез.

Д о (*со слезами в голосе*). Но ведь я была вашей маленькой девочкой.

О л ь г а. Все это имело смысл, пока он был здесь. Разве ты еще не поняла?

Д о. Скажите, что вы шутите. Вы пугаете меня.

О л ь г а. Нет, я не шучу, ты уйдешь отсюда.

Д о. Но мне некуда идти. Мне некуда, и мне страшно. Мой дом здесь – вы сами мне дали его.

О л ь г а (*равнодушно*). Теперь я его отнимаю. У тебя есть другой, там.

Д о. Вы не понимаете жестокости, бесчеловечности вашего поступка?

О л ь г а. В чем его бесчеловечность? Ты гостила у нас, а теперь возвращаешься к себе.

Д о. Это неправда! Вы играете в игру! Все будет опять по-прежнему.

О л ь г а. Ничего не будет по-прежнему.

Д о. Но куда же я пойду? Куда вы гоните меня? (*Ольга проходит мимо нее, До пытается схватить ее за платье.*) Куда?.. Мне некуда идти... Ольга... (*Плачет.*)

О л ь г а (*отводя ее руку*). Оставь меня. Чем скорее ты уйдешь, тем будет лучше. Вот в эту дверь (*показывает*), в которую ты вошла.

Ольга выходит в дверь, ведущую во внутренние комнаты. До остается одна. Она старается удержать слезы, вытирает руками лицо. Она мечется по комнате минуты две, не находя себе места. О л ь г а входит.

В одной руке у нее небольшой чемодан, в другой – несколько платьев.

О л ь г а. Бери с собой эти платья, остальное я дошлю тебе завтра.

Д о. Но... так нельзя поступать с людьми... за что вы мстите мне так страшно? Я ничего не отняла у вас. Вы просто обезумели от ревности.

О л ь г а. Сейчас это уже не имеет никакого значения.

Д о (*слезы текут по ее щекам, она уже не вытирает их*). Вы тогда за занавеской уже все это придумали: завлечь меня и потом прогнать. Это была ваша месть за то, что я в тот вечер согласилась прийти с ним сюда. А я все приняла за чистую монету.

О л ь г а (*спокойно*). Да, так бывает в жизни, но это уже совершенно неважно сейчас. Я – я, а ты – ты.

Д о (*кричит в слезах*). Ольга! Мне некуда идти! Я одна на свете!

О л ь г а. Тише, тише, сделаем все очень спокойно. Что значит «одна на свете»? Тысячи людей одни на свете. Жила же ты как-то до этого?

Д о. Но ведь вы заставили меня поверить вам!

О л ь г а. Вот твои платья. Остальное тебе все привезут завтра. У тебя есть квартира?

Нина Берберова

Д о. Да, есть.

О л ь г а. И ты вернешься в нее, будто после путешествия *(улыбается)*.

Д о *(смотря на ее улыбку)*. Я нужна была вам... я поняла теперь... я нужна была вам, чтобы разрушить меня, разрушить мою молодость, которой вы завидовали. И это удалось вам. Вы думали мною удержать его. Если бы я согласилась с ним спать, живя здесь, он остался бы с вами, и вы бы теперь не прогоняли меня. Но я пришла сюда не для того, чтобы с ним спать и обманывать вас, я пришла сюда, потому что верила вам и любила вас, потому что вы стали для меня всем... всем... Я верила в первый раз в жизни...

О л ь г а *(равнодушно)*. Все это прошлое.

Д о. Но какое прошлое! В этом прошлом есть бесчестная женщина – это вы, и честный человек – это я. Вы думали, со мной все можно сделать? Нет, со мной нельзя все делать, я не хочу, чтобы со мной делали все! Вы обманули меня... Живите счастливо с вашим Сергеем.

О л ь г а. А все-таки с тобой можно было сделать все, как мне хотелось.

Д о. Слушайте еще последнее: когда вы стояли там, вы обдумали план. Но я теперь скажу вам: он вам не удался. Потому что тогда я осталась с ним до утра. Я сказала ему о вас, и мы вместе смеялись над вашим уходом.

О л ь г а. Ты лжешь!

Д о. Ах, мне теперь все равно.

О л ь г а *(в бешенстве)*. Ты лжешь! Все в тебе всегда было лживо. Ты привыкла играть, ты привыкла лгать среди таких, как ты. От вас ото всех несет позой – от скудости вашей вы не знаете, куда вам деться. Ты и сюда пришла жить, чтобы сыграть наконец роль, которую тебе никогда не дадут.

Д о. Дадут, и вы придете смотреть на меня.

О л ь г а. Но напрасно ты радовалась: ты никакой роли не сыграла. Здесь без тебя все опять будет по-прежнему. Тебя здесь не было!

Д о. Я здесь была... И ничего не будет здесь по-прежнему.

О л ь г а. Ты мечтала сделать зло, потому что ничего другого ты делать не умеешь. (*До, обессилив, берет чемодан и идет к двери.*) Но мы сильнее тебя, мы не хотим тебя. И у тебя не было и нет здесь роли.

До, плача, раздавленная, идет к дверям, открывает их. Ольга, посреди сцены, чувствует, что, может быть, еще что-то следует сказать или сделать, но молчит и не двигается. Д о уходит и закрывает дверь. Ольга бросается в кресло, спиной к двери, остается неподвижна. Закрывает лицо руками. Проходит минута. По улице едут пожарные, слышен рев сирены. Это продолжается некоторое время. Ольга прислушивается. Звонит телефон. Она отбегает от него, и пока он звонит, она, затыкая себе уши, уходит все дальше по комнате, подходит к первому окну, становится за занавеску и ждет. Телефон умолкает. Ольга выходит из-за занавеса и опять падает в кресло в той же позе.

Опять слышно, как едут пожарные. Тихо, неслышно в незапертую дверь входит А г а р-б е н-М о с е д. Ольга его не видит.

Агар подходит вплотную к креслу Ольги. Она вскакивает.

О л ь г а. Вы?

А г а р. Почему вы не отвечаете на телефон? Я звонил утром. Вы были дома? Я звонил теперь, снизу...

О л ь г а. Агар, я знаю, зачем вы пришли: он у вас.

А г а р. Конечно, он у меня и совершенно не знает, что ему дальше делать, то есть никогда в жизни я не видел человека в состоянии такой растерянности.

О л ь г а. Что же он говорит?

А г а р. Он говорит всякие безумные вещи, но от этих безумных вещей до смешного – один шаг. Он ревнует...

О л ь г а. Ее ко мне?

А г а р (*долго смотрит на нее*). Нет, он ревнует вас к ней.

О л ь г а. Ее больше нет.

А г а р. Она ушла?

О л ь г а. Я прогнала ее.

Нина Берберова

А г а р. Бедная маленькая девочка. Было ясно, что этим должно было кончиться.

О л ь г а (*зло*). Вам так казалось? А вам никогда не казалось, что должно было кончиться тем, что меня выгнали бы отсюда, а она бы осталась?

А г а р. Вы так ее боялись? Вы так ее ненавидели?

О л ь г а (*в отчаянии*). Агар, я никого не люблю. Я никогда не умела любить.

А г а р. Успокойтесь. Все люди умеют это делать. Così fan tutti. Но ведь вы, кажется, собирались быть чьей-то судьбой?

О л ь г а. Разве этого нельзя делать?

А г а р (*задумчиво*). Нельзя. (*Пауза.*) В этом единственная мудрость жизни. Восток это знает. Запад забыл.

О л ь г а (*испуганно*). Что вы говорите? Почему?

А г а р. Потому что судьба как цветок: нельзя его раскрыть, надо, чтобы он сам раскрылся. Надо давать судьбе самой распутывать и запутывать нас друг с другом.

О л ь г а. А страдания?

А г а р. Они все равно будут. Они были и будут. Не думайте, что они где-то лежат, в каком-то сундуке, и можно так сделать, чтобы этот сундук не раскрылся. Они нигде не спрятаны. Ничто не предуготовлено, нет. Все рождается с каждым новым днем. Все творится.

О л ь г а (*кричит*). Нет, нет, все это хорошо для вечности, но не для моего сегодняшнего дня.

А г а р (*спокойно*). Что хорошо для вечности, то хорошо и для дня.

О л ь г а (*горько*). Это годится для больших, сильных людей, каких теперь нет.

А г а р (*так же*). Что годится для сильных, годится и для слабых. (*Пауза.*)

О л ь г а (*меняя тон*). Забудьте, что я вам сказала сейчас. Зовите его скорее. Ведь он пришел с вами? Он внизу?

Агар медленно подходит к телефону и звонит вниз. Тихо говорит в трубку.

А г а р (*возвращается к Ольге*). Вы сегодня забыли спросить меня, как в Египте?

О л ь г а. Агар, не уходите отсюда, я умоляю вас, не оставяйте нас вдвоем.

А г а р. Я прошу вас успокоиться.

Пауза. Ольга с усилием возвращается к своему обычному тону. Входит

С о м о в. А г а р в середине разговора незаметно уходит.

С о м о в. Ольга!

О л ь г а (*сдержанно*). Здравствуй, Сергей. (*Закрывает дверь за ним.*) Я хочу, чтобы эта дверь была плотно закрыта, никто не должен сюда больше входить.

С о м о в (*оглядываясь*). Вот мы вдвоем опять. (*Берет Ольгу за руку.*)

О л ь г а. Да, мы вдвоем. (*Стараясь быть нежной.*) Ты хочешь, чтобы мы были вдвоем? Всегда вдвоем?

С о м о в. Хочу... Что это было? Зачем все это было? Ты мстила мне? За что? Или она мстила нам обоим? Я не могу понять.

О л ь г а. Не знаю. И ничего не хочу распутывать в этом.

С о м о в (*продолжая*). И чего здесь было больше: любви или ненависти? Или была в моем поведении в самом корне какая-то слабость?

О л ь г а (*все решительнее*). Не знаю. И ничего не хочу об этом знать.

С о м о в. Мы с тобой едва уцелели вместе, но почему-то у меня такое чувство, будто мы вдвоем зарезали кого-то.

О л ь г а (*упрямо*). Не распутывай, не надо. Живи так.

С о м о в. Или это меня кто-то едва не зарезал? Ведь и так повернуть можно?

О л ь г а. Мудрые люди в мире во всякие времена всегда стремились что-то объяснить себе и другим, трудились и все-таки никогда ничего объяснить не умели. А мы давай и не начинать. (*Обнимает его.*)

Нина Берберова

С о м о в. В ней было что-то разрушительное, чего до нее мы совсем никогда не знали. А в нас *(насмешливо)* все было так благородно, так возвышенно.

О л ь г а. Молчи, Сергей, давай говорить о другом.

С о м о в. Лучше, значит, ни о чем больше не вспоминать и на загадочной картинке не искать злодея?

О л ь г а. Не искать.

С о м о в. Но ведь она не просто пришла сюда к нам?

О л ь г а. Бог с ней!

С о м о в. Ты права. Значит, будем жить так, будто ничего и не было, и безо всяких объяснений.

О л ь г а. Да, Сергей, попробуем.

С о м о в. Хорошо. Попробуем. *(Пауза.)*

Сомов садится на диван в изнеможении. Ольга около него.

О л ь г а. Ты грустен?

С о м о в. Нет... я просто устал.

О л ь г а. Поцелуй меня.

С о м о в *(рассеянно целует ее)*. Хорошо быть дома, и с тобою вместе... даже так.

О л ь г а. Ты рад быть дома?

С о м о в. Да... А где же Агар? *(Оба видят, что они одни.)*

О л ь г а. Он ушел. Ты не находишь, что к нам как-то особенно легко люди входят и от нас выходят? *(Невесело смеется.)* Может быть, он в столовой? *(Идет к двери в столовую. Останавливается. Беспокойно.)* Ты никуда не уйдешь от меня, Сережа?

Сомов отрицательно качает головой. О л ь г а выходит. Сомов один.

С о м о в *(подходит к окну)*. Ласточка... Ласточка, где ты? *(Пауза.)* Завтра я увижу тебя. Мы завтра будем вместе, ласточка!..

О л ь г а *(возвращается)*. Ты кого-то звал?

С о м о в. Нет, я просто сказал, что там, над крышей, летают ласточки.

О л ь г а. Какие в городе ласточки... Это воробьи. Так как же?

С о м о в. Ты это о чем?

О л ь г а. Значит, будем жить дальше, как раньше жили?

С о м о в. Да. Будем.

Ольга ходит по комнате. Сомов садится в кресло у стола.

С о м о в (*после паузы*). Хорошо вернуться домой.

О л ь г а. Да, правда хорошо? Тебе приятно думать, что ты у себя, под собственной крышей, что здесь тепло, светло, что рядом – я?

С о м о в. Да, я люблю все это. А то, что было... оно правда кончилось, Оля?

О л ь г а. Ну конечно, навсегда. Не возвращайся к нему больше. Ты же знаешь, что это было безумием, моим и твоим, а то, что есть...

С о м о в. Ну конечно, я знаю это.

О л ь г а. И в том, что мы оба так чувствуем, большое утешение, правда?

С о м о в. Ну конечно. На таких, как я и ты, прочно стоит мир и всегда стоял, все другое его подтачивает.

О л ь г а (*все ходит.*) Я люблю тебя.

С о м о в (*смотрит на нее долго, задумчиво говорит*). Тебе ничего не хочется сказать мне о себе? Что-нибудь, что в эту минуту хотелось бы открыть, наконец, чтобы нам обоим стало легче? Что-нибудь, что ты все это время скрывала от меня?

О л ь г а. Почему ты спрашиваешь? Ты же знаешь и всегда знал, что у меня нет и не было от тебя тайн... (*Внезапно смотрит на него тревожно.*) А у тебя?

С о м о в. Что «у меня»?

О л ь г а. У тебя есть что-то, о чем ты не говоришь... что не можешь сказать, даже теперь?

С о м о в (*смотрит на нее, подходит к шкафику, достаёт бутылку, наливает в стакан*). У меня как у тебя. (*Возвращается на место, пьет.*)

Нина Берберова

О л ь г а (*садится около него*). Поцелуй меня еще. (*Обнимает его.*)

С о м о в (*холодно целует ее*). Прости меня, но у меня такое глупое чувство, что она еще там. Вдруг это обман и она не ушла? (*Показывает на дверь во внутренние комнаты.*)

О л ь г а (*смеется невесело*). Пойди, посмотри, проверь.

С о м о в выходит. Ольга тревожно смотрит ему вслед.

Пауза.

Ольга ждет. Внезапно она бежит за Сомовым.

О л ь г а. Сергей! Где ты? Что ты там так долго?

С о м о в (*возвращаясь*). Нет, ее там нет... Нет больше совсем... (*Видит лицо Ольги.*) Что с тобой? Ты думала, я через черный ход убежал? (*Смеется.*) Но ведь я же вернулся к тебе? Чего же ты боишься? Мы вместе, мы одни... Ну, значит, будем жить дальше. (*Садится на прежнее место.*)

О л ь г а (*садится против него*). Будем жить... как-нибудь... ты и я... Сережа...

1953—1961

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА

Повесть

5

РАССКАЗЫ НЕ О ЛЮБВИ

Те же, без Константина Ивановича

91

Поэма в прозе

98

Перчатки

109

Твердый знак

120

Для берегов отчизны дальней

128

Рассказ не о любви

135

Сообщники

142

Сказка о трех братьях

149

Петербургский сувенир

156

Его супруга

163

Крымская элегия

170

Вечный берег

177

Аукцион

183

Вместо некролога

190

Частная жизнь

197

Актеры

204

Архив Камыниной

211

Страшный суд

218

Сумасшедший чиновник

229

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА

Пьеса в трех действиях, пяти картинах

235

Литературно-художественное издание

Нина Берберова

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА

Роман, рассказы, пьеса

Заведующая редакцией *Е.Д. Шубина*

Редактор *Д.З. Хасанова*

Технический редактор *Т.П. Тимошина*

Корректоры *А.А. Иванов, М.Ю. Музыка*

Компьютерная верстка *Е.М. Илюшиной*

ООО «Издательство Астрель»

129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а

ООО «Издательство АСТ»

141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 9б

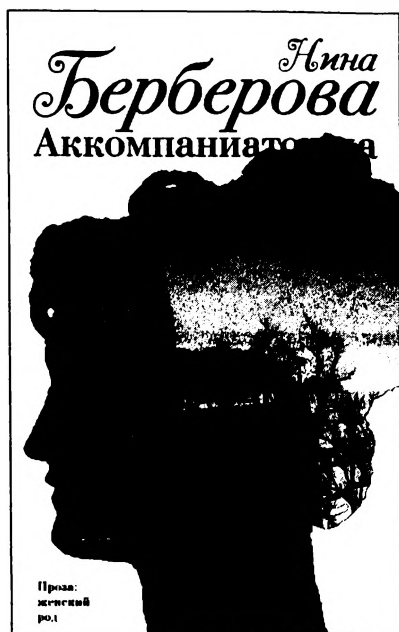
Электронный адрес:

www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Издательская группа АСТ представляет



«Мы не в изгнании — мы в послании», — так написала Нина Николаевна Берберова в своей знаменитой книге «Курсив мой». Ее проза пришла к российскому читателю почти одновременно с романами-биографиями «Железная женщина» и «Чайковский: история одинокой жизни».

Летописец жизни русской эмиграции, Нина Берберова и в прозе верна этой теме. Но если в «Курсиве...» повествуется о судьбах людей известных, даже знаменитых, то в «рассказах в изгнании» герои — а чаще героини — оказываются в чужой стране как песчинки, влекомые ураганом. И бессловесная аккомпаниаторша известной певицы, и дочь петербургского чиновника, и недавняя гимназистка, и когда-то благополучная жена, а ныне вышивальщица «за 90 сантимов за час», — все они пытаются выстроить дом на бездомье...



Нина Берберова

Нина Берберова (1901–1993) поэт, прозаик, критик. В начале 20-х годов XX века уехала из России в эмиграцию. Ее автобиография «Курсив мой» – одна из самых субъективных мемуарных книг; документальный роман о баронессе Будберг, русской Мата Хари, стал мировым бестселлером; биографии Бородина и Чайковского поражают тончайшим проникновением в феномен творческой личности; роман «Последние и первые» стал фактически первым произведением о жизни русской эмиграции.

В книгу «Повелительница» вошел одноименный роман и «Рассказы не о любви». Здесь тоже судьбы людей, вынужденно вырванных из своего круга, из своей страны и существующих отдельно.

Они не дома, хотя читают русские газеты, ходят в русский кинематограф, и должны обустраивать жизнь здесь... В том числе и личную жизнь. Это мир чувственной любви, зашкаливающих эмоций и томительного, непреодолимого одиночества.

У этих отношений нет будущего, важно только настоящее.

Предвоенная Европа, Россия далеко, впереди снова серьезные испытания...

ISBN 978-5-17-069109-8



9 785170 691098

www.elkniga.ru